

[Polaris]



ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ

Фантастика Серебряного века

Том IV

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCLXIII



Salamandra P.V.V.

ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ

Фантастика Серебряного века
Том IV

Подготовка текстов, составление
и комментарии
М. ФОМЕНКО и А. ШЕРМАНА

Salamandra P.V.V.

Черный ангел: Фантастика Серебряного века. Том IV. Подг. текстов, сост. и комм. М. Фоменко и А. Шермана. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2018. — 340 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCLXIII).

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается *terra incognita* — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее известных авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении.

Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить созданный пробел. Фантастическая литература эпохи представлена в ней во всей своей многогранности: здесь и редкие фантастические, мистические и оккультные рассказы и новеллы, и образцы «строгой» научной фантастики, хоррора, готики, сказок и легенд. Читатель найдет в антологии и раритетные произведения знаменитых писателей, и труды практически неведомых, но оттого не менее интересных литераторов. Значительная часть произведений переиздается впервые. Книга дополнена оригинальными иллюстрациями ведущих книжных графиков эпохи и снабжена подробными комментариями.

© Authors, estate, 2018

© M. Fomenko, A. Sherman, состав, коммент., 2018

© Salamandra P.V.V., оформление, 2018



ЧЕРНЫЙ



АНГЕЛ

Андрей Зарин

ТЕРМОГЕН



I

— Вот, извольте ли видеть, — в раздражении сказал мне командир второй роты. — Я его послал на батарею, чтобы он передал мое поручение, а он встретился там с каким-то офицером, два часа провел с ним в беседе о взрывчатых веществах и, только уходя, вспомнил о моем поручении. Помилуй Бог, это не офицер, а одно недоразумение!

Он сердито бросил окурок папиросы и придавил его ногой. Я засмеялся.

— Так оно и есть, Егор Степанович, — ответил я. — Заметьте, что он приват-доцент, готовится к кафедре и при этом химик.

— Ах, черт его дери! — сердито буркнул капитан. — Здесь нужны не химики, а простые исполнительные офицеры. Вы ему, пожалуйста, внушите это, голубчик.

— Слушаю, только вряд ли он меня даже расслышит.

— Ну, повлияйте; держите его построже; гоняйте чаще.

— Слушаю, — повторил я и пошел к своему взводу.

Разговор касался прапорщика запаса, Павла Дмитриевича Тригонова. Я был поручиком, командовал взводом, числился кандидатом в ротные, а Тригонов был у меня младшим офицером. Правда, он не был военный, даже по внешнему виду: маленького роста, близорукий, несмотря даже на очки, с головой, ушедшей в приподнятые плечи, с жиденькими волосами на бороде и усах, с небольшой лысиной, хотя ему было всего 27 лет, и нежными белыми руками. Серая солдатская шинель висела на нем больничным халатом, шашка то путалась между ногами спереди, то была сдвинута совсем назад, папаха налезала совсем на уши. Пе-

ред нами он всегда словно стеснялся, а если нужно было командовать или разговаривать с солдатами, то он, видимо, чувствовал себя совсем несчастным; поправлял очки, кашлял, говорил каждому рядовому «вы» и словно подыскивал слова.

Занимался он беспрерывно, но все не военным делом. То у него в руках записная книжка, и он что-то вычисляет, исписывая ее странички, то книга, которую он читает с такой жадностью, как гимназист Шерлока Холмса, а если не пишет и не читает, то сидит, съевшись в комок, и глаза его рассеянно блуждают или сосредоточенно смотрят в одну точку, а он, перебирая нежными пальцами свою редкую бородку, так погружается в свои думы, что его надо было окликнуть два-три раза прежде, чем он придет в себя. Солдаты любили его по своему, но, как начальство, не признавали вовсе и, понятно, унтер-офицер имел в глазах их гораздо большее значение. Он был и храбр, но по-своему; вернее, храбрость его была от рассеянности и от сосредоточенных мыслей. Однажды, когда нас буквально засыпали шрапнелью и снарядами и мы сидели в окопах, не смея высунуть носа, он, погруженный в свои мысли, одиноко сидел на совершенно открытом месте под деревом. Когда адская стрельба стихла и мы вылезли из окопов, то с удивлением увидели его спокойно сидящим с записной книжкой и карандашом в руке. Я подбежал к нему и окликнул:

— Павел Дмитриевич, вы живы?

Он не сразу отвлекся от своей работы, а потом поднял глаза и, испуганно вставая, спросил:

— Что? Я нужен?

Мы все засмеялись, а капитан только махнул рукой:

— Никакой снаряд его не тронет!..

К сожалению, он ошибся.

Случалось нам ходить в атаку, наш Тригонов не отставал от всех. Он обнажал свою пашку, оглядывался на своих солдат, диким голосом кричал: «Вперед!», даже бежал, даже кричал «ура», но затем отдавался своим мыслям и в самый разгар рукопашного боя я видел его спокойно стоящим в позе задумавшегося Сократа.

Человека не переделаешь. Я видел в нем ученого, увлекавшегося какими-то задачами, и оставлял его в покое. Как знать, может быть, в его голове зарождалось такое же великое открытие, как атомистическая теория Менделеева. Ко всему он был великолепной души человек, мягкий, увлекающийся, всесторонне образованный, и с ним приятно было вести беседу, если только разговор не касался химии. Тогда беда! Он сразу загорался и был способен в окопах, среди рвущихся снарядов, забыв обо всем окружающем, прочесть целый курс органической или неорганической химии. Один раз как-то в разговоре упомянул кто-то о пикриновой кислоте, и он тотчас прочел нам целую лекцию. Лицо его оживилось, глаза загорелись, и он, вероятно, думал, что импровизирует поэму.

Как бы то ни было, я лично любил и уважал Тригонова, солдаты его любили и не уважали, высшие офицеры уважали и не любили. А Тригонов не замечал ничего окружающего и жил со своими думами и записной книжкой, исполняя свои обязанности по мере сил. Понятно, если бы это было не на войне, а в строевой службе мирного времени, Тригонов был бы на беспрерывном замечании, под постоянными арестами и, вероятно, в конце концов, изгнан со службы, как никуда не годный офицер; но на войне всякий человек дорог.

Я с Тригоновым постоянно старался жить вместе. Когда удавалось захватить какую-нибудь халупу, я непременно тащил его с собой. Сам о себе он бы не позаботился. В окопах также я помещал его в своей каморке, которую мой денщик старался обставить всевозможными удобствами. Толстый слой соломы лежал на земле, и к стенам были прислонены доски. Из досок или ящиков Анисим устраивал нечто вроде дивана, и всегда в нашей железной печурке горели или торф, или дрова. Этот же Анисим с особенной внимательностью относился к Тригонову и часто говорил про него:

— Выросла борода и офицер в некотором роде, а можно сказать, как ребенок. Не скажи ему: «Ваше благородие, кушать пожалуйста», так он целые сутки без еды просидит.

II

Мы были за Стрыковым. Там происходили непрерывные бои, покуда мы не отогнали немцев. Наш полк был в передовой линии. Мы несколько раз ходили в атаку и выбивали немцев из окопов. Мой взвод шел всегда впереди, и Тригонов всегда рядом со мной. Я ни разу не видал в нем смущения или нерешительности, но не видал также, чтобы он хотя раз нанес удар, и могу присягнуть, что на его душе не было ни одного убитого, а на клинке его шашки ни капли неприятельской крови. Шел он вперед твердо, увлекая примером солдат, но в бою не участвовал. «Если его оставить, так его разом забьют», — говорили солдаты и всегда окружали его внимательной заботой.

Прошло немало дней, и окончились тяжелые бои; немцы отошли, и мы временно могли отдохнуть. Наш полк прошел через Стрыково и расположился в небольшой деревушке. Мне удалось занять чистенькую маленькую халупу: в одной половине жил старик-крестьянин со своей женой и малым внуком, а другую половину занял я с Тригоновым. Заняли мы ее вечером, и Анисим тотчас угостил нас великолепным куриным бульоном.

Съели мы его с жадностью, потом съели курицу, стали пить чай, и тогда Тригонов вдруг обратился ко мне:

— Так как на короткое время наступило затишье, то я попрошу вас отпустить меня на пару дней в Варшаву.

— Как? — спросил я.

— На пару дней в Варшаву. Мне там очень надо быть.

— Для чего? Все-таки сейчас еще горячее время.

На лице Тригонова отразилось настойчивость.

— Вы простите, но мне совершенно необходимо. Я непременно должен произвести несколько опытов; там у меня есть один знакомый, а у него лаборатория.

— Батюшка, да какие же теперь лаборатории! — воскликнул я.

— Все равно. Во что бы то ни стало, мне нужно два-три дня провести в Варшаве. Я хотел бы проехать в Петроград,

но...

Я замахал руками.

— Об этом не может быть и речи. Капитан вас не пустит, командир не пустит.

— Я так и думал. А в Варшаву дня на два, на три, это можете позволить и вы.

— Контрабандой...

— Это как знаете, но необходимо.

Я чувствовал, что ему, действительно, нужно для чего-то побывать в Варшаве; нашему полку был дан отдых, и я решил на свой страх отпустить Тригонова.

— Поезжайте, — сказал я. — Только, пожалуйста, не больше двух дней. Я, главное, боюсь, что мы отсюда уйдем, а вы по своей рассеянности нас не найдете.

Тригонов засмеялся.

— Ну, это про мою рассеянность легенды ходят, а когда мне нужно, я не забуду того, что должно сделать: и дорогу найду, и вас разыщу, хоть на дне моря.

— Тогда поезжайте. Только во всяком случае поторопитесь.

— Я сегодня же и поеду, — сказал он просто, вставая с лавки. — Спасибо вам.

— Не стоит, — ответил я, пожимая его тонкую руку. — Не лучше ли вам отдохнуть и ехать на рассвете?

— Нет!

— Как знаете! — и я написал ему ордер с поручением.

Он торопливо надел полушубок, поверх его солдатскую шинель, опоясался шашкой, нахлобучил папаху, которая сразу обратила его в маленькое чучело, и протянул мне руку.

— До свидания!

— Всего хорошего, — сказал я. — Кстати, Павел Дмитриевич, если не забудете, привезите мне 500 папирос.

— 500 папирос, — повторил он. — Постараюсь не забыть.

Он засмеялся детским смехом и вышел.

Вскоре я услышал фырканье коня и затем топот копыт у окошка. Тригонов уехал. Я остался один в тесной горенке и невольно улыбнулся, подумав об этом человеке.

Сидел он в своей лаборатории, занимался своей алхимией, и вдруг судьба вырвала его от реторт и колб и бросила на войну...

III

Прошло три дня, а Тригонов не вернулся. Мы получили назначение выступить, сделали переход в тридцать верст и заняли приготовленные окопы. Видимо, немцы готовились снова к наступлению, и мы готовились их встретить. А Тригонова все нет. Хорошо, что я догадался оставить записку о месте нашего назначения.

Только на пятый день объявился мой прапорщик. Был уже вечер, в окопах было смертельно холодно; Анисим разжег железку, я сунул ноги в мешок, завернулся в одеяло и дремал на жесткой постели, устроенной из двух ящичков, когда вдруг услышал голос:

— Вот и я!

Я тотчас же сел и увидел его. Маленькая фигура была вся занесена снегом. Очки запотели, и он походил на слепую сову. Войдя, он прежде всего осторожно поставил на землю какой-то сверток, завернутый в одеяло, потом снял папаху, шинель, протер очки, и я сразу увидел его рассеянное добродушное лицо с виноватой улыбкой на губах.

— Папиросы-то я позабыл, — сказал он.

Я махнул только рукой.

— То есть, не позабыл, собственно; а мне везти их было очень неудобно. Со мной была вот эта поклажа.

И он указал на сверток.

— Это что же?

— Победа! — ответил он.

— Отчего вы опоздали? — сказал я строго, желая показать, что его шутка неуместна. Он виновато улыбнулся.

— А я не заметил времени. Как сел за работу, так и не мог очнуться. Я ведь и не спал, то есть спал так, по несколько часов на стуле.

— Что же вы делали? — спросил я.

— Ой, большое дело! — ответил он.

Тем временем Анисим с деловым видом принес чайник, наполненный снегом, и поставил на нашу железку.

— Вы бы переобулись, ваше благородие, — сказал он Тригонову и тотчас нагнулся и стал стаскивать с него сапоги, потом достал валенки и с заботливостью переобул Тригонова. Тот благодарно кивнул Анисиму.

Я смотрел на него, и мне казалось, что на лице его отражается какое-то особенное, новое выражение; как будто спокойствие, какое-то горделивое сознание полного удовлетворения. Раньше он был погружен в задумчивость, а теперь, напротив, его глаза смотрели светло и, пожалуй, весело. Вода закипела; я встал, заварил чай, и мы выпили по два стакана. Потом я сказал:

— Мы ждем немцев, но их до сих пор нет, и пока что недурно хорошо выспаться.

Анисим уже приготовил подобие ложа для Тригонова, достал его мешок и широкое одеяло, толстое, как попона. Тригонов закутался и лег.

В нашей душной яме стало тепло. Я уже совсем засыпал, когда Тригонов вдруг окликнул меня и взволнованно заговорил.

— Я не могу сегодня молчать. Вы знаете, я сделал замечательное открытие... по военной части. Вы знаете... — голос его выдавал волнение; лица его в темноте я не видел. — Если мы его применим теперь на войне, то немцы не выдержат, и мы их победим только этой штукой...

— Которую вы привезли с собой? — сказал я.

— Вот, вот!

В моем вопросе была легкая насмешка, но Тригонов не разобрал ее, и мне стало совестно. Я знал, что его имя уже известно науке и что он очень мало походит на шарлатана.

— В чем же ваше изобретение? — спросил я.

— Видите ли, — оживленно говорил взволнованный Тригонов. — Я добыл особое вещество в жидком виде, как вода... после я, вероятно, сумею его сгустить, но теперь нет времени. Так вот. Если эту жидкость оставить на воздухе, то она

начнет быстро улечиваться. Заметьте! — воскликнул он, — несмотря на холод, при 15° мороза, при 20!..

— Ядовитые газы? — спросил я.

— Нет, не то; совсем другое. Видите ли, по мере того, как она улечивается, она обладает свойством развивать тепло, невероятное тепло. Могу сказать уверенно, что на окружности 12 саженей во все стороны будет развиваться жар, а не тепло, который дойдет до 500°. Да, до пятисот! Ни одно живое существо не будет в состоянии удержаться. Станет взрываться порох, и если я, например, волью эту жидкость в окопы, то раньше, чем разовьется температура до высшей точки, люди не выдержат и бросятся бежать во все стороны. Я его назвал термогеном.

Я даже приподнялся на своем месте.

— Это не фантазия?

— Нет! Я давно об этом думал, а здесь мысли мои прояснились. Я, так сказать, эмпирически открыл это вещество, а потом — вот теперь — приехал в Варшаву; у меня там есть знакомый доктор Пяц, он известный химик. Я попросил у него позволения поработать в его лаборатории и добыл это вещество. Опыт я произвел у него на огороде; понятно, в лаборатории нельзя было. И полный успех! Полный...

Он замолчал, а я был поражен. Действительно, это изобретение было удивительно. Быстрая победа на нашей стороне, если мы применим это средство; но тут же у меня мелькнуло сомнение.

— А как пересылать эту жидкость врагу? — спросил я.

В темноте послышался вздох.

— Вот в этом-то сейчас и задача! Если бы я был артиллеристом... Мне, видите ли, кажется, что ее можно будет разливать в снаряды. Снаряд разорвется, и содержимое расплещется вокруг по земле...

— А если во время наполнения снарядов она прольется?

— Вот, вот! — он вздохнул. — Да и когда наливать будут, все-таки она будет улечиваться. В такой атмосфере нельзя будет работать.

Я вздохнул тоже.

— Следовательно, ваше изобретение неприменимо.

— Я не знаю! Я с собой привез две бутылки и хочу сделать опыт. Изготавливать ее легко, сколько угодно, а эти бутылки я хочу пожертвовать.

— А где можно произвести ваш опыт?

— Пробраться к немцам, — сказал он просто.

— Ну, дорогой мой, это почти неосуществимо.

— Но я проберусь к их окопам и кину свои бутылки, они разобьются, и я увижу, что из этого выйдет.. А потом уже можно подумать, как послать. Ведь затем у нас и голова.

И он засмеялся. Потом снова оживился и долго говорил о том, как пришел к этой мысли, какими путями теоретически дошел до решения своей задачи, но в его речи было столько специальных терминов, что я совершенно не смог ее усвоить и под его речи крепко заснул.

На другое утро, когда мы сидели за чаем, я кивнул головой на сверток и спросил:

— Это?

— Вот-вот! — он подбежал и осторожно стал разворачивать сверток.

Две бутылки из-под кваса были тщательно завернуты в солому, войлок и одеяло. Он вынул их и торжественно показал.

— Вот! А их действие я испытаю во что бы то ни стало.

Глаза его блеснули. Я немного встревожился.

— Дорогой мой, эта штука очень опасна в наших окопах. Вообразите, что они разобьются...

— Да, — сказал он, — тогда дело плохо; но я заверну их со всевозможной тщательностью, а потом засуну в угол, под нашу рухлядь; авось, Бог помилует.

И он улыбнулся детской, ясной улыбкой.

В эту минуту раздался характерный треск рвущейся шрапнели.

— Вот, словно вас дожидались! Кажется, начинается! — сказал я, вставая, и торопливо вышел из своей ямы.

Действительно, начиналось. В отдалении показался неприятель, и его густые колонны двигались прямо на наши окопы. В то же время вдали гремели пушки, и над нами

стала рваться шрапнель, а следом посыпались и снаряды. Неприятель приближался. Мы допустили его на 300 шагов, когда раздалась команда, и линия наших окопов сверкнула огнями.

— Стрельба пачками! — скомандовал я.

Залп следовал за залпом; пулеметы затрещали, обливая ряды немцев свинцовыми пулями, словно из лейки.

Град не выбивает так поля, как наш огонь.

Ряды немцев падали, как скошенные. Их колонны дрогнули и отступили. Потом второй раз они сделали попытку подойти к нам и снова были отбиты нашим огнем. Они отошла к своим окопам и залегли в какой-нибудь тысяче шагов от нас. Начался артиллерийский бой. На нас тучей понеслись шрапнель и снаряды, и среди них загудели, завыли их знаменитые чемоданы, несущие ураган смерти.

Нам приходилось тяжело. Из какого-то невидимого места нас обстреливали особенно сильно.

Наши батареи не могли их нащупать. Необходимо было высмотреть эту проклятую батарею, чтобы сшибить ее, — иначе хоть оставляй позицию; и у меня вдруг мелькнула мысль испытать средство Тригонова. Я пошел к своему капитану и сказал:

— Позвольте мне, Егор Степанович, на разведку. Я найду эту батарею.

Капитан замотал головой.

— Вы? Да что вы! Для чего... Это надо послать солдата,

— Нет; пойду я, и со мной Тригонов.

— Тригонов? — добродушный капитан даже всплеснул руками. — Милый мой, да вы обезумели! Куда же он к черту годится для такого дела? Посреди дороги остановится, уткнет палец в лоб и задумается. Какой! Придет в немецкий окоп и там сядет. Разве он годится на какую-нибудь разведку?

— Будьте покойны, он пойдет за мной, и это будет его боевое крещение; мы с ним, может быть, — и я засмеялся, — заставим замолчать батарею.

— Ну, ну, — сказал капитан, качая головой. — Вы, кажется, от этого самого химика и сами немножко того, — и он

повертел пальцем около лба.

— Так я иду, — сказал я.

— Благослови вас Бог! — ответил капитан. — Только осторожненько, голубчик, и скорее.

— Слушаю...

Я быстро вернулся к своему взводу, нашел Тригонова и сказал:

— Есть случай произвести ваш опыт.

— Какой? — спросил он быстро.

— А вот какой... — и я рассказал ему про взятое на себя поручение.

Лицо Тригонова просияло.

— Отлично! Значит, я с вами?

— Да! И пойдем сейчас, берите бутылки.

— Одну вы, другую я...

— Хорошо.

Тригонов тотчас побежал в землянку, а я осторожно высунулся, взял бинокль и постарался определить направление, откуда летели на нас градом губительные снаряды. Тригонов вернулся с двумя бутылками.

— Если мы их разобьем по дороге, то для нас они безвредны; мы успеем уйти, — сказал он.

— Лучше разобьем их на той батарее, — сказал я, смеясь. — Ну, с Богом!

IV

Я передал команду унтер-офицеру, и мы с Тригоновым осторожно вылезли из окопов. Нас было отчетливо видно на снежной поляне, но мы быстро пробежали открытое пространство и скрылись за деревьями, в небольшой роще. Я решил идти этой рощей в обход немецкой позиции, дожидаться сумерек и вечером прокрасться в том направлении, в котором, мне казалось, находится губительная для нас батарея. Мы двинулись.

Путь был тяжелый, кругом лежал огромными сугробами наваленный снег, и мы шли, погружаясь в него иногда по пояс. Над нами безвредно пролетали снаряды с немецких и наших батарей, и иногда жужжала совсем близко пуля, сшибая ветви у деревьев и сбрасывая с них хлопья снега. Мы медленно и неуклонно продвигались вперед, не отдыхая ни на мгновение. Ружейная стрельба и резкий треск немецкого пулемета помогали нам определять положение немецких окопов, а гулкие раскаты пушечных выстрелов вели нас к проклятой батарее. Каждую минуту мы опасались, что нам встретится немецкий дозор, и я все время держал руку у кобуры. Тригонов шел с полной беспечностью и время от времени говорил:

— Только бы нам пробраться на их батарею! Вот там-то вы и увидите действие термогена. Воображаю, какой будет эффект!

И он вдруг провалился в снег до самых плеч. Я помог ему выбраться и сказал:

— Эффект эффектом, а вы лучше идите за мной; я буду прокладывать дорогу.

Мы продолжали путь. Зимний день короток; вышли мы после полудня, и до сумерек оставалось несколько часов, но они мне казались вечностью.

— Здесь окопы, — вдруг сказал Тригонов, и, действительно, совершенно ясно по одной линии с нами раздавались выстрелы немецких винтовок и резкий треск их пулеметов. Привычное ухо сразу отличает частую дробь нашего пулемета от резких раскатов немецких.

Я жалел, что не взял с собой бинокля, но и так, в просвете деревьев, я увидел клубы дыма, которые поднимались, словно пар, над поверхностью снежной равнины.

— Держаться надо подальше, — сказал Тригонов, — того гляди, что провалишься к ним в окоп.

— Ну, им тут окапываться не для чего.

Наконец, надвинулись сумерки. Сперва серые, они скоро сгустились, и ружейная пальба смолкла, только продолжали грохотать пушки.

В то же время мы выбрались из снежных сугробов, отряхнули покрывавший нас снег и почувствовали под собой твердую дорогу.

— Теперь надо быть особенно осторожным, — вполголоса проговорил я. — Они совсем близко.

И вдруг, словно в подтверждение моих слов, почти под нашими ногами друг за другом громыхнули три выстрела. Я вздрогнул и отшатнулся. Тригонов тихо засмеялся.

— Они здесь, за пригорком, — сказал он шепотом. — Ляжем и поползем.

Мы опустились на снег. Тригонов прижал к себе бутылку и, словно плывя на одном боку, пополз, опираясь на правую руку. Я сунул свою бутылку за пазуху и пополз на руках.

Снова грянули пушки почти под нами. Мы удвоили осторожность. Как знать, может быть, здесь обрыв, и мы рискуем скатиться по снегу к немцам в гости.

— Дерево! — сказал Тригонов.

В темноте я увидел черный силуэт развесистого дерева, на сучьях которого искрился снег, словно на убранной рождественской елке потухающие огоньки. Мы подползли к нему и встали на ноги.

— Бум, бум, бум! — снова раздался грохот пушек. Я выглянул из за дерева и, совсем близко, внизу под ногами, увидел неприятельскую батарею. Стволы пушек были подняты кверху, солдаты суетились около орудий и продолжали посылать в наши окопы гибельные снаряды. Я стал высматривать расположение. В ложине, прикрытые гребнем холма и кустарником, стояло шесть орудий; позади них, шагах в тридцати, прямым рядом стояли зарядные ящики и подле них запряженные кони, а в середине горели костры.

— Отсюда не докинуть, — с сожалением сказал Тригонов.

Я быстро сообразил. Нет никого остерегающего батарею; все заняты работой, и мы могли обойти батарею со стороны, где стояли зарядные ящики, и оттуда бросить бутылки.

— А как их разбить?

— Просто бросим в ящик!

— Они разобьются со звоном, и нас тотчас схватят, — сказал я.

— Нет; что значит среди этого грохота стук разбитой бутылки? Даже не услышат.

— Пожалуй, — согласился я. — Тогда ползем.

Мы проползли по краю оврага, потом опустили ноги и неслышно по снегу скатились вниз, в узкую ложбину. Теперь совсем рядом с нами стояли лошади, а дальше ящики. Мы прошли несколько саженой.

— Здесь кидать, — сказал Тригонов и поднял свою бутылку.

— Только смотрите, — сказал я, — чтобы она разбилась.

— Я-то уж знаю! — проговорил он и взмахнул рукой.

Бутылка полетела, ударилась о колесо и разбилась с легким звоном. Действительно, в сравнении с грохотом выстрелов этот шум был слишком ничтожен. Я в свою очередь размахнулся бутылкой и кинул ее в другой ящик. Она также ударилась и разбилась.

— А теперь следите, — сказал Тригонов, — только лучше нам отсюда убраться. Сейчас станут взрываться эти ящики.

Его голос прозвучал такой уверенностью, что меня охватил страх.

— Идем скорее! — сказал я, и мы поспешно двинулись назад.

Вползать по склону было тяжело. Ноги скользили, снег обваливался, и мы, поднявшись кверху, снова скатывались вниз. Пот катился с нас градом и тут же замерзал на усах, бороде, ресницах. Наконец, мы осилили подъем и влезли.

— Чувствуете? — с торжеством спросил Тригонов.

Я с удивлением почувствовал, как тепло вдруг коснулось моей щеки, словно до нас донесся жаркий июльский ветер; и в то же время растаяли ледяные сосульки на усах и бороде.

— Начинается, — сказал Тригонов и тихо засмеялся.

— Бум, бум, бум, — гремели пушки одна за другой.

— Сейчас пойдет другая стрельба, — сказал Тригонов, — идемте скорее прочь.

Я прибавил шагу, Тригонов шел за мною. Мы шли по откосу и уже сравнялись с передней частью батареи, как вдруг раздался оглушительный взрыв.

— Я говорил! — в диком восторге закричал Тригонов.

V

Слова его оправдались. Раздался такой грохот, словно залп из ста пушек. Это взорвался первый зарядный ящик. Снаряды лопались и трещали, шрапнель с визгом разлеталась на куски. Пушки смолкли, но вместо них друг за другом взрывались зарядные ящики. Словно гремели сотни батарей. В брызгах вылетающего огня мы увидели смятенных людей, которые кидались во все стороны. Сорвавшиеся с коновязей кони с диким ревом пронеслись по снежной равнине и скрылись вдаль, а восемнадцать ящиков рвались с невероятным грохотом, и во все стороны с визгом и шипением летели осколки и пули разорвавшихся снарядов.

— Бежим! — крикнул я, пораженный виденным.

— Я говорил! — с восторгом кричал Тригонов. — Мой термоген победит!

— Бежим! — повторил я.

Грохот от взрыва снарядов продолжался. Казалось, окрестность охватило землетрясение: стреляли десятки батарей, из разъяренного вулкана выбрасывались громадные камни, тряслась земля. Панический ужас охватил меня среди этой ночи при грохоте непрерывных взрывов, под свистом смертоносных пуль.

— Ой! — вдруг услышал я тихий крик и в то же мгновение увидел, как Тригонов тяжело опустился на снег. Я нагнулся к нему.

— Милый, что с вами?

— Ранен, — сказал он.

— Встаньте, идем...

— Не могу, — проговорил он.

Я накрепко все усилия и приподнял его. Голова его бес­ сильно свесилась на грудь. Я растерялся на одно мгнове­ ние. Сделать перевязку, — но было темно; распахивать его шинель, снимать полушубок было некогда. Я наклонился, взвалил его себе на спину и тихо пошел по тяжелой снеж­ ной дороге. Ноги мои скользили, я увязал в снегу, обливал­ ся потом и то и дело опускал на землю несчастного Три­ гонова и с усилием переводил дух, а выстрелы все еще гре­ мели; смутно доносились до меня крики растерявшихся людей. В немецком лагере царил смятение. Я снова под­ нимал Тригонова на спину и снова тащил его по сугробам снега, изнемогая от усталости. Взошла луна и осветила все пространство. Я опустил Тригонова и посмотрел на его ли­ цо: оно было бледно, как снег. Полузакрытые глаза остек­ ленились; из полуоткрытого рта тонкой струей текла кровь. Я положил его на снег и осмотрел руки, лицо, грудь, жи­ вот, ноги, но не увидел раны. Тогда я повернул его спиной кверху и увидел возле правой лопатки в клочья разорван­ ные шинель и полушубок. Кровь большим сгустком за­ мерзла по краям огромного отверстия. Очевидно, случай­ ный осколок снаряда ударил его в спину и в одно мгно­ вение пресек его жизнь. Я снова поднял его похолодевший труп и пошел тяжелой дорогой. Мне казалось, что я изне­ могу и погибну среди этих сугробов, замерзну от холода в эту светлую ночь. Но Бог спас. Луна описала дугу и стала опускаться к горизонту; надвинулась предрассветная тьма, и звезды ярко выступили на небе, когда я, наконец, доб­ рался до последних деревьев перелеска и увидел гряду на­ ших окопов. Я сделал последний привал. Снова опустил труп на снег и сам прилег подле него. Усталость охватила мои члены, голова склонилась на грудь, но я победил сон­ ливость, поднялся, снова взвалил на плечи печальную но­ шу и, наконец, дошел до наших окопов.

— Кто идет? — спросил часовой.

— Свой! — ответил я и, обессиленный, опустился на снег вместе с трупом.

Солдаты выбежали из окопов. Анисим наклонился надо мной. Я на мгновение потерял сознание и очнулся только в своей землянке.

Анисим растирал мою грудь суконкой; жарко горела железная печка, и на ней шумела в чайнике вода...

— Где прапорщик? — спросил я.

— Мы его там оставили, чтобы не оттаял, — ответил Анисим, — как есть насмерть. В спину...

Его голос задрожал.

— Да, убит, — сказал я с тяжелой грустью.

VI

Час спустя я был у капитана и доложил ему о нашей разведке.

— Могу уверить вас, что вредной для нас батареи больше нет, она вся разметена.

— Как? — спросил капитан с изумлением.

Я рассказал ему, что мы сделали и чему я был свидетелем.

— То-то мы слышали чертову пальбу, а снаряды не падали, — сказал капитан и потом вдруг воскликнул:— Но ведь это чудо из чудес! И он это выдумал?

— Он это выдумал, — повторил я, — а теперь убит.

— Убит? — капитан широко перекрестился. — Вот и здесь недоразумение, — сказал он, качая головой. — Химик, а для войны оказался первый человек. Надо доложить командиру.

Мы прошли вместе в небольшую деревушку, что находилась позади окопов, и проснувшийся генерал внимательно выслушал мое донесение.

— Это прапорщик запаса Тригонов? — спросил он.

— Да, — ответил я.

— Тригонов... Мне говорили о нем; он химик. Что же, насмерть?

— Насмерть, — ответил я. — Осколок снаряда ударил его в спину.

Генерал перекрестился.

— А его изобретение, этот состав?..

— Я ничего не знаю, — ответил я. — Вероятно, его изобретение погибло с ним вместе.

— Это будет очень печально, — сказал генерал.

Я промолчал.

Наутро мы подняли труп Тригонова. Доктор осмотрел его. Осколок бомбы пробил ему спину и глубоко ушел внутрь.

— Вероятно, — сказал доктор, — у него внутри все перебито.

Мы завернули его в одеяло и торжественно похоронили позади окопов. Солдаты набожно молились подле его могилы и, словно уважая торжественную минуту, немецкие батареи смущенно молчали, только изредка щелкали ружейные выстрелы.

Тригонов был убит, и с ним вместе погибло его замечательное изобретение.

От дивизионного генерала приехал адъютант вместе с артиллерийским полковником. Они забрали с собой все записки Тригонова; артиллерийский полковник расспрашивал меня, не говорил ли он что-нибудь о своем изобретении, и я должен был ответить, что ничего не знаю. Мне было больно и стыдно, что в ту ночь я не напряг своего внимания и не запомнил ничего из его рассказа о том, каким путем он дошел до своего открытия.

Мир праху его! Он был необыкновенный человек...

После я узнал, что особая комиссия ездила в Варшаву, в лабораторию Пяца, но не нашла там никаких следов великого открытия, также как никаких указаний в записках Тригонова.

Его великое изобретение пропало, но, вероятно, если он думал об этом, то в том же направлении сейчас думает не один химик и специалист; быть может, кто-нибудь уже приближается к разрешению той же задачи, которую так успешно решил Тригонов...

Николай Карпов

КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК

Французский миноносец медленно подвигался вперед. Его командир, капитан Риэль, стоял на мостике и внимательно всматривался в даль, где в предрассветных сумерках свинцовая вода сливалась с сумрачными, темными облаками осеннего неба. Легкое восклицание матроса на носовой части судна заставило капитана оторвать глаза от бинокля.

— Что такое, Пьер? — тревожно спросил он, оглядывая фигуру стоявшего у рубки матроса.

— Там... там... — бормотал тот, показывая рукой направо, и в голосе его слышался дикий ужас.

Капитан приложил снова к глазам бинокль и взглянул по указанному направлению. Сначала он ничего не мог различить, но скоро в поле зрения бинокля вырисовались смутные очертания странного судна, быстро подвигавшегося наперерез французам. Конструкцией оно напоминало трехтрубный миноносец, но капитана сразу поразило странное обстоятельство: хотя судно шло полным ходом, но из его труб не вылетало даже слабой струйки дыма, казалось, оно скользило по воздуху. Несмотря на близкое расстояние, контуры его слабо вырисовывались над водой, на палубе не было видно ни одного матроса...

— Боцман! — стряхивая внезапную жуть, крикнул командир.

— Есть, капитан! — отозвался дрожащим голосом тот.

— Свистать всех наверх! Канониры — к орудиям! Минеры — к аппаратам! — приказал Риэль.

— Осмелюсь доложить... — отделяясь от кучки неподвижно застывших в страхе матросов, возразил боцман. — Это... это — корабль-призрак, капитан...

— Хотя бы это был корабль сатаны, я его обстреляю! — бешено вскричал капитан. — Боцман, вы слышали мои приказания?

Резкая трель свистка боцмана нарушила жуткую тишину и вскоре, покорные железной морской дисциплине, матросы заняли свои места. Миноносец медленно повернулся к проходившему мимо призрачному кораблю, на котором по-прежнему не было видно ни одной живой души, правым

бортом.

— Первое — пли! — скомандовал капитан.

Грянул выстрел и снаряд упал перед самым носом призрачного корабля.

— Эй, вы там, у орудий! Цельтесь вернее! — сердито крикнул капитан, недовольный результатом выстрела. Он уже собирался скомандовать снова, но, к великому удивлению французских моряков, на призрачном корабле взвился английский флаг.

— Что за чертовщина? — повернулся капитан к трем остальным офицерам миноносца. — На судне — ни души... Кто поднял флаг? Это прусское судно, в этом не может быть сомнения, пруссаки прикрываются чужим флагом. Но почему это судно действительно напоминает призрачный корабль? Смотрите, они спускают шлюпку!

Действительно, от остановившегося призрачного корабля отделилась маленькая, словно игрушечная шлюпка, управляемая невидимыми руками; только на носу виднелась фигура одиноко сидящего человека.

Скоро на палубу миноносца по трапу взобрался высокий, плотный человек с гладко выбритым, энергичным лицом, одетый в высокие сапоги, кожаную куртку и морскую фуражку.

Подойдя к капитану, он вежливо приложил руку к козырьку и спросил по-французски:

— Я имею честь говорить с командиром этого судна?

— Я капитан Риэль! — отвечал француз и, уловив английский акцент незнакомца, с улыбкой прибавил:

— Вам нужно было бы несколько раньше показать свой флаг...

— Это не входило в мои расчеты... — спокойно ответил незнакомец и, бросив выразительный взгляд на стоявших на мостике офицеров, прибавил:

— Я хотел бы поговорить с вами, капитан.

— Я — к вашим услугам. Пожалуйста в мою каюту.

Незнакомец последовал за Риэлем и, усевшись за стол маленькой каютки, сказал:

— Я понимаю, капитан, ваше удивление и постараюсь вам объяснить те странности, которые вы заметили в моем судне.

Это — не военное английское судно, оно принадлежит мне лично. Лет за шесть до начала войны с Германией мне удалось изобрести такой состав, который обесцвечивает все предметы, придает им призрачный вид, и решил предложить этот состав английскому адмиралтейству, но там отнеслись ко мне не с тем доверием, какого я ожидал. Тогда я решил сам построить миноносец, предвидя близкое столкновение моей родины, Англии, с Германией. Судно было построено на одном необитаемом островке Индийского океана, куда я привез с большими предосторожностями необходимые материалы, механиков, мастеров и рабочих. Когда началась война, мое судно было готово; я установил на нем собственного изобретения электрические двигатели и поэтому не нуждаюсь ни в угле, ни в другом горючем материале. Сначала я имел в виду просто использовать то обстоятельство, которое мне дает возможность почти вплотную подходить к врагу, а именно, мою относительную «невидимость». Но скоро мне помогло нечто другое. Видите ли, немецкие матросы страшно суеверны и среди них распространена легенда о корабле-призраке. Именно за него они и принимают мое судно. Когда я появляюсь перед ними, они, от юнги до капитана, застывают от ужаса и опускают руки... Это мне дает возможность топить их наверняка своими минами...

— Но, однако, мои орудия еле не потопили вашего судна... — возразил француз.

— Вы — первый моряк, решившийся обстреливать корабль-призрак! — с любезной улыбкой сказал англичанин. — Я, видите ли, сомневался в национальных цветах вашего флага и слишком поздно угадал в вашем судне французское... Итак, я вас покину. Желаю вам успеха.

— Еще один вопрос! — жестом остановил его капитан. — Почему вы не передадите ваших изобретений английскому правительству?

— Я уже вам говорил — английское адмиралтейство обидело меня... — спокойно ответил незнакомец. — А затем, я хочу сам, понимаете, сам топить немецкие корабли!

Он спустился по трапу в шлюпку и скоро взошел на палубу призрачного корабля.

Вскоре корабль-призрак растаял вдали, но французские моряки долго еще смотрели ему вслед и им чудились над волнами его призрачные контуры.

Николай Карпов

ТАИНСТВЕННЫЙ АЭРОПЛАН

На опушке леса оба зуава остановились.

— Мы заблудились окончательно, Пьер... — прошептал Батист, всматриваясь в открывшуюся перед ними равнину, слабо освещенную беловатым светом луны. — Я боюсь, что мы находимся в сфере расположения неприятельских войск. Вот тебе и разведка!

— Я говорил тебе, что не нужно далеко забираться в лес, — проворчал Пьер, поправляя на голове феску. — Ткни штыком в кусты — и явятся пруссаки!

— Накликал-таки! — вырвалось у его товарища, услышавшего шорох в кустах. Шорох этот прекратился, но зуавы инстинктивно чувствовали близость врага. Неожиданно Батист вскинул к плечу ружье и выстрелил в кусты.

— Один! — хладнокровно произнес он и, снова нажав спуск, добавил: — А вот и другой!

С диким криком из кустов выскочили темные фигуры пруссаков и бросились на зуавов. Французы боролись отчаянно: стиснув зубы, они молча кололи врагов штыками, разбивали им черепа прикладами и, наконец, сбитые с ног, очутились на лесной поляне со связанными за спиной руками.

Пруссаков было около полсотни.

Они развели на поляне громадный костер, чувствуя себя вполне в безопасности, и весело болтали. К пленникам подошел прусский офицер и заговорил с ними на ломаном французском языке:

— Вы негодяи. Вы убили нашего майора! Вы шпионы и мы вас расстреляем!

Он выкрикнул резкое приказание, два пруссака подняли зуавов и поставили их рядом у ствола дерева. Напротив них выстроились шестеро прусских солдат с винтовками в руках.

— Умрем, товарищ, как истые зуавы... — сказал Батист. — Прощай!

— Прощай! — отозвался Пьер. — Жаль только, что мало мы их поколотили!

Офицер хотел скомандовать, но слова команды застыли на его губах: неожиданно с темного неба упал на поляну ослепительно-яркий свет прожектора, хотя не было слы-

шно ни характерного стука мотора аэроплана, ни жужжания пропеллеров. Пруссаки и оба пленника взглянули вверх и увидели низко над их головами застывший в воздухе огромный аэроплан. Он висел неподвижно, словно ястреб, высматривающий добычу, не производя ни малейшего шума.

Опешившие от неожиданности и удивления пруссаки подняли свои винтовки, но в этот момент из-за дерева выскочил небольшого роста человек в кожаной куртке и грозно вскричал по-немецки:

— Не смейте! Прочь отсюда! Оставьте пленных! Иначе — всем вам смерть!

Офицер повернулся к солдатам и крикнул:

— Пли! Стреляйте!

Но незнакомец, заслонив собой пленных, вытянул вперед правую руку, в которой блеснуло что-то похожее на револьвер. Из него вылетела без шума длинная голубоватая искра и весь отряд пруссаков, как пораженный громом, повалился на землю.

Незнакомец спокойно подошел к застывшим от удивления пленникам, развязал им руки и сказал на чистом французском языке:

— Вы свободны, господа. Пруссаков вблизи нет. Я вам укажу тропинку и вы доберетесь до передовой линии французских войск!

— Но кто же вы? Дьявол? — вскричал Батист.

— Может быть... — усмехнулся незнакомец. — Довольно с вас, что я не желаю вам зла...

— А эти? — кивнул головой Пьер, указывая на неподвижные тела пруссаков.

— Они мертвы... — спокойно ответил незнакомец. — Я убил их электричеством из револьвера собственного изобретения. Как видите, сфера поражения и сила его довольно велика. Я могу одним нажатием спуска уничтожить целый полк.

— Но кто же вы?

— Я — мститель! — тихо ответил незнакомец. — Я враг ваших врагов. Аэроплан, висящий над вами, также изобретен мной. Он приводится в движение электричеством. На

нем несколько человек экипажа. Вот и все, что я вам могу сказать. Прощайте! Вот тропинка, которая приведет вас к вашим друзьям.

С этими словами незнакомец исчез под деревьями и скоро аэроплан бесшумно поднялся выше и исчез из глаз изумленных зуавов.

Николай Карпов

«БЕЛЫЙ ГЕНЕРАЛ»

Поручик Страхов окинул взглядом прижавшиеся к стенкам окопа серые фигуры стрелков, взглянул назад, где виднелись отходившие на новые позиции густые тени пехоты, и снова перевел взгляд на своих людей. Он знал, что эти солдаты, которым было поручено во что бы то ни стало задерживать наступающего врага, обречены на смерть, так как неприятельский отряд в несколько раз многочисленнее и раздавит эту горсть храбрецов, но не испытывал страха ни за себя, ни за них: они все исполняют свой долг.

Замолкла трескотня русских пулеметов и грохот орудий, отходивших назад, и только огонь неприятеля, подготавливавшего атаку штурмующей колонне, усилился, но шрапнель рвалась вблизи окопов, не причиняя большого вреда стрелкам. Чувствуя потребность заняться чем-нибудь, поручик взял у раненого солдата винтовку и стал методически стрелять в невидимого врага.

— Идут, ваше благородие... — шепнул ему находившийся рядом фельдфебель. Бросив винтовку, поручик высунулся из окопа, не обращая внимания на визжавшие над ним пули, и увидел высыпавшие из перелеска густые цепи австрийцев.

— Вероятно, тирольские стрелки... — повернулся Страхов к прапорщику, — уж очень решительно прут вперед.

Наступающие цепи австрийцев, по временам припадая к земле и открывая огонь, быстрыми перебежками приближались к русским окопам, видимо, торопясь до наступления темноты овладеть ими, но вскоре беглый огонь русских стрелков заставил их задержаться.

— Сейчас опять попрут! — шепнул Страху прапорщик. — Ну, жаркое будет дело...

— Если что со мной случится — вы меня замените! — так же шепотом приказал поручик.

— Когда близко подойдут — пойдем в штыки. Все равно — умирать... Ишь, их видимо-невидимо.

Когда серые сумерки окутали окоп, русские слышали шум бегущих австрийцев, направляющихся без выстрела к окопам.

Поручик выхватил шашку и хотел скомандовать, но слова команды застыли у него в горле: перед окопом, словно из-под земли, появился в тусклом сумеречном свете всадник на белом коне. Его опушенное бакенбардами лицо, огненные глаза, молодеватая фигура, затянутая в белоснежный, старого образца китель, показались странно знакомыми Страхову, но он не мог вспомнить, где он его видел. Стрелки прекратили огонь и застыли на своих местах.

— Вперед, ребята! В штыки! За мной! — загремел властный голос.

Поручик увидел, как оцетинившаяся штыками волна солдат хлынула, словно повинясь неведомой силе, за всадником; не отдавая себе отчета в происходящем на его глазах, точно загипнотизированный, поручик бежал вперед, кричал: «ура» и размахивал шашкой...

Неожиданно что-то ударило его в голову и он упал без чувств. Очнулся Страхов в окопе и увидел склонившееся над собой бородатое лицо прапорщика.

— Отбили мы этих австрияков... — поймав вопросительный взгляд раненого, сказал прапорщик, — а вас подобрали солдаты.

— А они? Снова наступают? — слабым голосом спросил он.

— Где там наступать! Удрали без оглядки! — усмехнулся его собеседник. — Прямо удивительно, как это вышло..

— А «он»? Разве вы его не видели? — вскричал Страхов, блестя глазами и внезапно поднимаясь с земли. — Как он командовал! Эх, куда угодно пошел бы за ним! Хоть в ад!

И он снова без чувств свалился на дно окопа.

Владимир Дембовецкий

ЖАВОРОНОК СКИФИИ

Еще в сентябре «четырнадцатого» года война разлучила меня с давним, задушевым и, в сущности, единственным приятелем моим Мишелем Лариным. В конце осенней кампании он бросил университет, восстановил военные свои связи, — кончил он кадетские классы Пажеского корпуса, — и охотником ушел на войну.

Попасть пришлось ему в разгар первого нашего натиска на германцев, когда впервые дрогнули швабские полчища после знаменитого поражения их под Варшавой. Армии Данкля и Ауффенберга были сурово оттолкнуты русской ратью к далеким стенам Кракова, и Ларин принимал участие в начинавшемся обложении этой древней польской столицы. Здесь же он вскоре был ранен.

До весны я получил от него только два письма. Одно было с фронта, другое из лазарета в Киеве, куда друга моего первоначально эвакуировали. В первом письме Ларин делился со мной походными впечатлениями, а вторым коротко меня извещал, что война — увы! — вычеркнула его из состава дальнейших своих участников:

— Красногубый Марс откусил мне ногу. Но, — милостив Бог! я, кажется, нашел средство не быть инвалидом. Как-нибудь после болезни я напишу тебе подробно о своих планах. Пока же жду сообщения о твоём мирном житье-бытье.

Увы! Мне нечем было похвастать перед своим другом. Всю зиму провел я в столице, добросовестно (а может быть, совершенно бессовестно!) погружившись в завершение своего многотрудного инженерного школьничества. Весной мне, к величайшему моему огорчению, не удалось всего закончить из своей учебы, и мое окончание, естественно, приходилось перенести на осень.

Часть лета, однако, благодаря этому у меня освобождалась для отдыха. И признаться, я не без удовольствия подумывал уже о том, как и где мне лучше всего будет использовать этот свой невольный и малопрошенный отдых.

В конце мая я получил третье письмо от Ларина. Друг мой был мастером на короткие и метко определяющие слова. Ум его, слегка зараженный скепсисом, был удивительно тароват на бездну самых фантастических силлогизмов, парадоксов. А голова у него была настоящей копилкой самых невозможных затей.

— Дорогой друг! — писал мне Мишель. — Не гневайся, что я слишком долог. (Ларин опаздывал в ответ на мое последнее письмо.) Здесь все у меня были хлопоты. Ты ведь знаешь. Хутор деда, «Вишенки», что под Люблином, — теперь окончательно перешел к нам, и я уже введен во владение этой усадьбой. Я наверху блаженства. Там от одного Соснового павильона, — древней, полуразвалившейся башни, — можно оторопеть в восхищении. Я обращаюсь к тебе с настоятельнейшей просьбой. Приезжай поскорее ко мне сюда в Спасское. Мы уедем вдвоем отсюда в «Вишенки» и кое-что там предпримем. Как инженер, ты будешь мне нужен. Смотри — никаких отговорок! Помни, — я сейчас особенно одинок и скажу больше: *я покинут*.

II

Я запоздал с отъездом, и мне уже одному, без друга, пришлось выезжать прямо в «Вишенки». Это было в середине июня. Весь юго-запад наш был наводнен отошедшими из Галиции русскими армиями, и мне с большим трудом удалось пробраться до своей конечной железнодорожной станции. Люблин и Холм становились теперь передовыми этапами театра ближайших битв.

Что касается «Вишенок», то им неизбежно предстояло разделить всю судьбу покидаемого боевого фронта.

Я с волнением следил за глубоко волнующей операцией увода наших войск из завоеванной нами древнерусской, «червонной» земли. Я видел наши славные армии вливающимися в родные пределы. Они отходили вспять, закаленные в битвах, могучие духом и печальные, точно так, как

подается назад ненапрасно расстрелявший все свои пули охотник, укрывающийся за барьером листвы от зверя, раненого им смертельно, но ужасного в пароксизме ожесточения...

Из «Вишенок» за мною приехал сам Мишель. Он выбрался на станцию, чтобы глотнуть свежих вестей, прислушаться к разговорам, забрать газеты.

Мы радостно встретились. Мишеля я нашел мало изменившимся. Его чуть-чуть наметившаяся тучность осталась прежней, а отнятая нога была заменена искусно препарированной ногой из гуттаперчи с такой системой рычажков и суставов, что под одеждой военного летчика, в которую был одет Ларин, даже нельзя было и приметить, своя или не своя нога у Ларина.

— Ну, здравствуй! Я тут заждался тебя. Что ж, брат: *скифы отходят!* Не видишь ли ты эту трагедию символической?..

III

Сосновый павильон «Вишенок» был сплошь опутан хмелем. Белый цвет, с тычинками, напоминающими длинные лапки паука, обвивал подножие башни. Бревенчатые стены старинного здания были вверху обшиты кружевным тесом, а замечательно гармонично возведенные вышки, карнизы, свесы и другие строительные детали делали павильон настоящей усадебной достопримечательностью.

Здесь, в трех этажах здания, помещались биллиардная комната, охотничий зал, библиотека и архив «Вишенок».

День моего приезда в имение приятеля выдался на редкость утрюмым. Сеялся меленький обложной дождь, и было для середины лета удивительно холодно.

Приведя себя после дороги в порядок, мы с другом забрались на вышку Соснового павильона, велели затопить камины и, сидя за старкой и жженкой, делились друг с другом накопившимися новостями и мыслями.

— Вот видишь, — говорил мне Мишель. — Наша скала перед новым ударом священного моисеева жезла. Сколько дверей уже было отомкнуто! И каждый раз мы входили в новый мир, и он не был хуже пройденного. Снова перед нами окованная золотом и железом дверь, и еще несколько шагов назад, а потом несколько вперед, и мы переступим через новый порог. Еще одно усилие, поворот ключа, и нам останется только легко толкнуть рукой, чтобы почувствовать под ступенями песок новых дорог...

Мишель протянул приставную ногу в *chaise-longue* и, дымя сигарой, развивал дальше передо мной свой рассказ:

— Я здесь — среди бесконечной свободы. Но... она ушла! Помнишь наше любимое из Блока:

Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла...

Мой друг. Мы скоро будем покинуты не одними любившими нас женщинами. Посмотри в окно, на эту землю. Это — наш дом, и скоро мы уйдем из него!

Но, знаешь... Вдумываясь в события, я пришел к некоторым занятным выводам. На всех путях — мы одинаково дома. И даже в бездомьи мы можем быть счастливы. Только нужно одно древнее: чтобы оставленный нами отчий дом остался пустым без нас и не осквернился тяжестью пришлых, святотатственных ног....

Здесь, в здешнем своем отшельничестве, я пытал свои силы в выдумках. Видишь ли: это верно, что нужно нам самим разорить наши гнезда. Нужно, ведя за собой надрывающегося в следовании за нами врага, оставлять ему только *пепел*, оскорбляющий душу. Кое-что я придумал. Я соорудил здесь приспособления, — снаряды для уничтожения *жатв*. Не смейся. Ты посмотри. Сейчас — пасмурно, но тем светлее горит на поле золото этих нив. Пойми только: может быть, мы не успеем их снять! Это волнует и заставляет во что бы то ни стало искать выхода. И вот вообрази... Я, кажется, не упоминал о последнем своем успехе. Я ведь тут

стою со своим взводом. И «Вишенки» — наша база... Отсюда мы вылетаем клевать глаза врагу....

IV

Ларин показывал мне свои снаряды. Это был род змейковых аппаратов. В них устроены были приспособления, снабженные пружинными механизмами и батареями картонных цилиндрических бомб-зажигателей. Они имели назначением автоматически забрасывать зажигательные патроны-стрелы по хлебному полю. Один такой змей, пущенный в ход, мог пожечь, по расчету Ларина, поле площадью в пять десятин в течение десяти минут. Чудо пиротехнического искусства Мишеля!

— Ты удивишься, но вместо наездничества на кавалерийском седле, я решил обуздать стальную птицу. Если для лошади я — калека, то поверь мне, что в покойной лодочке своего «Жаворонка» я очень действительный воин. Пойдем-ка в сарай, к этому моему воздушному детищу.

Ларин спешил посвятить меня в свои планы.

В самом деле, его авиационное хозяйство было налажено с заботливой умелостью и любовью. Сам Ларин имел в своем распоряжении прекрасный, легкий летательный аппарат, корпус которого для него перестроили по его указаниям.

Это была изящная стальная птица, удивительно крепкая, с прелестной бронированной кабинкой на носу лодочки.

Аппарат Ларина был снабжен странным приспособлением. Оно имело весьма отдаленное отношение к боевому назначению самолета и, по совести признаться, выдавало лишь склонность Мишеля к проявлению тех безобидных своевольностей, с какими он не захотел расстаться даже и при соблюдении военной субординации. Мишель объяснил мне, что его гудок-резонатор, который был душой приспособления, во время полета издает вибрирующий мелодический звук, немного похожий на звук сирены. Его можно

усиливать или ослаблять в тонах, и он отлично различим с земли. На фоне гуденья моторов он слышится, как отчетливо раздающаяся в высоте, гармонически звенящая нота — звуковой сигнал — знак...

— Ты прекрасно назвал свою птицу, — сказал я Ларину — «Жаворонок Скифии». И скажи: виновником названия послужил гудок.

— Нет. Сейчас ты увидишь, откуда это имя. Мы поднимемся на верх павильона, в архив. Там я тебе кое-что покажу.

Мы взобрались на башню Соснового павильона. Стены вышки здесь были просечены широкими венецианскими — из тяжелого, литого стекла — окнами. Вся комната, с изъеденным червоточиной дубовым паркетом, уставленная старинными шкапами, полками, горками, — производила впечатление средневековой фаустовой кельи.

Всюду были фолианты книг, целые баррикады из бумажных ворохов. Это и был архив «Вишенок». В темном углу, у винтовой лестницы, ведущей на низ, в бильярдную, Ларин вынул из ящика в тяжелом библиотечном столе, — большую тетрадь в переплете из темно-зеленой шагренеи. На главном листе там стояла надпись, выведенная старинной вязью:

«Жаворонок Скифии или Прорицание о стихиях Вражды и Добра».

V

Это была прелестная эпическая поэма, написанная в духе «Слова о Полку Игореве», но языком более поздним и совершенным. Фабула манускрипта была исключительно замысловата и полна аллегорий. В общем она сводилась к легенде о том, что должен был наступить в жизни народов «некий час, возвещенный лучистым пением жаворонка».

Мы долго вдвоем читали с Мишелем поэму, то и дело отрываясь от чтения, пораженные силой и красотой мета-

фор, сравнений, символов... Книга говорила о будущем столкновении людей «Западной Полночи» с светловзорым «Князем Гипербореи, Скифии, Киммерии».

Каждый день, проводимый нами в «Вишенках», приближал нас в роковой черте «столкновения». Уже окончились сенокосы, и как раз одновременно с этим враг показался в пределах края.

Проходили войска мимо нашей усадьбы и бросали вести о том, что «ему» ест глаза дым сожженных пристанищ и пыль дорог, преданных разрушению.

— А мы еще возвратимся!..

Стояли чудесные дни. Лето сделалось не жарким, но солнечным и благоуханным. Над рекой, в парке усадьбы начинали зацветать липы. Мы каждый день с Лариным поднимались на «Жаворонке». Мишель пытливо всматривался в ту сторону, откуда должны были прийти люди «западной полночи».

И в один из дней они подошли. Верстах в двадцати от «Вишенок» перед этим им дан был бой, — всю ночь иступленно кашляли пушки, дробно колотились металлические сердца пулеметов, шмелиный рой винтовочной трескотни стонал как-то тревожно и заунывно.

Ларин с особенной оживленностью отдавал приказания по усадьбе.

— Мы выпустим к ним триаду Скифии: мышь, лягушку и пучок стрел.

И точно. Я уехал на станцию, сопровождая небольшой скарб, который решено было вывезти. Мишель с механиком и несколькими людьми остался в «Вишенках». Там с часу на час ожидалась конница неприятеля.

И вот, уже подъезжая к вокзалу, я увидел, как взвилась над усадьбой чудесная птица Мишеля. Она заныряла в воздухе и стала волшебным метать объятые пламенем факелы. Одновременно с этим в разных концах полей поднялись и запарусили в воздухе поджигатели-змеи.

А звенящий гудок «Жаворонка» струистой трелью долетал до моего слуха, словно принося пророческую, бодрящую весть о счастье Скифии, подслушанную волшебной пти-

цей где-то в таинственном роднике Времени....

VI

После этого прошло так много тяжелых событий за короткий — третий! — год войны. В горниле всечеловеческой муки растворились печали отдельных душ, и в нашей земле протрубил рог Революции. Моя судьба, два года уже связанная с судьбою войны, скрепила меня и с последним совершением: муками великого нашего освобождения.

Еще не исписаны пергаментные свитки Сибиллиных книг, еще не спала повязка с очей Фемиды.

Но то, что случилось, заставило душу затрепетать по-новому.

Я прислушиваюсь к грозному рокоту человеческих волн, всматриваюсь в блески молний, злых и добрых,— разящих тело великого Себастьяна-народа, — и моя умолкшая душа в странном оцепенения тянется к прошлому. Там, там жили сердца, учувшие приход исполинского потрясения!..

Только недавно вернулся я из короткого отпуска. Я был у себя на родине, на могиле матери. Там же, на родной для меня земле, похоронен и мой благородный друг, нашедший смерть во время нашего отхода из пределов Волыни. Он погиб со своим «Жаворонком». С военного кладбища, где помещен склеп, я ушел потрясенный... Сколько знакомых имен увидел я высеченными на камнях крестов!

В разное время я узнавал об этих смертях по отдельности. Но теперь я увидел их вместе, собранными в сумрачную фалангу на этом захолустном погосте, — выросшими в некий тягостный мавзолей, словно воздвигнутый для того, чтобы подвести итог этому беспощадному времени.

Вереница имен казалась длинным, ошеломляюще-неоплатным счетом, который мертвые в грозном молчании могильном предъявляли всем тем, кто остался жить. На этих могильных памятниках руки могильщиков начертали всю карту окровавленной земли, завоеванной героями и уступ-

ленной по вине умопомраченных безумцев. Я читал имена, одно за другим, и сердце мое вспыхивало стонами:

— Как! И он, и этот, и этот!..

Вот мальчик-артиллерист, брат темноглазой девушки, которую я любил.

О нем сказано: «Погиб на неприятельских проволоках под Бучачем». А вот-старик-полковник. «Убит во время атаки сильно укрепленной позиции Дуклы»... И еще и еще под шум ветра в весенне-зеленой листве деревьев я разбирал жуткие, бесстрастные повествования надгробных плит... Как много! Какие сильные ушли из жизни... Какое множество честных сердец перестало биться... Какая жатва смерти!..

У меня в кармане куртки — книжка в темно-шагреновом переплете. На одной из баясин ограды склепа я присаживаюсь и перелистываю «Прорицание».

Вот какие там есть слова:

«После третьего круга Вражды вольются орды жестоких воинов в пределы широкой равнины и наступят на грудь поверженного.

Будут выть звери, и травы вымоются кровавой росой. И птица не найдет пристанища в лесных чащах. Мертвыми будут лежать при дорогах деревья, и лютая стужа пахнет весной дыханием смерти, и цвет опадет с растений... И тогда прозвучит лучистая песня.

Будет метаться поверженный в довременной тоске и муке. И смертная дрема окрасит земляным цветом его лицо. Но потом придут два вождя. Один — посланец Жаворонка, другой — безвестный губитель, муж, расточивший всю свою душу па зов к разрушению — ибо за всю свою жизнь он не создал руками своими ни одной, даже тленной вещи...

Они вступят в единоборство, и одолеет посланец Жаворонка...»

И дальше, после долгих аллегорических перипетий рассказа, в «Прорицании» говорится:

«Жаворонок будет петь, и в песне его сердце поверженного различит два клича: клич о любви и клич о неустрашимости во имя любви. Горы наклонят головы, и дубравы перестанут шуметь. И звери удивленно раскроют глаза, вни-

мая сладкому звуку песни. И когда весь мир зазвучит этой лучистой песней, и эхо небес повторит те же звуки, тогда в великом теле поверженного свершится чудо. Он вздрогнет и приподыметься на локтях и оттолкнет с гневом попирающую его ступню.

Проклятое нахождение смерти сгинет тогда, как гибнет роса на травах от лучей солнца.

И в этот миг повеет теплый ветер, от дыханья которого зацветет у ног поверженного дивный цветок. Он будет белый и голубой, ибо в нем будут жить воспоминание и любовь. Воспоминание будет грустным, а любовь горячей.

И две силы станут превыше вражды в мире: память о бывшем и пламенная любовь к грядущему и тому, что есть...»

«Милость, любовь и пощада» — такой задумчивой формулой венчается легенда о Жаворонке.

— Милость, любовь и пощада, — думал я, покидая родимый погост. — А как же эти жизни? А кто же — Поверженный?!..

Высокие старые тополя буйно шумели на кладбище свежей, густой листвой, и я слышал их зов:

— Да, да: «Милость, любовь и пощада»!..

И, уже уходя от скорбных могил, я вдруг, точно очнувшись от волшебного сна, задал себе давно томивший меня страстный, страдальческий и вместе такой наболевше-простой вопрос.

— А что же будет с нею, с этой неоглядной, прекрасной и великой твоей родиной, этой загадочной дочерью Скифии, Гипербореи и Киммерии? Так много ведь честных сердец перестало биться! Такая жатва смерти!..

И я страстно ответил себе самому, с великой тишиной на устах, но так, как если бы я бросал свои слова целому миру:

— Россия никогда, никогда не погибнет!

Георгий Северцев-Полилов

ВЕЩЕЕ...



Познакомился я с ним в Иванову ночь....

Все из нашего пансиона разбрелись, кто куда. Одни пошли на берег реки смотреть, как жгут смоляные бочки, другие направились в парк, к развалинам, разумеется, преимущественно женщины, поэтически настроенные, и в саду пансиона остался только я один. Убежала и прислуга.

Я вошел в одну из маленьких беседок и убедился, что там имеется еще другое человеческое существо.

В уголку, прижавшись к стенке, сидел старенький человек и любовался на несколько десятков шкаликов, освещавших фронтон пансиона — незатейливая иллюминация нашего дома.

Старик улыбался, на его изрезанном морщинами лице расплылось выражение удовольствия, выцветшие глазки были устремлены на мигающие огоньки, впавший рот сложился в улыбку.

Я не стал мешать ему и удалился молча. Это был старик-садовник. Как его звали, мне не было известно. Говорили только, что ему более сотни лет, но для своего возраста он был достаточно бодр и подвижен.

О чем думал дед в эту минуту? Вспоминал ли он давно прошедшие времена, все радости невозвратной молодости, грезилось ли ему беззаботное детство, товарищи, веселые игры в эту полную таинственной прелести Иванову ночь, перелом лета... Кто знает?

С тех пор я только еще раз видал старого садовника, когда он привязывал к колышкам разметанные ночным дождем в клумбе цветы. Он мне показался совсем ветхим старцем....

Миновали июньские дни. Надвинулся удушливо жаркий июль. В лугах запахло ароматом скошенной травы, зашелестели колосья озимых хлебов, заволновалась желтая нива, точно безбрежное море, созревал хлеб.

Скоро и жатва. Зерно налилось добротное, янтарное. Радуются хлеборобы. По ночам зарницы заблестали, кой-когда легкий, теплый дождик вспрыскивал, освежал, но не вредил хлебу.

У нас в пансионе время было мирное, летне-ленивое.

Все отдыхали от зимних занятий, жили растительной жизнью, много гуляли, казалось, что и конца не будет такому умственному прозябанию.

Это было 19-го июля...

Стояла удушливая ночь. Несмотря на открытое окно, в комнате было нечем дышать. Мне не спалось. Я чиркнул спичку, посмотрел на часы: близилось к полуночи. Огонь совершенно прогнал мой сон, я наскоро оделся, спустился по лестнице в нижний этаж и выбрался в сад, оттуда было недалеко пройти и па дорогу.

Шоссе пролегало под сенью густых каштанов и вязов. И днем-то оно было полно таинственного сумрака, а теперь это была какая-то бездонная пропасть, зияющая темнота...

Ощупав руками, я перешел на другую сторону дороги и сел на каменную тумбочку...

Темнота сконцентрировала мои мысли, я чувствовал какую-то особенную жуть от этого невольного одиночества, отчужденность...

Я знал, что направо, через несколько десятков сажен, лежали ворота замка, за которыми притаились древние развалины, на левую руку шоссе убежало в поле, минуя тоже очень старое здание общественного зернохранилища.

Теперь не помню, долго ли находился я в таком абсолютном состоянии покоя. Окружающая тишина и темнота буквально давили меня.

Неожиданно пронесшийся какой-то глухой стон заставил меня вздрогнуть. Меня охватил страх... Секунда, другая, стон снова пронесся, еще жалостнее, еще тяжелее...

Снова наступила тишина. Я онемел... Не знал, бежать ли мне обратно или ждать. Из этого оцепенения меня вырвал человеческий голос. Кто-то бормотал... Слов я не мог разобрать.

Я обрадовался случайному соседу и, стараясь сдержать волнение, спросил:

— Кто тут?

Недалеко от меня послышалось слабое шуршание, шлепанье шагов, ко мне кто-то подошел и на плохом русском языке проговорил:

— Не бойтесь, это я.

Слова его успокаивающе на меня подействовали. Я чиркнул спичку и посмотрел на говорившего. Это был старый садовник.

— Слышали? — подавленным голосом спросил он.

— Да. Что это такое?

— Земля плачет, она чувствует кровь, много прольется ее, — тихо говорил старик. — Не первый раз я слышу этот плач. О, я его уже слышал много лет назад и тогда был он справедлив....

Объятый ужасом, я молчал. Сердце усиленно билось, слова садовника показались мне пророческими, хотя в эту минуту я не мог себе представить, не мог вообразить, что они означают...

— Много прольется крови, насквозь пропитается ею земля... Вот она и стонет, ей тяжело принять человеческую кровь, — бормотал старик.

Таинственные звуки больше не повторялись. Все успокоилось. Над вершинами вязов и каштанов пронесся ветерок, они зашумели кронами. Темнота немного рассеялась, из-за строений пролился слабый луч луны, он упал на группу из нескольких деревьев, от них протянулась по траве слабая тень.

Мои глаза невольно устремились на колышущиеся тени, фантазия разыгрывалась, тени волновались, складывались в формы, вырезывались очертания.

Я вздрогнул, когда до моей руки коснулась высохшая рука старого латыша.

— Смотрите, — прошептал он, указывая на тень от луны, — смотрите внимательнее.

Творилось что-то странное.

Была ли это игра воображения или какое-нибудь непонятное, таинственное явление, имевшее начало где-то там, далеко, в неведомых нам силах...

На тени вырисовывалась громадного роста белая женщина, движения ее были величавы, она подняла правую руку, вот вырисовалось лицо, очертился стан; да, это русская одежда, сарафан, на голове кокошник.

Еще мгновение и около нее появилась другая фигура, тоже громадная, она волновалась и затем сложилась в яркую форму солдата в каске, со штыком наперевес. Солдат направил штык против женской фигуры, готовясь проткнуть ее...

Я затаил дыхание, поражаясь все больше и больше этим явлением. Несколько коротких мгновений.... штыка больше нет, ружье свалилось, фигура солдата откинулась назад, а белая женщина по-прежнему величаво красуется с неподвижно поднятой ввысь рукой...

— Видел? — торжественным шепотом сказал мой странный собеседник, невольно переходя на ты. — Запомни, господин! Это вещь... Богом нам дается...

Не помню, как добрался до нашего пансиона; я был весь полон этим странным случаем, этим таинственным явлением...

.

А через несколько часов телеграф принес нам известие, что война объявлена.

Вот что видел я и слышал в старинном Зегевельде 19-го июля 1914 года.

Валериан Светлов

АНГЕЛ СМЕРТИ

Шум битвы отходил.

Пронесся, как ураган, над полем смерти и постепенно замирал вдали.

Крики «ура», рвущиеся из тысячи глоток, лязг и звон холодного оружия, жужжание ружейных пуль, грохот разрывов, тяжелое дыхание бегущих воинов, конский топот, негодующий крик, крепкое бранное слово, жалобный стон раненого, слабый вздох умирающего, гром ручных гранат, нервная команда, трескотня пулеметов, полет шрапнели или гранаты — вот та полифоническая симфония боя, которая так знакома, так близка и так обыденна для уха каждого из его участников.

Неудержимый стихийный порыв несет эту толпу людей куда-то вдали, к какой-то неведомой цели, к какому-то смутно постигаемому достижению. Уносит, как неудержимый вихрь... Думает ли в это время человек о чем-нибудь? Вспоминает ли прошлое, надеется ли на будущее или творит молитву в этот момент озверения и одичания? И что уносит его вперед, что толкает его к достижению? Что устремляет его туда, где ждет его Смерть?

Трудно ответить на это. Если сказать «храбрость», то это ровно ничего не объясняет. Это слово придуманное, и придумано оно для того, чтобы каким-то ничего не говорящим знаком или условным выражением «кода» вкратце определить ту сложную психологическую ткань души, которая заставляет человека стремиться от Жизни к Смерти. Но из какого материала соткана эта невидимая, но прекрасная ткань, вряд ли кто знает. Может быть, даже из трусости, из сознания неизбежности, из мучительного желания поскорее прийти к определенности положения. А может быть, из высоких порывов любви к ближнему и к родине, из сознания долга, из самолюбия или актерского стремления доиграть с честью взятую на себя роль до конца.

Никто, я думаю, определенно не скажет, в чем тут дело, и где главное, явное и повелительное, и где второстепенное, тайное и добровольное.

Поручик Михайлов бежала, впереди других с револьвером в руках. Сердце билось так, что казалось, будто хочет освободиться из неволи. Темные круги вертелись, как колеса, перед глазами. Мучительны были это сердцебиение и недостаток дыхания. Вот-вот что-то лопнет, и он свалится в бесславной агонии, не будучи ранен, ничего не сделав определенного. О, только не это! Хоть бы поскорее пуля ударила в какую-нибудь часть тела... Конечно, лучше бы в руку или в ногу, а не в живот и не в грудь. Или в голову, но крайней мере, сразу лег бы на месте, и все навсегда было бы конечно. Вот только Таня... да! Ну ничего, разве не позаботятся? Да маленькая Ира... И почему пули летают, как мухи, а не задевают? Одна как-то чиркнула даже по краю уха, а может быть, это только показалось? Летят, жужжат, а не трогают. Вот и снаряд разорвался в нескольких шагах, а осколки отнесло куда-то в сторону. Ну ничего, не задело. Надо бежать, вот что ужасно. Ноги-то несут, но сердце, сердце не выдерживает.

Он несся вперед. И рядом с ним бежали и впереди бежали и назад бежали; и его опережали, и никто, решительно никто, не обращал на него никакого внимания, как будто его не было или это была его тень. И он никого не узнавал. Он что-то кричал: «Ура! Вперед! Ребята, вперед!» и думал, что вот, в этом крике, в этом порыве и есть то главное, к чему он призван и о чем пишут в наградных реляциях: «Личным примером мужества увлек за собой роту...» Но решительно никто не обращал внимания на его крики, потому что все, кто его обгонял, и сами что-то выкрикивали, держа ружья наперевес, и если бы он упал, то наверное, никто не обратил бы внимания на это чересчур обычное явление и продолжал бы в неудержимом и непонятном порыве бежать и бежать, перепрыгивая через его тело.

Вокруг него падали люди. Бежит — и вдруг шлепнется оземь и замрет. Он оставался и к этому глубоко равнодушным. Куда-то надо было спешить, а если не поспеть куда-

то, то будет плохо. А что какой-то рядовой вдруг свалился около него и замер в безобразно скрюченной, точно нарочно придуманной позе, так ведь таких очень много, и все кочковатое поле усеяно такими фигурами.

Неудержимо хотелось выстрелить из револьвера. Зачем? Неприятель еще далеко — чуть виднеется полуразрушенная артиллерией проволока, а за ней чернеют окопы, прикрытые по наружному гребню соломой, — невинная уловка для маскирования их. А выстрелить хочется. Странно же, если бы вдруг после атаки револьвер оказался не разряженным!.. И потом этот вопрос наивных тыловых людей: «Вы скольких убили?» Но решительно нет повода стрелять. Еще убьешь своего, бегущего впереди. Вот, если бы Таня увидела его, как-нибудь со стороны, будучи сама в полной безопасности, бегущим по полю в атаку! Каким бы героем он стал в ее глазах. Но он два года на войне, и даже не ранен. Черт знает что, какое же это геройство? Тыловые люди будут спрашивать: «Вы участвовали в боях? И ни разу не были ранены?» Им это непонятно. Но разве можно представить себе такой случай, чтобы Таня могла присутствовать при «этом» в качестве зрительницы? Какой вздор лезет в голову! Как же это можно себе представить? Рассказать потом? Это можно. Но, пробуя мысленно рассказ, как-то ничего не выходило. Все ярко, вздуто, напыщенно и страшно, а на самом деле все такт» обыкновенно и просто, и ordinarily. Нет уж, лучше обойтись без всяких героических рассказов, чтобы тыловые люди не сказали: «Врет все, да и врет-то нескладно». Получить бы беленький крестик — он сам за себя бы и говорил. Впрочем, тыловых людей и крестиком не всегда убедишь. Вот деревянному кресту они охотно поверят — тут уж сомневаться не приходится, и скептицизм людей, работающих на «самооборону», улетучивается.

А сердце... сердце...

Что-то стукнуло, точно палкой, по бедру. Что-то вдруг вылилось откуда-то. Липкой горячей струйкой потекло по бедру, по колену, по икре, добежало до большого пальца левой ноги. Защекотало. Ужасно неприятно... И еще и еще... Все течет и течет. И бедро сделалось тяжелое, тяжелое, точно не

свое, а какой-то чуждый придаток. И горячее, горячее.

Ноги подогнулись. Какой-то странный взмах руками в воздухе. Револьвер выпал из судорожно сжатых пальцев, повис на шнуре, больно ударил по здоровой ноге.

Что такое? Разве он упал? Что-то огромное и темное пронеслось над ним. Люди бегут через него, что ли? И еще и еще... Кто-то отпихнул его ногой.

Свет словно меркнет. Голова кружится. Сердце бьется, но спокойнее... Проволока идет вверх, окопы поднимаются и описывают круг над головой, а земля, напротив, из-под него уходит куда-то, и он проваливается в пропасть. Тошнит. Безумно хочется пить. Мучительная, какая-то беспощадная, смертельная жажда. Бедро становится чутунным. В глазах темные круги, потом зеленые круги, потом красные и желтые прыгающие пятна. Окопы и проволока опять на месте. И опять медленно плывут они куда-то вверх, и опять земля уходит вниз, и опять тошнит и сердце замирает, и уже вся нога мокрая, что очень, очень неприятно. И с боков к ребрам подкрадывается холодок, какие-то ползающие холодные муравьи, и вот уже лихорадочная дрожь охватывает его, несмотря на то, что по ноге бегут горячие струи. Пить, пить, пить! Единственная мечта, единое желание. И ничего, ничего больше не нужно, как только бы фляжку.

Да ведь она где-то есть на нем, сбоку. С которого боку? Все вертится вокруг него, где же тут найти? И как найти? Руки, как плети. Не поднимаются. Бедро становится еще тяжелее и уже как-то давит на все тело, на ноги, на грудь, на голову, на самый мозг, и муравьи бегают, и холод охватывает его, а может быть, жар... потому что пить хочется.

И несутся люди над ним, как тучи в осеннюю непогоду.

Он что-то кричит, но сам не слышит никакого звука.

Как странно! Ведь он же знает, что кричит. Отчего же его никто не слышит, да и он сам себя не слышит?

Ах, проклятые! Окопы опять развернулись. От их вращения усиливается, кажется, жажда. Теперь замелькали темно-лиловые с голубыми огоньки на бездонно-черном фоне. Да где же это? В природе или в сознании?

Да что же это, смерть, что ли? Вздор какой! Он не хочет умирать, он не может, не должен умереть. Да и почему умирать? Ведь нигде ничего не болит. Вот нога что-то становится тяжелой, как бедро: уже ее не приподнять, чтобы изменить направление текущей жидкости. Ну что ж, пусть мокнет. И вообще пусть все! Кто-то ударил его палкой по бедру, и вот он ничего уже не в состоянии сделать. Ничего. Как странно и бесконечно глупо лежать вот так, каким-то чурбаном. Какая же это смерть? Ведь он еще в сознании. Потому что по-прежнему кружатся окопы и проволока, и по-прежнему над ним, как ураган, проносится что-то огромное и тяжелое, иногда задевающее его. И он это видит, и чувствует, и сознает и вот же рассуждает об этом. Да он ли рассуждает? Кто-то за него, и где-то далеко-далеко вне его. Нет, это не палкой его ударило... а, наверное, пулей. А что он лежит на сырой земле, это нехорошо. Когда его подымут, — разве можно в этом сомневаться? — когда его подымут и отнесут на перевязочный передовой пункт, то у него сделается столбняк. Там, в тылу, где-нибудь далеко, он будет на чистой постели перегибаться мостом от проклятого столбняка. Видел он много таких. Но разве ему добраться до чистой постели? Может быть, вот тут, сейчас, на этом грязном и грозном поле он и умрет перед этими окопами и проволоками? Так что ж? Не все равно? Но лишь бы дали пить, в последний раз перед смертью ощутить это блаженство...

Неизреченный свет. Вдруг разверзлось небо. Голубоватое сияние. Светло, как днем, и он купается в этом свете, и свет режет ему глаза, и в беспокойстве он мечется, и некуда деваться и некуда спрятаться от этого света. Он приятен и назойлив. Это путь радости в тот край, откуда нет возврата? Неужели уходящим в тот край весь путь будет освещаться таким чудесным сиянием?

Меркнет свет, простояв над полем некоторое время. Он слабеет; и он потушен, и этот свет, и скоро на поле становится в десять раз темнее и в десять раз жутче.

Это просто неприятельская ракета.

Да не все ли, наконец, равно, что это такое? Вот, если бы оторвать ненужную одеревеневшую ногу с очугуненным бедром! Он пополз бы тогда на руках и здоровой ноге куда-нибудь по полю и, может быть, дополз бы до чистой постели...

Далеко отошел шум боя и затиш.

Смеркалось. Уже ни окопов, ни проволочных заграждений не видно. Серело, синело и чернело небо. Подымалась и расплывалась тьма и наполняла собою природу. По чернело поле битвы, слилось с небом, и тьма залила это поле, скрыв в себе и под собою отдельные детали. Бездонной, бесстенной пропастью казалось все вокруг. Вдали темное небо вспыхивало изредка зарницами войны — голубоватыми ракетами, и стоял тогда свет над тьмою, но не рассеивал тьмы, а делал ее только еще гуще, еще жутче, вне пределов этого света.

Изнемогла, казалось, земля от этого дня тяжелых осквернений. Залило кровью ее, кормилицу. И от этой густой, липкой, горячей крови острупела она, как корой растленной покрылась. Трупы воинов в скрюченных позах, застывшие в последней мучительной агонии, валялись по лицу ее, как выброшенные за негодностью осколки человечества. Сколько их? Разве счесть? Разве свесить и вымерить все то горе, которое так широко разлилось по челу мира в эту годину страшных убийств?

Темнела ночь, и подымались густые туманы. Смолкли шумы боя, и наступила тишина. Жуткая, безмолвная тишина. Как в гробу, как в могиле. И стонов раненых больше не стало слышно. Прикончились они, замолкли навеки в этой земной юдоли.

Но где-то далеко, в самой глубине сознания поручика Михайлова роились образы без образов и мысли без мыслей. Смутные, оборванные, облачные, как эти туманы. Безобразно и бессмысленно цеплялись они друг за друга, слабо держась какими-то гранями, точно боясь, что вот-вот рассыплются и разойдутся по полю в одиночку, как испарения. Жив он или мертв? Спит он или грезит? Кончилась ли земная жизнь и началась ли та, другая?

И вот туманное облако сгустилось над ним и вытянулось в длину. Что-то страшное и жуткое было в этом видении или привидении — никак не разберешься, что это такое. Может быть, Ангел Смерти склоняется над ним, чтобы выслушать его последнюю волю или благословить его на новый дальний путь?

И увидел он как бы сквозь густую сеть строгое и бледное лицо с выражением печали и суровости в лучезарных глазах. И блеск этих глаз обжигал его сознание холодным огнем.

Страшная, мучительная тоска овладела им: гораздо более страшная и мучительная, чем жажда, когда-то мучившая его. А теперь уже нет этой жажды, и все было бы хорошо, если бы не этот холодный блеск, обжигающий его сознание.

Ему захотелось крикнуть, но, сделав усилие, он вновь понял, что ничего из этого не выйдет. И опять безмолвие навалилось на него всей своей тяжестью. И темная ночь окружила его всей своей жутью. Как придорожная вежа, маячил в этом безмолвии и в этой тьме седой призрак. Из уст его шли какие-то нити. Он их не видел, но чувствовал. И нити эти вдруг оборвались, и тогда он прозрел. Клубочками скатывались они по полю, и каждый клубочек превратился в цветочек, и тысячи тысяч этих цветочков, алых, как маки, покрыли поле. Когда-то он видел такую долину, когда ехал на позиции, долину, всю покрытую сплошь красными маками. Она походила на чудный ковер. Он любовался этой долиной. Ему вспомнилось, что мак — символ сна. И он прозвал эту долину «долиной сновидений». Вот он видит теперь ее снова. Но тогда она казалась ему причудливым и сказочным ковром, а вот это поле кажется ему страшным и печальным!.. Цветы ли это или сгустки крови? Не собралась ли на этом поле вся кровь, пролитая здесь, вся человеческая кровь, пролитая за родину?

Но отчего вдруг нарушается безмолвие этой ночи? Вот он уже слышит какой-то шорох: как будто ночной ветер прокрадывался по полю, боясь разбудить воинов, навеки уснувших среди кровавых цветов, и цветы зашелестели, за-

шуршали, зашептались, а он услышал их и жадно внимал им, радуясь, что отверзся слух его, как и очи.

Как хорошо, как сладко лежать здесь, среди этих страшных цветов, окутанным мягким туманом, словно одеялом, и видеть всю эту странную красоту и слышать эту странную музыку.

На земле ли он? Или в далекой таинственной долине сновидений, где высокий туманный призрак охраняет повелительницу долины, царицу сна и дочь ее Грезу? Вот их дворец, волшебный дворец из белого камня, заросший густым садом. Каких цветов только здесь нет! И какими благоуханиями они насытили воздух. И как сладко-сладко спать среди цветов, среди благоуханий, среди видений, среди звуков.

Как сладко спать и грезить!..

Но нежный звон колокольчиков затихает. Сладкая, слегка опьяняющая мелодия обрывается. Что-то где-то рокочет низкими, тяжелыми звуками. И свет исчезает, будто луна, которой он не замечал раньше, прячется за облака. Вот набежали тучи, и стало темно... Голубые огни вспыхивают и потухают среди цветов. Крепчает ветер. Чудовища без образов выглядывают из-за кустов — серые, как страж-привидение, и машут длинными руками и опять прячутся, точно дразнят его. С ужасным криком пролетели над полем ночные птицы, точно испугались чего-то... И вновь вернулись и зловеще закружились над скорченными телами убитых воинов.

И вот он не знает, лежит ли он в благоухающем саду долины сновидений или на страшном поле смерти, по которому он так недавно, задыхаясь, бежал с револьвером в руках, бежал к какой-то цели, неудержимо рвался к ней, пока не упал, как скошенный...

Фиолетовый свет... фиолетовый свет заливают поле.

И среди этого света он видит какого-то странного и страшного старика. Он силится вспомнить — и то, что было когда-то тем, что называлось его сознанием, подсказывает ему, что этот старик был недавно серым, что родился он из густоты тумана, поднявшегося над полем угасшей битвы.

Это кошмар. За ним двигаются фантомы, рожденные тем же туманом, и все бегут к нему, машут на него длинными-длинными рукавами своих хламид.

И ему явно слышится, как старик говорит:

— Усыпите его, усыпите его. Он сделал все, что мог сделать. Он сделал все, что должен был сделать. Его жизнь понадобилась родине, и он отдал ее просто, спокойно. И теперь ему нужно умереть так же просто и спокойно, как умирают русские люди... Почему он не хочет уснуть? Ему здесь больше нечего делать. Почему жизнь все еще не уходит из этого тела? Зачем она так цепко держится за эту тюрьму и не хочет высвободиться из нее? Усыпите его! Усыпите его!

И фантомы, рожденные туманом, ответили старику:

— Мы не можем усыпить его. Мы не в силах усыпить его. Жизнь его сильнее сна, который мы можем дать. Мы духи тяжелых снов. Позови беспробудный сон, и он даст ему вечное успокоение.

— Хорошо, — ответил старик. — Приведите же его.

Фантомы исчезли какими-то кольцами тумана. Потом они явились вновь.

Среди них кто-то черный и великий, безликий и все-таки страшный шел прямо к нему. Руки его были сложены на груди крестообразно, а на спине его были черные крылья, длинные и блестящие, до самой земли.

И послышался умирающему в шагах Ангела Смерти мерный, протяжный и гулкий колокольный звон.

И подошел к нему Ангел Смерти — Беспробудный Сон, и распростер над ним руки в длинных черных рукавах, и лик его стал вдруг видим. Блеснул острый блеск его черных глаз на бледном-бледном лице.

И повеяло на умирающего веянием холода, особого холода, острого и резкого, замогильного.

— Усни навеки! — медленно сказал Ангел Смерти, — усни беспробудным и бессмертным сном. Да не смутят тебя больше земные грезы. Выйди, Жизнь, из него! Земля тебя не забудет. Твой прах будет покоиться в ней и сольется с ней, и новая жизнь родится из него. Ты будешь выше земли и ближе к той жизни, которая есть настоящая. И ты забудь

дешь о земной жизни, которая есть тень, только тень и призрак жизни действительной. Усни же сном беспробудным, сном безмятежным, сном бесконечным...

И опять зазвучали колокола.

И почувствовал умирающий, как бедро перестало тяготить его своей чугунной тяжестью, как ему сделалось от этого легко и свободно...

Темнела ночь перед зарей. Подымались с поля туманы, за клубились, закружились, унеслись высоко к поднебесью. Ожило мертвое поле человеческими голосами. Санитары ходили с ручными фонарями от одного трупа к другому и собирали их и укладывали на носилки эти полевые цветы смерти.

— Да ведь это никак поручик Михайлов! — проговорил врач, наклоняясь над трупом и направив свет своего фонарика на его лицо. — Точно спит! И как спокойно...

Алексей Будищев

СОН ПОСЛЕ БОЯ

Это произошло в окрестностях Лодзи, бок о бок с волчьими ямами, переполненными изуродованными трупами; рядом с целой сетью проволочных заграждений, на острых колючках которых там и сям висели лоскуты человеческого мяса и человеческих одежд, насыщенных кровью.

Это случилось после ужасного натиска немцев, после дикого боя, под бешеную пляску рвущегося по земле железа, под истушленный рев пушек, под истерическое взвизгивание артиллерийских снарядов, под монотонное гуденье пуль, будто отпевавших кого-то.

Кого-то отпевало в самом деле оно, это монотонное пение? Мечты о мире или зловещий призрак войны? Кто знает?

Однако, когда враг, наконец, дрогнул и побежал назад в диком ужасе, прекратив свои бешеные натиски, они расположились на ночлег, наши железные рати.

Уснул и один совсем еще молодой офицер, с головой завернувшись в бурку. Но едва лишь он сомкнул глаза, как барабаны вновь затрещали тревогу. Он услышал чей-то сердитый окрик:

— Снова штурм! О, черти!

Пушки рывкнули, железо заметалось по земле в дьявольской пляске. Кто-то крикнул ему в самое ухо сквозь невообразимый гвалт:

— Вставайте! Они уже близко! Германцы!

Он пожевал губами, но не мог произнести ни единого слова, будучи не в силах преодолеть сна. Ему хотелось сказать:

— Оставьте меня в покое. Я уже давно приготовился к смерти, но я устал от убийств. Я хочу спать.

Несколько темных силуэтов пробежали, прыгая через него, как через труп. И вдруг что-то рывкнуло ему в самое ухо, что-то отвратительное и безумное, как хохот самого сатаны. В ту же минуту он увидел, что кто-то бежит к нему, кто-то удивительно длинный и странный, с искривленным от злобного гоготанья ртом. Он подумал:

«Смерть моя!»

И тотчас же почувствовал во всем своем теле острые пронзающие мурашки.

Он снова подумал:

«Кровь стынет. Меня убили! Сонного!»

Эта мысль повергла его вдруг в ужас, несмотря на то, что он уже давно подготовлял себя к ней старательно. Все в нем безмолвно вскрикнуло в отчаянии:

— Да быть этого не может! Я не хочу этого! Не хочу!

Безмерная жажда жизни внезапно будто sprysнула его на одну минуту живой водой. Порывистым движением он оторвал несколько от земли свое бессильно распластанное туловище и схватился рукою за рукоятку сабли, пытаясь выдернуть ее из ножен, чтоб защищаться от кого-то. Но тут он увидел над собой лицо своей жены, все донельзя взволнованное и мучительно потрясенное, будто выдвинутое из тьмы стремительной силой. Низко склоняясь к нему и вся сотрясаясь от kloкотавших в ней чувств, та проговорила:

— Этого теперь уже не надо!

И, поспешно сорвав его руку с рукоятки сабли, она с той же поспешностью, точно боясь опоздать, сложила его холодевшие пальцы в крестное знаменье.

Он услышал:

— Вот. Вот так! Вот все, что нужно.

И она припала к нему на грудь в безотчетном порыве. В нем будто что дрогнуло благостно, как единая капля чистой живой воды посреди уже мерзлой глыбы. Ему хотелось сказать:

— Спасибо: не забывай!

Но он не сказал этого. Не мог. Словно непроницаемая пелена постепенно задергивала его от всего мира, как падающий занавес. По всему его телу властно разливались тяжесть и оцепенение. Последняя мысль лениво шевельнулась в нем, как отходящая ко сну птица:

«Вероятно, то же самое чувствует и вода, замерзая в лед; ту же тяжесть и то же оцепенение. Но вода не исчезает, а лишь изменяет первоначальную форму. Может быть, и я...»

Он не успел продумать до конца этой мысли.

Его мысль замерзла. Он перестал сознавать себя.

— Он умер! — сказал санитар, прикасаясь к его одеревенелому плечу. — Носилки капитану Шустрову!

— Хороший был офицер, вечная ему память!

— Вы знаете, он только что перед самой войной женился. Бедный!

— Ишь как! Все внутренности разворотило!

— Где здесь капитан Шустров? Убит? О, Боже!

— Сестричка! Поплакали и довольно. Эх-хе-хе, все здесь останемся! Соболаговолите оставить ваши слезки и для других прочих! Которые также в свой черед!

Капитан Шустров не слышал этих отдельных возгласов, однако. Он лежал вытянувшись, с лицом неподвижным, как восковая маска, и он только воспринимал их, все эти возгласы, как дерево воспринимает удары молотка. Сознание молчало в нем, как молчит горное эхо до первого голоса вечно существующей жизни.

И вдруг он почувствовал, что в его окаменевшем сознании словно затеплилась слабая искорка. Сознание его дрогнуло внезапно, будто пробуждаясь от сна, и слабая искорка разгоралась все сильнее и сильнее, как пламя угля, раздуваемого чьими-то благодатными устами, непорочными и чистыми. Теплые и благодатные, как молитва, чувства наполнили сознание его ароматной волной. Он ощутил собой вновь движение жизни, впрочем, едва уловимое, как мелодичное гуденье шмеля в цветочной клумбе, среди тихого сияния майского дня.

— Кто ты? — безмолвно спросил он в своем сознании того, чьи непорочные уста раздували в нем светлое пламя жизни.

И он услышал:

— Я — гений жизни. Я — ангел Пославшего меня. Я — летний дождь. Я — солнечный луч. На светлом венце чела моего начертано:

«Да возродится семя, упавшее в землю, в новой жизни!»

Сознание вновь благодатно дрогнуло в нем, и он внезапно понял, что он уже не капитан Шустров, но все же кто-то весьма близкий этому последнему. Мучительные слезы заки-

пели в нем, и он тяжело расплакался, словно все его сознание исходило одними горькими слезами и мученьями. Тот же голос спросил его:

— О чем ты? Что видишь ты?

Он отвечал:

— Я вижу изодранные лоскуты тела человеческого на острых колючках проволок. Капли крови падают с них на землю, как слезы, насыщая почву. Я вижу туловища, раздавленные в кровавое месиво, и землю, скользкую от крови. Я вижу зарева пожаров, изуродованные лица и все ужасы войны. Вот отчего мои муки!

— Что думаешь ты?

— Я думаю, возможно ли, чтобы ужасы эти творились во имя преходящих материальных благ? Во имя приобретения земель? Во имя успехов торговли?

Он вновь почувствовал на себе светлое дыхание чистых уст гения жизни и услышал снова в просветленном сознании своем:

— А теперь? Что думаешь ты теперь?

— Я думаю: человечеству не открыты истинные цели войны; истинные цели войны направлены лишь к свержению ее кровавого ига.

Голос спросил:

— О чем вспомнилось тебе?

— Я вспомнил. Когда один студент убивал старуху-закладчицу, он думал, что он убивает ее лишь для того, чтобы воспользоваться ее богатствами. А вышло, что он убил ее лишь для того, чтобы начертать в сердце своем: убивать нельзя!

— Какой же вывод делаешь ты в пробужденном разуме своем?

— Я еще раз делаю вывод. Человечеству неведомы истинные цели войны. А между тем, везде и всегда человечество воюет лишь за идею вселенского мира. Только ради нее! Иначе сказать: во времени — народ воюет с народом, вне времени — война истребляет войну.

— Легче ли тебе?

— Со дна сознания моего будто поднимается радостный трепет, как светлое облако.

— Почему? Кем стал ты теперь? Что раскрылось твоему взору?

— Я — розовое облако светлой зари счастья народного. Я вижу: вот подо мной великий город с шумной радостью приветствует братаяющиеся народы, только что подписавшие грамоту вселенского мира. Войны больше нет; она съела самое себя, как отвратительное чудовище! Я слышу ликования всего света!

— Что чувствуешь ты?

— Слезы бесконечной радости падают из моего розового лона на счастливый город, как золотой дождь. Голубоглазые дети с венками на головах приветствуют меня, как счастливое знамение новых дней. Я слышу их безмятежные крики: «Розовое облако! Прими наш привет, о, розовое облако!»

— Капитан Шустров!

Он весь вздрогнул, проснулся и вскочил на ноги. Протирая заспанные глаза, он огляделся.

Над зловещим городом зловеще горела багровая, как кровь, заря. Барабаны сердито трещали. Из темных подземелий выходили железные люди, молчаливо строясь в ряды. Среди безмолвных небес, раскинувшись, как пламенный цветок, внезапно разорвалась шрапнель. В багровом тумане показались тучеобразные колонны медленно надвигавшегося неприятеля. Капитан Шустров стал впереди солдат, весь сосредоточенный и строгий.

— Я сегодня буду убит, — тихо шепнул он молоденькому, совсем безусому офицеру. — Вы замените меня. Я вам верю, как себе.

И с тем же чувством, с каким он, бывало, в дни далекого детства подходил к причастию, он медленно извлек из ножен свою блеснувшую багровым лучом саблю.

— С нами Бог! Вперед!

В. Никольская

ВИДЕНИЕ

(Из мира таинственного)

Случилось это в зиму 1913 года, то есть за несколько месяцев перед великой Европейской войной. Мне пришлось провести Рождество в Польше, в В-ской губернии у родственников, которые, где бы они ни были, в Варшаве, Кракове или вообще за границей, всегда возвращались на Святки в свой древний исторический замок, где во времена оны жилали польские короли.

Патриархальная польская семья — старики очень верующие, молодежь, хотя и с налетом веяний и идей модернизма, но все же набожная, может быть, впрочем, только наружно: это очень умело поддерживают ксендзы до сих пор. Традиционные исповеди и службы в каплицах еще не вышли здесь из моды.

Помещичий дом или, как все называли его, замок — старый-престарый, — я затрудняюсь даже сказать, сколько столетий насчитывал он, мрачное, потемневшее от времени здание, страшно заинтересовал меня. Гостить мне здесь пришлось в первый раз, и я удивлялась, как равнодушно и старые и молодые члены семьи относятся к своему родовому наследию, которое являлось таким интересным памятником старины. Архитектурой своей он походил на те замки, которые мы видим теперь почти исключительно только в иллюстрациях, но которые до войны в Польше все же существовали, со всеми их характерными признаками, — не было разве только традиционного для исторических строений такого рода рва с подъемным мостом, и это отчасти портило впечатление. В таких замках нередко обитали в прежние времена и католические монастыри.

Здание сохранилось почти в полной неприкосновенности — замок, очевидно, не перестраивался и не переделывался. Высокие сводчатые комнаты — настоящие покои; длинные галереи-коридоры — целые лабиринты, в которых незнакомый с расположением мог легко запутаться; многочисленные кованые железом двери со ступеньками вниз, люки, лестницы, ведущие в башни, бесконечные переходы! Не нужно было даже обладать пылкой фантазией, чтобы нарисовать себе яркую картину возможного прошлого. Конечно, это не была Испания с ее знаменитыми подземе-

льями и пытками, но кто знает, какие события разыгрывались когда-то в этом историческом месте, что скрывали эти тяжелые кованые низенькие двери, эти железные люки?!

Трусливой я никогда не была, а потому с особенным наслаждением разгуливала по бесконечным галереям и переходам замка, подолгу останавливаясь около таинственных дверей и люков. Мне слышались там какие-то голоса, звуки, шорохи...

Кузен — один из членов семьи — только посмеивался надо мной и уверил, что все кладовые и погреба пустые и, кроме пыли и грязи, там ничего нет. Действительно, когда-то, в славные времена, в этих погребах хранилось старое доброе вино и знаменитый польский мед — еще и теперь там кое-где валяются пустые выдохшиеся бочки и битые бутылки; есть в кладовых какое-то тряпье и ломаные ящики. Если меня эти «исторические реликвии» интересуют, я могу-де спуститься туда, но там можно задохнуться от пыли и спертого удушливого воздуха.

Была в этом замке, как полагается, и библиотека — громадная, с высокими окнами, сводчатая комната, уставленная чудными старинными шкафами, где скрывались настоящие сокровища литературы на всевозможных языках.

Из всех комнат эта больше всего привлекала меня. Я любила сидеть здесь в громадном — утонуть можно — кресле в сумерки, когда очертания предметов становились уже неясными и в комнате не зажигалось ни одного огня, а она ярко освещалась через высокое окно лунным светом.

Фантазия разыгрывалась и создавала яркие картины прошлого. В каждом шорохе слышался голос былого, в каждой скользящей тени чудились таинственные призраки. Становилось жутко...

В замке старое удивительно смешивалось с новым на каждом шагу в жилых комнатах, где прежней обстановки почти не сохранилось, только парадные комнаты, большая зала, охотничья комната и старая столовая необъятных размеров, вся из целого дуба, сохранились в неприкосновенности, но они стояли запертыми, и туда никто не ходил.

Убирались они только раза два-три в год перед большими праздниками, так что вся обстановка там всегда была покрыта толстым слоем пыли. Иногда мне приходила фантазия, и я, взяв ключи у старика-кастеляна, отправлялась туда.

Вначале я обыкновенно рассказывала об этом, описывала свои переживания, но потом бросила, так как надо мной только посмеивались, называя фантазеркой. Пугали привидениями, советовали переночевать в запертой башне, в которой якобы когда-то томились узники, где происходили ужасные казни-самосуды и где теперь бродят души умерших.

Приходилось отшучиваться в том же духе. Если я была фантазеркой, то, во всяком случае, ни в какие привидения, ни в какие явления загробного мира и силы ада, ни во что сверхъестественное я не верила и, бродя по пустынным галереям и комнатам старого здания, страха совершенно никакого не испытывала. Единственно, где я чувствовала некоторую жуть — это в каплице, где все стояло так, как, может быть, целые столетия назад, и где служба совершалась только раз в год, перед Пасхой, и куда в остальное время никто, кроме кастеляна, не заглядывал. Особенное внимание на себя обращало здесь распятие — слоновая кость на железном кресте — фамильная древность, произведение знаменитого итальянского мастера, огромной ценности, и картина на стене, уже сильно выцветшая от времени, — изображение не то предка, не то святого, но с таким злобным лицом, что невольно становилось страшно. Находилась эта каплица за парадными комнатами, в самом отдаленном конце замка, как раз у той башни, где мне советовали провести ночь, чтобы познакомиться с привидениями и «тому подобной чертовщиной», как выражался мой двоюродный брат Казимир. Насмешник по натуре, он всячески старался меня задеть и заставить меня доказать, что я действительно не боюсь никакой «чертовщины», не боюсь и этой башни.

— И отправлюсь, и переночую, — храбрилась я, по правде сказать, не имея ни малейшего желания испытать это

удовольствие: хотя я была и не робкого десятка, но перспектива провести всю ночь одной в заброшенной башне, где, вероятно, не было никаких привидений, но зато была масса крыс, не особенно улыбалась мне.

— Ты только притворяешься храброй, на самом же деле ты большая трусиха и не только в башне, но даже около, в каплице, не проведешь одна и часа ночью! — ехидничал Казимир.

— А ты попробуй-ка сам, если считаешь себя таким страшным! Вот, в самой каплице, например. Там, говорят, под Рождество отпевают замученных в башне! Я-то и не хвастаюсь своей храбростью, а вот ты покажи свою! Пари держу...

— Пари держишь? Не держи, проиграешь!

— Господа, — обратилась я к собравшейся молодежи, всем соседям по имению, — будьте свидетелями: мой братец держит пари, что проведет ночь в каплице совершенно один!

— Во-первых, я и не думал еще держать пари, но, чтобы проучить тебя, хорошо, я согласен, но с тем условием только, что ты проведешь ту же ночь в башне.

— Отлично! Но ты должен быть в каплице и не смыкать глаз!

— Ага, боишься все-таки, хочешь сторожа иметь поблизости!

— Каплица достаточно далеко от башни, чтобы сторожить меня там. Нет, это просто, чтобы наказать тебя за язычок. Ты ведь ничего не боишься — так в чем же дело?

— Согласен, согласен! Впрочем, тебе бояться нечего — дом теперь полон народа, послезавтра еще съедутся, так что будь уверена, что все привидения испугаются и носа не покажут.

— За себя-то я не боюсь, а вот как ты в каплице выдержишь — там одна картина на стене чего стоит — это вопрос! А если пари, то только самое серьезное — ты должен будешь мне отдать свою «Головку» Греза, она мне очень нравится.

— «Головку» Греза?

— Боишься расстаться с нею?

— Ничего я не боюсь, потому что уверен, что ты струшишь.

— Посмотрим! Пари считается выигранным, если кто из нас действительно увидит что-то страшное и все-таки не сделает попытки бежать.

— А если я выиграю, что ты мне дашь?

— Что хочешь предлагаю à discrétion.

— А если страшного вы оба ничего не увидите, тогда кто выигрывает? — спросил кто-то, хотя страшное, собственно говоря, здесь ни при чем, важно только пробить там всю ночь.

Мы сидели в нашей излюбленной библиотеке после обеда и сумерничали, рассказывая разные случаи и описывая странные явления. Но молодежь большой скептик, а потому только смеялась и все вышучивала, то и дело слышались шутки, сопровождаемые взрывами смеха.

— Итак, пари, кузиночка, состоялось, но ты должна выполнить его накануне нашего бала, чтобы все знали, какая ты у нас храбрая! Предлагаю, господа, пойти в башню завтра утром на разведку, чтобы ей не так страшно было потом, а уж вечером, извини, мы проводим тебя только до лестницы и даже запрем, чтобы ты не вздумала надуть нас.

— Я-то не надую, а вот его, господа, советую действительно запереть в каплице. чтобы он не сбежал от великой храбрости.

Поднялся шум. Заспорили, обсуждая детали.



На другой день у нас стало еще оживленнее, — приехали новые гости, приглашенные на костюмированный бал, который устраивался в замке из года в год с незапамятных времен.

Разбирали, примеривали костюмы, но скрывали, кто в чем будет, чтобы удобнее было интриговать. Шуткам и смеху не было конца.

После завтрака мы, потребовав ключи у кастеляна, который не хотел их сначала давать, ворча, что мы «из всего только делаем забаву» и желая, «чтобы мы были наказаны за это», — отправились гурьбой по бесконечным коридорам к башне, в противоположный от жилых комнат конец здания.

Дверь не хотела отпираться — заржавел замок, заржавели петли, и только после долгих трудов и усилий — пришлось даже сходить за маслом и смазать петли — удалось открыть ее; на нас так и пахло гнилью.

Должна сознаться, что храбрость моя и неустрашимость как-то сразу куда-то испарились, но, желая и виду показать, что я уже жалею, я первая стала подниматься по каменным ступенькам. Звуки шагов раздавались гулко. С нами были электрические фонари, что оказалось очень кстати, так как на лестнице стояла непроглядная темень. Попались дне боковые двери: куда вели они и что таили за собой, страшно было даже подумать! Шутки и смех как-то сразу умолкли, и на самый верх мы взобрались в полном молчании.

Наверху, за незапертой дверью, оказалась небольшая круглая комната, высокая, но с очень маленькими узенькими окнами, которая, если бы не пыль, в изобилии покрывавшая все предметы, производила вполне жилое впечатление. Здесь стояла кровать, шкаф несколько странной формы, кресло — вообще была полная обстановка, и страшного в этой комнате решительно ничего не было.

Стали тщательно осматривать всю комнату: заглядывали под кровать, трогали все вещи, старались влезть и заглянуть в окна, куда еле проникал свет.

— Господа, а это что? — указал один из присутствующих на потолок. — Там что-то привязано, не то лестница, не то виселица какая-то! Вот оно где самое интересное-то! Ага!

— Какая там виселица, просто лестница! Вероятно, узники приставляли ее к окнам, чтобы иметь возможность взглянуть на небо.

— А я утверждаю, что это вовсе не лестница, а настоящая виселица! Господа, здесь совершались казни, здесь вешали.

Стали спорить, шутить, и незаметно прошло время, целых два часа.

Эта ночь, так же, как и ночь, проведенная Казимиром в каплице, вероятно, навсегда останутся у нас в памяти — никакое время не изгладит их. Я никому, даже ему, ввиду сложившихся обстоятельств, не сказала, что я видела, чему я была свидетельницей в башне; он же только мне одной рассказал, что ему явилось в ту жуткую ночь в каплице.

Как было условлено, меня проводили вечером до самой комнаты наверху и заперли. У меня запечатлелись в памяти скрип ржавого замка и удалявшиеся шаги и голоса остатальной компании, отправившейся запирать Казимира.

Я взяла с собой книгу, чтобы не заснуть, но сон, как нарочно, одолевал меня, и совершенно незаметно я задремала.

Какой-то шорох разбудил меня и, когда я открыла глаза, комната была залита ярким светом. Но это не была комната, не была башня, в которой я находилась, это была большая парадная зала. Она была полна народа — все мужские фигуры в черных сутанах и масках. Посреди стоял эшафот с виселицей, а около него красавица-девушка и юноша, удивительно похожие друг на друга. Только они да палач были без масок, и мне показалось, что я где-то видела отталкивающее, злое лицо палача... Знаменитый инквизитор-аббат?!

Первым подвели к виселице юношу. Девушка хотела броситься за ними, но ее удержали. Я тоже сделала попытку броситься, закричать, но язык не повиновался, ноги словно приросли, и не успела я опомниться, как труп несчастного уже болтался на перекладине. Девушка застонала, этот стон до сих пор стоит у меня в ушах, стала биться, но

ее моментально подхватили, и... второй труп закачался рядом!..

Тут я не выдержала, дико закричала и... проснулась.

Видение исчезло. В комнате было темно, только на столике у кресла, где я читала, слабо мерцала зажженная мной свеча.

Не знаю, как я выдержали остальную часть ночи, хотя спокойствие ее абсолютно ничем не нарушалось, и видений, если так можно назвать мой сон, больше не являлось. Что это было не видение, я была тогда убеждена — просто сон, явившийся следствием всех наших разговоров. Когда за мной пришли на другое утро, я уже успела оправиться и встретила компанию как ни в чем не бывало.

Меня поздравляли, называли героиней. Я отшучивалась.

Но меня поразил Казимир — он не шутил и не смеялся, как обычно, а был бледен и расстроен.

— Господа! — воскликнул кто-то из компании. — Посмотрите наверх! Вчера там была привязана виселица...

— Лестница! — поправили его.

— Нет, виселица! Можете теперь убедиться сами, что это виселица, а теперь вон она стоит, там в углу. Тут, кажется, в самом деле гуляет нечистая сила! Как она очутилась внизу?

Все вопросительно посмотрели на меня. Я, в свою очередь, взглянула, куда указывал говоривший, и обмлела: там действительно стояло прислоненным к стене, как раз у окошка, то, что вчера всем нам показалось лестницей. Это была форменная виселица, которую я видела сегодня ночью.

Это перемещение виселицы с потолка так ошеломило меня, что я, несмотря на всю свою находчивость, не нашлась, что ответить. И ничего не понимала, как, очевидно, и все остальные.

— Она и вчера стояла здесь, мы только не заметили! — пытался кто-то объяснить.

— Если здесь, то почему же сверху исчезла та лестница? — спросил уверявший, что это была виселица.

Ни у кого не нашлось объяснения.

Вечером в тот же день состоялся бал, на котором присутствовала масса народа. Были приезжие даже из Кракова. И полонез, которым он открылся в парадной зале, был исключительным по красоте и как нельзя более соответствовал старинной обстановке. Костюмированные были большей частью в дорогих национальных костюмах, под масками скрывалась самая древняя знать Польши. Казимир бродил грустный и не танцевал. Он был во фраке — почему-то не захотел надеть костюма маркиза, и я поэтому осталась без кавалера, — на мне был прелестный старинным костюм времен Людовика.

Перед самым ужином, когда все сняли маски и оркестр заиграл последнюю мазурку, мы стояли с ним в нише окна, почти скрытые тяжелой портьерой.

Танцевать еще никто не начинал. Вдруг с противоположного конца отделилась пара. Когда она пронеслась мимо нас, мы оба вскрикнули: в этой паре в старинных польских костюмах я узнала тех, кого вчера ночью я видела, — как мне тогда казалось, во сне, теперь же я убедилась, что это был не сон, а настоящее видение, — повешенными. Пара была очень красива и тоже удивительно походила друг на друга.

Я взглянула на Казимира — он был смертельно бледен.

— Кто это?

Он не отвечал.

— Я спрашиваю тебя: кто это?

— Добошинские.

Я поняла, в чем дело. Это были брат и сестра, богатые помещики, очень старинного рода и единственные его представители. Казимир считался женихом красивой польки и был безумно влюблен в нее. Я слышала уже от многих, что брат и сестра артистически танцуют свою родную мазурку и краковяк — потому-то никто и не решился танцевать, и вся зала замерла, любуясь исключительно интересной парой.

— Ты знаешь, Люцина, — схватил меня Казимир за руку, — я сегодня ночью в каплице видел, как их отпевали...

Я так и замерла — этого я уж никак не ожидала услы-

шать, но, видя, что с ним чуть не делается дурно, я взяла себя в руки и заставила самым обыкновенным тоном ответить:

— Какой вздор! Просто ты заснул, и тебе приснилось. Мы так много говорили за последнее время ерунды, что в этом ничего нет мудреного.

— А я боюсь, что это предзнаменование, что с ней случится какое-нибудь несчастье! Я не переживу этого! Если бы ты знала, как я люблю ее!

— Еще бы, Ванда такая хорошенькая! Вот видишь, а ты еще смеялся надо мной, я же отлично понимаю, что это вздор, и никаких привидений мне на башне не являлось. Оказывается, ты впечатлительнее меня. Пройдемся лучше, мне хочется поближе посмотреть на них. Ты, конечно, поведешь ее к ужину?

Я так и не сказала ему, что видела в башне, — такое совпадение еще больше убедило бы его, что нужно ждать несчастья.

Кончился бал, кончились Святки, и я поторопилась уехать из замка, который уже перестал мне казаться таким привлекательным. Перед моими глазами постоянно стоял эшафот, а на перекладине болтались два тела; я слышала звуки мазурки, под которые танцевали два трупа в дорогих старинных костюмах; я слышала похоронное пенье, и всюду мне чудились гробы...

Больше недели я выдержать не могла и, простившись со своими гостеприимными родственниками и дав себе слово никогда сюда больше не возвращаться, я уехала в Киев.

Разразилась война. Мы, киевляне, как близкие к театру военных действий, особенно остро переживали это событие. Да и судьбы Польши, на восстановление которой, как самостоятельного государства, у нас никогда не умирала надежда, и которой теперь угрожали немцы, немало беспокоили

нас. Что ждет ее? Какие еще испытания предстоит пережить ей? Какое будущее готовит ей судьба?

От родственников я получала письма самого тревожного свойства. Они собирались бросить свой дом в Варшаве и, забрав все ценное, переселиться в имение, где я гостила у них. Потом вдруг известия прекратились, что страшно встревожило меня, так как это было как раз в то время, когда Варшава была отдана и немцы стали ломиться дальше.

Наконец я получила от своих письмо, где описывалось, какие ужасы им пришлось пережить, как они еле успели бежать из имения, побросав решительно все, и что скоро они будут в Киеве, так как и Вильна, где они рассчитывали поселиться, тоже оставлена.

«Нужно спешить, чтобы лечить бедного Казю, который стал совершенно ненормальным, после того, что ему пришлось пережить: его невесту, Ванду Добошинскую, а также и ее брата (несчастные!) повесили у них в имении немцы, заподозрив в них шпионов и организаторов польских легионов, враждебных Германии».

Георгий Иванов

ГУБИТЕЛЬНЫЕ ПОКОЙНИКИ

Илл. И. Гранди



1

Косые лучи утреннего июльского солнца, проникая в окна столовой, играли на старинной мебели карельской березы и на свежевыкрашенном полу. «Пан маршалк» — то есть становой пристав, тучный и лысый, в синем офицерском, без погон, сюртуке — шагал по комнате, прихлебывая из стеклянной кружки золотистый мед. Вид у него был самый благодушный. Вдруг в открытые окна, откуда до сих пор доносились лишь шум листвы и птичье чириканье, полились дробные удары костельного колокола. Пристав остановился, побагровел и жирным, несколько охриплым голосом сердито закричал:

— Михайлов!

Тотчас послышался топот подкованных солдатских сапог, дверь отворилась и — руки по швам — застыл на пороге рослый молодой солдат с лихо закрученными усами:

— Чего изволите-с?

— «Чего изволите», «чего изволите» — попугай, эфиоп, рожа неумытая, — раскричался становой. — Не знаешь будто, чего изволю! Что они, с ума посходили — каждый день хоронят и хоронят. Так у меня в полгода весь уезд вымрет. А ты тоже хорош — мои приказания исполнил? На базаре был? Деревни объезжал? Небось, окажется у нас эпидемия какая-нибудь? Не с тебя, с пристава спрашивать будут, прис-

тав, скажут, недосмотрел. Ну что стоишь, глазами хлопаешь — по-русски спрашиваю — отвечай — узнал что?

Переведя взор с начальника на часы с кукушкой, висевшие на стене, и кашлянув, Семен заговорил:

— Так что, ваше благородие, были мы с Сидорчуком в Мишканцах, в Лебяканцах, Алотонке, — посыпал он названиями деревень и местечек, — совсем не видно, чтобы много народу умирало. Записано у меня, — он вытащил из-за голенища обрывок синей засаленной бумажки, — с весны в Еленишках умерли пастух Ясь, жена работника и трактирщика сын маленький, круп схватил. В Гавришках...

— Да убирайся ты со своими Гавришками, — прервал его пристав, залпом выпив полкружки доброго польского меда, — что мне толку в твоём пастухе. Есть эпидемия? Говори!

— Эпидемии по всем видимым причинам никак нет, — ответил урядник.

Пристав грузно сел в кресло, потом поднялся и тяжелым шагом прошелся к окну, что-то бормоча. Отогнувшаяся фалда сюртука обнажила желтый ремешок брюк и какую-то тесемочку, свисавшую из приставского кармана. Задумчиво он провел несколько раз пальцем по стеклу и вдруг, топнув ногой, так что фалда сразу приняла надлежащее положение, повернулся на каблуках.

— Как ты себе, братец, хочешь, — загрохотал бас «пана маршалка», — но должен я досконально знать, почему столь неумеренно мрут люди вверенного мне уезда. Я тебя в урядники вывел, я тебя и разжаловать могу — так смотри. — И, помолчав, добавил: — Ступай — завтра обо всем доложишь.

2

Дверь ксендзовского дома отворилась, и из нее выбежала миловидная девушка в крестьянском платье с раскрасневшимся лицом и слезами на глазах. За ней показалась

толстая ксендзовская экономка в руках с разбитым графином. «Ото шельма, ото паскуда!» — шепелявила она, брызгая слюнями. И видя, что девушку ей не догнать, она в сердцах запустила в нее разбитым графином и скрылась обратно в доме, хлопнув дверью.

Девушка же, плача, опустилась на садовую скамейку.

В это время в кабинете ксендза происходило какое-то совещание. В кресле спиной к окну сидел приехавший недавно гость — граф Яглонский. Сам ксендз шагал из угла в угол, изредка останавливаясь около письменного стола и читая вслух какие-то записки. Разговор шел вполголоса, шторы были предусмотрительно опущены, двери плотно закрыты. Совещавшиеся и не подозревали, что пара зорких глаз следит за ними из соседней комнаты и уши «москаля», да еще полицейского, внимательно ловят каждое их слово. Наконец граф встал и простился с ксендзом. Оба пошли к выходу. «Так, значит, есть что хоронить», — сказал с усмешкой Яглонский, поворачиваясь на пороге. «Як же, як же, — отвечал ксендз, — но скоро уже и воскресение помаленьку начнется». И оба засмеялись.

Как же попал ретивый урядник Михайлов в ксендзовскую кладовую и почему так внимательно прислушивался он к тихому разговору ксендза и его гостя?

А вот что произошло. Когда плачущая Марина очутилась лицом к лицу с Михайловым, шедшим к костельному органисту («Может, у него узнаю, от какой хвори люди мрут», — думал он), первым желанием Марины было убежать. Но тотчас иное решение мелькнуло в ее русой головке, и, быстро смахнув слезы, она улыбнулась уряднику. Тот, считавший себя большим сердцеедом, лихо закрутил усы и хотел было щипнуть благосклонную красавицу, но Марина наклонилась к нему и, быстро-быстро что-то шепча, потащила его в ксендзовский сад, оглядываясь и оживленно жестикулируя.

Злая на экономку, сестру пробоща, в сердцах запустившую в нее графином, который она, Марина, нечаянно разбила, девушка выболтала уряднику обо всех подозрительных вещах, заметить которые ей удалось за год службы в

ксендзовском доме. Михайлов узнал, что к ксендзу почти каждый день ездят разные «паны» и запираются с ним подолгу в кабинете. По ночам он часто уходит пешком куда-то и возвращается лишь под утро.

Марина божилась, что, заглянув однажды в скважину ксендзовского кабинета, она видела, как ксендз считал деньги, много денег, может быть, на миллион «злотых». В заключение она предложила Михайлову провести его с заднего хода в смежную с кабинетом каморку. Пусть сам посмотрит и увидит, что она не лжет.

Урядник колебался, верить ли словам обозленной девчонки (еще на историю нарвешься!), но любопытство взяло верх, и то, что услышал и увидел он, сидя в своей засаде, показалось ему подозрительным. Правда, никакого золота ксендз не считал и сабли («огромнейшей», описывала ее Марина) из комода не вытаскивал, но таинственность обстановки и многие фразы, долетавшие до его ушей, смущали урядника. Когда он тем же ходом выбрался обратно на двор, его лицо (насколько позволяла эта широкая «сияющая» физиономия) выражало крайнюю озабоченность. Наказав Марине никому не болтать, он быстрым шагом направился к становой квартире.

3

День кончился для Марины как обыкновенно. Подавала ужин, доила коров и, наконец, часу в двенадцатом улеглась на своем узком тюфяке в людской.

Заснула она сейчас же, но сны, посетившие ее, были не похожи на обычные. Казалось девушке, что идет она по сжатому полю. Больно босым ногам, и свет ослепительный жжет и мучит. И вдруг — темно, как осенней ночью, стоит она по грудь в воде. Плещут волны, все выше поднимаются, сейчас смоют Марину и захлебнется она в холодной зыбучей влаге. И сразу как-то не стало ни волн, ни шума — тихо, как на рассвете, полилось сияние синее — и увидела Мари-

на перед собой Богоматерь. Святая дева была, как на иконе, в синем плаще и белой одежде, в раскрытой груди пылало красное сердце, только глаза у нее были не спокойные, как рисуют, а скорбные и бездонные. Девушка упала ниц и слышала над собой голос — ласковый и печальный.

— Марина, Марина, что ты сделала, погубила ты «и себя и Польшу».

Тут затрубили трубы жалобные, жалобные, детские голоса запели реквием, и неведомая сила подняла с земли Мариону. Богоматери уже не было. В небе чернела виселица, и в висельнике узнала она покойного своего отца. Дико закричала девушка и проснулась. Розовая заря сияла в окошко — Марина проспала рассвет. Ксендз, уже чисто выбритый и надушенный, несмотря на ранний час, снисходительно согласился выслушать исповедь девушки. Неслышным шагом вошел он в исповедальню. Следом за ним вошла Марина.

Несколько минут спустя ксендз выбежал из костела с лицом искаженным и бледным. «Лошадей!» — только и мог сказать он и упал в кресло в изнеможении. Опомнившись, он сказал, что лошадей запрягать не нужно, велел затопить печку. Разбитой походкой прошел к себе в кабинет и стал бросать в огонь какие-то бумаги. Потом, словно обо всем позабыв, вышел без шляпы в сад, машинально поднял совсем зеленое упавшее яблоко и стал его жевать. Мало-помалу лицо его стало принимать выражение твердой решимости. Отшвырнув яблоко, он вышел на двор и крикнул кучера.

Как стрела летел нарочный от ксендза в имение графа Яглонского. Граф еще лежал в постели, когда ему подали большой пакет с церковной печатью. Через полчаса граф с зеленым изменившимся лицом и небрежно, против обыкновения, одетый мчался уже на своей четверке — в местечко.

В середине костела стоял большой черный гроб. Свечи сияли в большой люстре. Редкие прихожане следили по мо-

литвенникам за словами панихиды.

Граф Яглонский тоже глядел в сафьянный с золотым обрезом томик, сохраняя спокойный вид. Только жила, бившаяся у него на виске, выдавала его волнение. Замолк орган. Ксендз взошел на кафедру... Вдруг в костеле появились неожиданные посетители — пристав, урядник и солдаты.



Тогда пристав махнул рукой, и солдаты бросились снимать крышку. Несколько ударов саблями — и она отскочила. Покойника в гробу не было — он был весь до краев полон черной земистой массой.

— Порох! — крикнул пристав.

Все шарахнулись. Мгновение длилось молчание, лишь ксендз рыдал, уронив голову на амвон. Вдруг граф Яглонский захохотал дико и хрипло. В протянутой руке он держал пистолет и целился прямо в середину гроба. Солдаты и пристав бросились к нему — но тотчас грянул выстрел, на который ответил громовой рев взрыва.

Следственная комиссия, приехавшая делать расследование, открыла на кладбище целый арсенал ружей, сабель, пороха — все это в гробах переносилось и складывалось в одной из каплиц. Следствие длилось недолго: главные виновники — ксендз и граф Яглонский — погибли под сводами костела вместе с приставом, урядником и шестью солдатами.

Георгий Иванов

**ПАССАЖИР В ШИРОКОПОЛОЙ
ШЛЯПЕ**

Поездка по Волге укрепила мои расстроенные нервы. Все тревоги и неприятности прошлой зимы за эти три недели сразу позабылись и отошли как-то. И теперь, сидя на вокзале, в ожидании киевского поезда — я чувствовал себя бодрым, веселым и счастливым. Я ехал в имение тетки «Липовки», славившееся в уезде красотой местности, купаньем и чудными фруктами. Думать о предстоящей мне приятной и здоровой деревенской жизни, чувствовать себя опять здоровым, нераздражительным, со свежей головой — было так чудесно, что даже бесконечное ожидание на вокзале не казалось мне неприятным. Поезд, впрочем, опоздал не слишком — всего на четыре часа, — что по нынешним военным временам совсем немного. Был двенадцатый час ночи, когда я, сунув кондуктору полуторарублевою мзду, устроился один в маленьком двуспальном купе.

— Не извольте беспокоиться, сударь, — заявил кондуктор, — до самой «Криницы», — так звалась моя станция, — я не смеяюсь, и никто вас не потревожит.

Отобрав мой билет, он пожелал мне доброго сна и закрыл дверь. Я тотчас же защелкнул цепочку, развернул плед и улегся. Фривольный роман Вилли, купленный специально для дороги, показался скучным и неинтересным. Я перелистал желтый томик и отложил его. Все эти пикантные похождения несколько не занимали ума — слишком еще был полон Волгой, желтыми отмелями, курганами, синими очертаниями лесов вдаль, — всем очарованием родного, русского простора. Я потушил верхний свет. Тусклая лиловая лампочка мягко вспыхнула взамен погасшего фонаря. Мерно и успокоительно стучали колеса. Усталый за день, — думаю, через десять минут я уже крепко спал...

...Проснулся я сразу. Помню, ощущение было такое, точно я не спал вовсе. Тускло мерцала лиловая лампочка. Я приподнялся и увидел, что в ногах у меня, в самом углу, сидит человек.

Тень от широкополой шляпы закрывала его лицо, так что в сумерки его вовсе нельзя было разглядеть. Широкими линиями падала с плеч крылатка, — только сухие, крючковатые руки, протянутые на коленях, белели на черном сук-

не. Он сидел молча, не шевелясь, казалось, не глядя на меня, будто дремал.

«Проклятый кондуктор, — мысленно выбранился я. — Пустил-таки, — взял мзду, а пустил. Но как же он, этот пассажир, вошел сюда и уселся, не разбудив меня? Я ведь сплю очень чутко!..»

Но что это? Мой взгляд упал на дверную цепочку. Она висела нетронутая, застегнутая мной. Ведь снаружи ее открыть нельзя было иначе, как распилив... Как же вошел сюда этот...

Я не трус, но вдруг почувствовал, как холодная дрожь страха электрическим током пробежала по моему телу. И вдруг незнакомец, словно угадав это, тихо повернул голову. Лиловый отблеск упал на его лицо. Он глядел прямо на меня странными, зеленовато-желтыми, невидящими глазами, медленно-медленно наклоняясь ко мне. Тихо приподнялись его руки, скрючились пальцы. Я сразу оцепенел как-то. Хотел крикнуть и не мог двинуться — и оставался неподвижным. Я только глядел на это, все приближающееся, искаженное странной усмешкой лицо...

И вдруг раздался свист паровоза.

Этот глухой свист словно прогнал волшебство. Я вскопчил, я закричал изо всей силы, забился, отчаянно стараясь освободиться от цепких сухих пальцев, полуобхвативших мне горло... И я — проснулся.

Никого не было, лампочка тускло мерцала, поезд грохотал. Я зажег верхний свет и провел рукой по лбу. Он был влажен от холодного пота. Итак, это был только кошмар. Нелепый кошмар, странный теперь, когда поездка по Волге укрепила мои нервы. Поездка по Волге! Как далека она была теперь... Мои пальцы дрожали, когда я закуривал папиросу.

Электричество ярко светило. Успокоительно глядели ремни моего портплекда, но гнет дурного сна все еще тяготел надо мною. Одиночество было невыносимо.

Я встал, накинул пальто и вышел в коридорчик вагона.

Я думал, что встречу только разве кондуктора или какого-нибудь заспанного одинокого пассажира и очень дивил-

ся, увидев целую толпу у дверей смежного с моим купе. Все стояли тихо, шепотом переговаривались. Человек в железнодорожной форме возился у дверного замка.

Я спросил, что это значит.

— Разве вы не слышали душераздирающего крика? Он был из этого купе, — ответил пожилой пассажир, к которому я обратился с вопросом.

Ясно было: их испугал мой крик.

— Господа, — начал я, улыбаясь, — во всей этой тревоге виноват я...

Но тут — дверь поддалась, и все, не слушая моих слов, хлынули в купе. Зажгли свет. Забившись в угол дивана, с выражением безумного ужаса на лице — откинув голову, сидела женщина. Она была мертва. Следы пальцев ясно сидели на ее шее. На полу лежала широкополая, черная мужская шляпа. Поезд на первой же станции обыскали — но пассажира в черной крылатке, с худыми страшными пальцами, совершившими это — не было среди встревоженных, сонных, разбуженных среди ночи людей.

Георгий Иванов

КВАРТИРА № 6

Петроградский рассказ

Неожиданные обстоятельства заставили меня покинуть родную усадьбу и поселиться в Петрограде. До сих пор я бывал в северной столице лишь наездами и всегда спешил поскорее покинуть этот сырой, неприветливый город. И теперь, трясясь в извозничьей пролетке с вокзала на 17-ю линию Васильевского острова, вечером под мелким осенним дождем, я чувствовал себя не особенно важно. Подумать только, что теперь на Волге вечера янтарные, ясные, с легким холодком. Деревья в золоте, вода как студеное стекло, и в ней отражаются ветки, обвешанные румяными яблоками, желтыми грушами и черными сливами. А какой воздух!..

Но дела мои были важными, и что же мечтать о невозможном. Мне предстояло прожить в Петрограде по крайней мере до января. Чтобы прогнать грустные свои мысли, я стал раздумывать: как-то я устроюсь на незнакомой квартире, нанятой мне приятелем? Он писал мне, что теперь в Петрограде найти что-нибудь сносное очень трудно. «Впрочем, тебе повезло, — кончал он письмо, — твоя квартира, правда, довольно далека от центра, но комнаты теплые, хорошие, в окна отличный вид и до трамвая совсем близко»...

Сонный дворник, узнав, что я и есть господин Скворцов, взял мои чемоданы, нашарил в карманах ключ и повел меня наверх. Тусклые электрические плашки слабо озарили старую, сводчатую лестницу, шаги наши гулко раздавались по старинным каменным ступеням. Мой шестой номер оказался на третьем этаже.

Дав на чай дворнику, я попросил его послать мне какую-нибудь женщину, чтобы поставить самовар и помочь обратиться. Он ушел. Я зажег электричество и осмотрелся.

Квартира была меблированная от хозяина. Видно было, что мой приятель ограничился тем, что нашел ее и провел электричество по моей просьбе. Но от убранных старомодной мебелью комнат, нетопленных печек, голых окон и сомнительной чистоты полов веяло нежилым. И меня охватило острое чувство бесприютности.

В одной из четырех комнат стояла широкая деревянная кровать, мягкий кожаный диван. Она показалась мне самой уютной. Скоро дворничиха принесла самовар, в камине затрещали дрова, постель приняла вид более привлекательный и, усталый после ночи, проведенной в вагоне, вскоре я заснул безмятежно сладко в новом своем жилище.

3

Отдохнув, я проснулся в настроении гораздо более бодром, и все кругом показалось мне милее. День был на удачу ясный, и бледное петроградское солнце широко падало на пол моей спальни. Я подошел к окну. Вид на Неву, на барки, пароходы и набережную действительно был чудесный. Я невольно им залюбовался. Осмотрев свою квартиру еще раз, я увидел, что, если все переставить, она окажется совсем приятной. Комнаты были все квадратные, просторные и светлые. Старинная мебель, в конце концов, была приятнее шаблонного модерна, который теперь в ходу. Нет, совсем не так плохо, как показалось, а что далеко, так дела мои такого рода, что часто ездить в город мне и не придется.

* * *

Прошла неделя. Я совсем устроился, только никак не мог найти себе подходящей прислуги; дал объявление в газетах, но приходившие ко мне расфранченные и с претен-

зиями девицы на мой провинциальный вкус все не подходили. Я собирался обратиться в рекомендательную контору, когда однажды утром дворничиха, покуда что служившая мне, спросила:

— Все еще не сыскали служанки, барин?

— Нет, не сыскал, а что?

Она подумала минутку и сказала:

— А вы бы взяли Дашу.

История Даши оказалась несложной. Оставленная кем-то из жильцов сирота, она жила при доме.

— У нас комнаты от хозяина сдавались, Даша прислуга была. Теперь комнаты доктору пошли, и она без работы. А девушка она честная, работающая.

И, действительно, Даша после всей являвшейся ко мне прислуги понравилась мне. Согласилась она служить у меня не сразу. Просила дать ей подумать. На другой день пришла и говорит, что согласна.

— Ну и отлично, — отвечаю, — работы у меня немного, готовить сумеете как-нибудь.

— Да я, барин, работы не боюсь и к кухне привычна, только вот насчет помещения...

— Что такое насчет помещения?

Она подняла на меня глаза (до той поры все опущенными держала) и говорит:

— Как вам угодно, барин, согласна у вас служить и жалованье положите, только позвольте мне в кухне спать.

— Зачем же в кухне, когда комната все равно стоит пустая? Спите там...

А она смотрит на меня, да так долго и грустно и твердит свое:

— Дозвольте спать в кухне.

Уж не думает ли она, что я ей какую-нибудь неподходящую роль готовлю? Эта мысль меня рассмешила и рассердила немного. Что за чрезмерная скромность! Ну да Бог с ней, пусть спит, где знает. Так и сказал.

Вечером в тот же день Даша перебралась со своим скромным скарбом ко мне на третий этаж.

Прошла еще неделя. Помню, что впервые я заметил *это* во вторник 16-го.

Я сидел в столовой за вечерней газетой, самовар давно остыл. Даша ушла спать. Прихлебывая чай, читая, я и не заметил, как пробило двенадцать...

И вдруг я услышал...

Нет, услышал — не то выражение, оно слишком односторонне и определено. Вдруг я почувствовал неизъяснимое волнение. Зрение, слух, все чувства одинаково напряглись, встревоженные неизвестно чем. Казалось, получше вслушаться, всмотреться, и я увижу, услышу...

Но что?

Мертвая тишина стояла в квартире, и только стук часов вторил учащенным ударам моего сердца.

Усилием воли я прогнал свой беспричинный страх. «Нервы распались — лягу спать, и все пройдет». Так я и сделал. Ни в среду, ни в четверг ничего подобного не повторялось, и я совсем забыл о своем мимолетном и беспричинном страхе.

В пятницу я ездил в город по делам, весь день не был дома; обедал в ресторане и вернулся крайне усталый. Почти сейчас же я разделся и лег в постель. На ночь я всегда завожу часы, отчетливо помню, что стрелка показывала половину двенадцатого.

Я видел странные сны. Мне казалось, что я блуждаю по каким-то малознакомым улицам Петрограда. Ночь. Газовые фонари задуваются холодным ветром. Редкие прохожие мелькают, как тени ночных птиц. Я куда-то тороплюсь, но куда? Ах, все равно, только бы не опоздать!..

Что это плещет о камни? Это Нева! Я спускаюсь по гранитным ступеням и сажусь в лодку. Пена брызжет мне в лицо, волны плещут тяжело и глухо. Сейчас лодку зальет — ветер с моря, и Нева вздувается. Ах, все равно, только бы не опоздать.

И вдруг я стою у порога своего дома. Подымаюсь по лестнице, двери моей квартиры открыты настежь.

Я смотрю на часы, как мало времени осталось. Даша, где же Даша?..

И выходит Даша.

Она в белом платье и с длинной фатой. Я подхожу к ней и беру за руку. Тотчас же воздух наполняется тихой музыкой. «Скорей, скорей, — говорит мне Даша. — Моя мать должна благословить нас».

Мы проходим ряд ярко освещенных комнат и опускаемся на колени перед худой, высокой женщиной. Это мать Даши. Она улыбается нам ласково и грустно, подымает над нами образ... и вдруг вихрь врывается в окно, образ падает на пол, и я вижу, что мать Даши лежит, откинувшись на диване, и на шее у нее страшная, черная, узкая рана...

Я проснулся. Какой отвратительный, кошмарный сон! Как хорошо, что он кончился, что я лежу спокойно в теплой постели, у себя дома, в квартире № 6...

№ 6... Я представил себе эту цифру так отчетливо и ясно, точно действительно видел ее перед собой. Это была большая шестерка светло-серого цвета. Я глядел на нее, и она стала двоиться, четвериться, я пробовал зажмуриться, но это не помогало. Пол, потолок и стулья были покрыты шестерками, ненавистные цифры носились в воздухе, описывали дуги, свивались и развивались, точно ядовитая гадина. Они душили меня, лезли мне в глаза, в рот... Отбиваясь от них, я закричал...

Наконец-то я проснулся на самом деле. Все кругом было тихо, тихо. Я зажег свечу, налил себе воды и выпил.

Часы слабо стучали.

Но что это?.. Сердце мое вдруг часто забилося, нервы напряглись, странное ощущение, уже испытанное мною два дня назад, вновь мною овладело. Но тогда я только вслушивался в мучительную тишину... Теперь я услышал.

Легкий шорох несся из-за стены, скрип половицы, шуршанье туфель, слабое покашливание. И вдруг странный холл распространился по комнате... Не смея крикнуть, дви-

нуться, позвать на помощь, прижавшись к изголовью кровати, я видел, что по коридору медленно движется какой-то старик. В руке он держал слабо мерцавшую свечу, другой придерживал полу халата. На шее у него чернела та же узкая, страшная, запекшаяся рана. Он направился к кухне, вскоре я услышал отчаянный долгий крик, какая-то дверь тяжело хлопнула... Больше я ничего не помню.

5

Утром с меня сняли показания относительно Даши, исчезнувшей неизвестно куда. Городовой видел в ту ночь на набережной бегущую девушку, хотел ее задержать, но она вырвалась у него из рук. По описанным приметам и по оброненному ею платку, несомненно, это была Даша.

Я рассказал о страшных кошмарах этой ночи, меня выслушали, скептически улыбаясь, пожали плечами и ушли.

Голова у меня тупо болела, я сам не знал, что думать о всем происшедшем, когда мне доложили о приходе управляющего домом. Это был почтенный старик с тихим голосом, с мягкими движениями и грустным взглядом. Он извинился передо мной за беспокойство и, помолчав немного, словно собираясь с мыслями, начал:

— Я очень перед вами виноват, сударь, что послушался нашего домовладельца и не предупредил вас о нехорошей славе нанятой вами квартиры. После случая, происшедшего в ней, о котором я вам расскажу, уже семь лет, как в ней никто не жил, то есть пробовали жить, но выходило так беспокойно, что все жильцы вскоре съезжали. Тогда ее обратили в домовую контору. Но теперь, сами знаете, квартир мало, платят за них хорошо. Вот наш хозяин и решил сдать № 6. Просил я его не брать греха на душу, не слушает. Оно, говорит, если и было, так за шесть лет выветрилось. А тут подвернулся ваш приятель; мебелировали ее кое-как, да и по рукам. Только, как я предсказывал, нехорошо и вышло.

А случай здесь вот какой произошел.

Лет пятнадцать тому назад снял шестой номер приезжий из Сибири старик Глухарев. Это был высокий коренастый старик с острым взглядом и тяжелой поступью. Поселился он с маленькой внучкой, жил бедно и скупой, перебиваясь с хлеба на воду, однако говорили, что он — бывший золотопромышленник, богач, вряд ли не миллионер.

Однажды зимой, в январе, будит меня утром прислуга.
— Барин, — говорит, — вас полиция требует.

«Что за шут, — думаю, — какое ко мне у полиции дело?» Хотя и не помнил за собою ничего, однако струхнул порядком. Выхожу с виду спокойно, про себя акафист своему мученику читаю. Вижу, дом оцеплен, подходит ко мне пристав.

— У вас проживает омский мещанин Глухарев?
— У нас, — говорю, — десять лет уже проживает.
— Ведите нас к нему.

И что же бы вы думали?! Оказывается, пришли старика арестовывать. Как-то там открылось, что он в Сибири целую семью вырезал, только одну младшую девочку пощадил, и внучка его не родная ему совсем, а тех родителей дочка.

Ну, звонили, стучали, никто не открывает. Высадили дверь. Думали, он спит. Глухарев сидит в кресле напротив входа, смеется, «добро пожаловать, говорит, дорогие гости». Полицейские было к нему, а он только рукой повел: «не смей», мол, да так повелительно, что те и остановились. А он прямо на меня уставился да как закричит:

— Ты, доносчик, знай, что даром тебе это не пройдет. Думаешь, навел холопов и силен? Короток, любезный, у тебя ум, не выселишь меня, покуда сам в гроб не ляжешь!.. Проклято это место, проклято, проклято трижды.

И так он это страшно выкликнул, что до сих пор холодно становится, как вспомнишь.

А потом что было?

Пристав первым опомнился.

— Делай, ребята, обыск, что слушать старого попугая.

Солдаты затопали, стали выворачивать комоды... А старик все кричит, ругается и вдруг перестал выкликать, за-

хрипел, заклокотал как-то. Бросились мы к нему, а у него в руках бритва, горло перерезано, и халат бухарский зеленый весь залит кровью.

Поверите ли, неделю целую после того не спал.

Что ж еще, — Глухарева похоронили, имущество его в казну пошло. Дашу-сиротку я у себя оставил. Когда подросла, стала при доме служить.

И странно, знаете, после смерти старика (ведь все у девочки на глазах произошло) словно у нее память отнялась. О прошлой своей жизни помнила самые пустяки, о деде (какой, впрочем, он был ей дед) никогда и не вспоминала. И так, думаю, что Бог ей милость свою послал, отнявши память.

Да, не надо было ей поступать к вам в услужение. Старый безбожник, видно, ей и явился ночью.

* * *

Несколько дней спустя, уже перебравшись на новую, приисканную мне стариком-управляющим квартиру, я прочел, что в вытащенной из Невы утопленнице опознана Даша.

Георгий Иванов

АЛИЗЭР

Шотландская легенда

Над дубовой рощей кричали вороны, солнце садилось в море и туманы плыли на запад. На вершине холма стоял Стюарт, ломая руки.

— Горе мне, горе! — восклицал он. — Вот лежит Камерон, убитый мною в нечаянной ссоре, горе, — ждет меня кровавая месть! Горе, я вижу мстителей, они стерегут меня у парома, выслеживают в лесу, точат сабли и взводят курки. Зачем, зачем убил я товарища в нечаянной ссоре, зачем гнев мой вспыхнул внезапно, как порох, помутился разум и рука занесла нож? Как мне жить теперь и куда скрыться?

Так восклицал Стюарт и ломал руки и отчаивался, но недаром был он из рода Стюартов-хитрецов. Он поглядел на заходящее солнце, вдохнул в грудь морского ветра, и лицо его прояснилось. Вытер Стюарт о платье убитого свой нож, сел на коня и поскакал на север.

Через вересковые мчался он поля, через пастбища, холмы и засеянные пашни. Трижды переплывал он реки, мыло летело с его лошади, как зимою снег с дерева. Давно погас закат, и луна, точно охотничий янтарный рог, сияла в небе, когда бросил Стюарт поводья у дома, где жил брат убитого им Камерона.

— Здравствуй, товарищ, — встретил его Камерон, протягивая руку.

Но тот не принял руки и упал на землю, восклицая:

— Горе мне, горе, я стал убийцей! — И взмолился Стюарт: — Защити меня, Камерон. Ты мудр и смел и всегда побеждал на поединках. Защити меня, Камерон, убил я в ссоре друга и боюсь мести.

Тогда встал благородный Камерон и поднял убийцу своего брата.

— Клянусь честью Камеронов, клянусь тарменной* и зеленым дубом, спи спокойно, буду тебя защищать, кого бы ты ни убил!

* Военная одежда шотландцев (Прим. авт.).

Поблагодарил его Стюарт, выпил с ним вина, переменял свою изнуренную лошадь на свежую и поехал домой веселый, напевая воинственную песню.

Белые звезды, как большие ромашки, смотрели в окно, сова кричала и давно уже пробило полночь, а Камерон лежал на постели, кутаясь в плед, и не мог заснуть. И вдруг — дохнул холод, синее сияние наполнило комнату, и явился пред ним призрак убитого брата.

— Моя кровь сохнет на вереске, — сказал мертвец, — ворон кружится над моим трупом, а убийца спит спокойно: он приехал домой на твоей лошади, охраняет его твой меч.

— Брат! — воскликнул Камерон, ужаснувшись, — поистине страшной смерти известие, тобой принесенное, но я бессилен, мои руки связаны клятвой. Я не могу отомстить за тебя.

— Но что, что же скажу я отцу и матери, всем предкам и нашему родоначальнику, что я им скажу, когда спросят, хорошо ли отомстил за меня брат?

— Я клялся, — отвечал Камерон.

— Моя кровь на вереске и лиса воеет у моего трупа. Брат, моя душа, как слепая, блуждает в поднебесье, ей не найти входа на небо, пока не свершилась кровавая месть. Вспомни о долге, вспомни о негодовании предков. Встань, оседлай коня, найди Стюарта, поверни нож в его горле.

И третий раз отвечал Камерон:

— Я клялся и не могу мстить.

Запел петух. Грозь, призрак скрылся, и звезды стали бледнеть. С пересохшим ртом и горящим взглядом лежал Камерон, потрясенный, пока не засияла розовая заря.

Три ночи являлся мертвец, призывая брата нарушить клятву, и трижды услышал он «нет» из уст Камерона.

— Я уйду, — сказал призрак, — и не вернусь больше. Мы встретимся еще в стране Отчаяния. Она холодна, и ужасен к ней путь, — вот куда гонит меня твое малодушие. Но знай — не легко проклятие мертвеца. Запомни слово — Ализэр, с сегодняшней ночи это — твоя судьба.

Невеселый ходил Камерон по дому, на пиру его губы шептали таинственное имя, на охоте оно жужжало в его ушах и во сне мучило его. Камерон спрашивал друзей, — никто не знал, что оно значит. Ни горцы с открытыми лицами, ни угрюмые рыбаки, ни бродячие цыгане не могли объяснить, что значит Ализэр. Стал Камерон читать книги новые и старинные, разбирал письма древних рун — все было напрасно.

Между тем, король затеял войну. Глашатаи поскакали по всем концам страны, трубя и сзывая добровольцев. Палатки забелели на берегах рек, затрещали в поле костры, и юноши в военной одежде стекались со всех сторон под шотландские знамена. И подумал Камерон:

«Днем меня мучает проклятое слово, ночью не дает оно мне покоя. Стал я узником в отцовском доме, плохим товарищем на пирах. Пойду я, поступлю в солдаты. На войне много опасностей, всякую муку на войне легче забыть».

Надел Камерон тартену, вычистил отцовский меч и пристал к отряду горцев.

Пожаром прошли шотландцы, топтали рейнские виноградники, разрушали крепости на юге и жгли венгерские города.

Когда вражеские солдаты попадались в плен Камерону и молили о пощаде — Камерон говорил:

— Объясни мне, что значит Ализэр, и я тебя отпущу.

Но никто не мог объяснить.

Все дальше шли шотландцы и вступили наконец в дикую лесную страну. Был вечер, и солдаты расположились лагерем на горе. Кругом дымилась болота, бурная река бежала внизу.

И сказал полковник:

— Пусть кто-нибудь спустится вниз, смерит, глубока ли вода.

Камерон вызвался исполнить это поручение. В сопровождении туземца, указывавшего дорогу, стал он осторожно схо-

дить к реке.

«Да, — думал Камерон, — кажется, я — не трус, недаром заслужил свою кокарду за храбрость, но это — жуткая страна. Второй месяц мы идем в лесу, и все только болота да опасные переправы. Отравленные стрелы вылетают из-за деревьев, а туземцы молчаливы и хитры».

Так размышляя, шел Камерон и вдруг увидел человека в тартене, стоящего на другом берегу.

— Эй, товарищ! — крикнул он, удивленный.

Медленно обернулся тот и увидел Камерон, что это — его двойник.

— Теперь я знаю свою судьбу! — воскликнул Камерон. — Ты, краснолицый туземец, с перьями у пояса и бритой головой, скажи, как зовется это глухое и страшное место, где мне суждено погибнуть?

— Ализэр, — ответил туземец, — что значит возмездие на языке предков.

И утром в жарком сражении погиб лихой Камерон, как сам себе предсказал накануне. Его кости лежат в чужой земле, далеко от отцовского дома, далеко от вересковых полей и зеленых лесов Шотландии.

Боже, помилуй его душу!

Георгий Иванов

**ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПО ДОРОГЕ
В БОМБЕЙ**

Илл. С. Лодыгина



Глава первая



в двадцать третьего апреля утром я, Уильям Поксон, проснулся с тем особенным сладостным ощущением, какое обычно наполняет душу перед близким осуществлением заветных наших желаний. Давнишней моей мечтой было отправиться путешествовать и неожиданно счастливый случай, — быстрое повышение акций, разоривших моего отца, — которые, имея в большом количестве, я думал было употребить на домашние надобности, — помогло осуществить эти мечтания. Долги — уплачены; в новых чемоданах лежит все необходимое для дороги, и в моем бумажнике, кроме значительной суммы золотом и переводами, находится пароходный билет до Бомбея. «Слава Англии» отплывает сегодня в третьем часу дня и уже завтра я буду далеко от этой точки на земной коре, именуемой Арчером, где я родился и где глупая судьба думала заставить меня провести целую жизнь.

«Слава Англии» оказалась столь же комфортабельной внутри, сколько уродливой снаружи. Мы отплыли при солнечной великолепной погоде. Почти все пассажиры покинули каюты и любовались прекрасным морем, берега которого все шире расходились перед нами. На палубе было весело и шумно.

Во время завтрака, за табльдотом я познакомился с сыном лондонского фабриканта — Дорианом Хельдом. Он оказался страстным любителем путешествий, не более опытным, чем я, и вскоре мы сидели в его каюте, поверяя друг другу свои, часто фантастические, но казавшиеся нам вполне выполнимыми планы.

Наше путешествие день за днем тянулось так благополучно, что стало даже надоедать своей однообразностью мне, жаждавшему приключений и моему новому другу, прирожденному холерику, не выносившему топтания на одном месте, как он сам выражался. Впрочем, эти слова были несправедливы по отношению к «Славе Англии», которая все время ревностно и неутомимо делила волны.

Капитан Смитфельд, очень милый господин, лет под пятьдесят, с рыжими баками и вставными зубами, очень еще бравый и бодрый, говорил, что редко приходится плавать при столь благоприятных условиях и что, если погода не изменится, то мы приедем в Бомбей значительно раньше обычного.

Однажды ночью я проснулся от глухого и продолжительного треска, раздавшегося, как мне казалось, прямо над моей головой. Я прислушался. Сверху доносились смутные голоса и непонятный шум. Странно, но в тот момент у меня даже не мелькнула мысль возможной катастрофе. Однако я поспешно взялся за платье, но не успел еще надеть и исподнего, как ко мне вбежал Дориан с видом бледным, испуганным и в то же время восторженным.

— Мы тонем! — кричал он.

Пока я поспешно одевался, он сообщил мне следующее.



— Огромный метеорит около двадцати футов в поперечнике пронизал кормовую часть парохода, воспламеняя все на своем пути и неся гибель многим, в том числе и достойному нашему капитану. Пламя затушить удалось, но трещину заделать было невозможно. Помощь, вызванная по телеграфу, придет не ранее, как через три-четыре часа, так что придется покинуть корабль до ее прибытия. Впрочем, лодок достаточно, но поспешим, — заключил он свою речь, таща меня на палубу.

Я не стану рассказывать о панике, там происходившей, не буду живописать недостойные сцены, свидетелем которых пришлось мне быть. Мы с Дорианом, растолкав толпу, успешно пробрались к лодкам и поместились в одной из них. Вскоре она, заполненная пассажирами, отчалила, дабы не попасть в водоворот, обычно образующийся от погружения судна в воду.

Небо было затянуто темными облаками и почти не посылало света, но все же я мог различить черный силуэт ко-

рабля с поднятой кормой и наклоненными вперед мачтами.

Около получаса наши лодки держались в виду друг друга, терпеливо поджидая обещанную помощь, как вдруг резкий северо-западный ветер заставил нас взяться за весла. Налетел шквал, заходили волны, смутно белея во мраке своими гребнями. Рука Дориана сжимала мою; я понимал, что втайне он рад катастрофе, перевернувшей нашу спокойную жизнь и бросившей нас нагими в мир опасный, неизведанный и необычайный. Сердце мое учащенно стучало, щеки горели.

Вскоре наша лодка отбилась от прочих. Мгла и шум разбушевавшегося моря нас окружали. Изредка вспыхивала молния, освещая окрестность неверным блеском. Вдруг зыбучая влага облила меня всего и, не успев я что-нибудь подумать, как был оглушен ударом борта перевернувшейся лодки.

Глава вторая

Раскрыв глаза, я долго не мог понять, где нахожусь. Я лежал на широком кожаном диване, раздетый и укутанный одеялами, лицом к двери, затянутой голубым шелком.

В комнате был сумрак, подобный лунному, однако я мог различить, что она велика, обставлена по-старинному и очень богато.

Осмотревшись, и не чувствуя силы подняться, я закрыл глаза и предался смутным размышлениям. Очевидно, я опять заснул, так как, открыв глаза вторично, — увидел старика важной наружности в розовом бархатном халате, склонившегося надо мной. Мягким, приятным голосом старик спросил меня по-английски, как я себя чувствую и не хочу ли есть, на что я отвечал, что действительно хотел бы подкрепиться, а чувствую себя не слишком дурно. Тотчас старик позвонил и лакей высокого роста, как мне показалось, негр, внес разнообразные кушанья и вина.

Когда я насытился и отодвинул тарелки, старик, доселе молчаливый, произнес:

— Незнакомец, чувствуете ли вы достаточно сил, чтобы рассказать, кто вы и как попали на остров, где вот уже сорок лет я живу в полном одиночестве?

Я изумился и попросил его объяснить последние слова, но он отвечал:

— Погодите, узнав, кто вы, — я, быть может, сообщу вам это подробнее.

Я стал рассказывать все то, что уже известно читателю. Старик же слушал, задумчиво покачивая головой и, казалось, о чем-то размышляя, но, услышав имя капитана Смитфельда, вздрогнул и спросил, не рыжий ли капитан и не имеет ли родимого пятна на правой части носа.

Я ответил, что это действительно так. По-видимому, мое сообщение произвело тягостное впечатление на старика. Он знаком попросил меня прервать рассказ, достал флакон с солью и принялся нюхать, тяжело дыша. Я молчал, недоумевая. Наконец он спросил глухим и дрожащим голосом:

— Что же случилось с капитаном, он спасся?

— Нет, — отвечал я, — он погиб в пламени!

Лишь только я произнес эти слова, старик вскочил со стула, швырнул прочь флакон с солью и упал на колени, повторяя:

— Боже, благодарю тебя, благодарю, Боже! — Потом он обнял меня.

— Юноша, — воскликнул он, — ты желал узнать мою историю, слушай же. Я должен тебе ее поведать, ибо само Провидение избрало тебя, дабы возвестить мне свою милость.

Глава третья

Рассказ старика

Мне было тридцать лет от роду и состояние мое исчислялось в столько же миллионов, когда я познакомился в

одном из курортов с блестящим и, по-видимому, богатым молодым человеком, Винцерсом. Не знаю почему, но это знакомство не было мною забыто на другой день, как множество ему подобных. Наоборот, оно укрепилось и вскоре перешло в довольно тесную дружбу. Винцерс был французом, наружность его была приятна.

Он был несколько эксцентричен, но превосходно воспитан и широко образован.

Вначале нас сблизила любовь к спорту. Приезд сестры Винцерса связал нас еще теснее, ибо я с первого взгляда почувствовал любовь к этой девушке, прелестнее которой я не встречал. О, если бы я знал, к какому несчастному результату приведет эта любовь, я бы, не задумываясь, покончил с собой. Но увы, ослепленный благосклонностью ко мне Эльзы, я не мог и предполагать о невидимых орудиях рока, жерла которых уже были на нас направлены и грозили бедами. Но, милый гость, не обращай внимания на слезы, выступившие на моих ресницах под тяжестью воспоминания, и слушай дальше.

В конце сезона я собрался в Лондон, и Винцерс с сестрой, которая уже была объявлена моей невестой, отправились со мной вместе. У Винцерса были дела в Лондоне, и он думал провести в этом городе всю зиму. Последнее время я стал считать его своим родственником, ибо свадьба моя с Эльзой должна была состояться тотчас по приезде в столицу.

Неожиданные обстоятельства помешали нашим планам: смерть моей тетки, небезызвестной леди Уиндермир, заставила меня носить траур и отложить вследствие него на три месяца нашу свадьбу.

Мы с Эльзой были опечалены этим, но избыток сердечной нежности мешал нам скучать, и мы проводили время немногим хуже, чем новобрачные.

Однажды вечером Винцерс, войдя в мой кабинет, плотно притворил двери и сказал, что имеет мне сказать нечто очень важное, если я дам клятву сохранить тайну. Я согласился. Тогда Винцерс сообщил мне следующее:

— Ты уже знаешь, — сказал он, — четверых моих друзей — Эльтона, Уитлера, Пагарески и Смитфельда. Все они люди со средствами, но состояния их разорены так же, как и мое, и вот мы основали общество, цель которого обогащение. В настоящее время мы стоим перед актом величайшей важности, который должен принести нам колоссальные богатства, но для осуществления нужно около двенадцати миллионов, между тем как мы не имеем и половины этой суммы. И вот решено было обратиться к тебе за помощью.

Понятно, я потребовал объяснений, и Винцерс, сначала колебавшийся, согласился дать мне их, заставив меня повторить клятву.

План общества состоял в следующем. Всем памятна кровавые события, названные Борьбой Миров. Я читал книгу Уэльса, — он очень точно описывает события, но в одном он ошибается, как ошибается и весь мир. Не марсиане, а мы произвели эту страшную катастрофу. Смитфельд, тогда молодой инженер, изобрел особое ядро, приспособленное для продолжительной жизни в нем. Такие ядра были разбросаны посредством электрической пушки, скрытой в Шотландских горах, по различным провинциям Англии. Аппарат для концентрации теплового луча, тоже системы Смитфельда, служил нам надежным оружием. Мы не выходили из ядер, — опустошения производились манекенами фантастического вида, управляемыми электричеством. Я не стану описывать все эти мерзкие приборы, — рисунки и чертежи их ты найдешь в рукописи, которую я тебе впоследствии покажу.

Уничтожая людей сотнями, мы старались произвести возможно большую панику, чтобы иметь возможность грабить оставленные города, деревни и замки. Наши агенты, конечно, не посвященные в тайну, помогали нам проводить в исполнение все это.

Вот в каком деле предложил мне участвовать Винцерс, грозя в противном случае отнять у меня Эльзу, и я, ослепленный любовью, согласился.

Я не оправдываюсь, мой молодой друг, но что иное мог я предпринять? Клятва связывала мои уста, месть негодяев угрожала моей жизни. Быть может, я стал бы еще колебаться, но любовь к Эльзе перетянула чашу весов, на коих со злом боролась добродетель. И я сделался клеветником зла.

Начало исполнения наших планов удалось блестяще; казалось, духи ада нам покровительствовали. Я не буду перечислять всех ужасов, тогда происходивших. Слишком отвратительны эти воспоминания. К счастью, Господь не попустил им окончиться так, как желали бы этого негодяи — члены «ассоциации мудрых».

Ужас, распространяемый нашими жилищами, позволял нам свободно, в особенности по ночам, покидать их, не боясь быть замеченными. Однако, мне приходилось видаться с Эльзой значительно реже, против прежнего.

Все же я продолжал время от времени посещать свою милую невесту, объясняя редкие свои визиты неотложностью и обилием дела.

Однажды вечером я отправился к ней в Бирлингтон после довольно продолжительной разлуки. Автомобиль быстро понес меня по шоссе на дороге, и через полчаса я уже был у загородной дачи Винцера, где жила моя невеста. Против обыкновения, Эльза встретила меня необычайно холодно и, когда я спросил о причинах подобной перемены — презрительно протянула мне бумагу, взглянув на которую, я понял, что произошло нечто ужасное.

Это была карта Англии с обозначенными местами падения ядер и с различными отметками секретного свойства, совершенно разоблачавшими наши планы.

Как она попала в руки моей невесты, не знаю.

Винцерс не был рассеян, вероятнее всего, Эльза похитила карту из его бумажника или взломала письменный стол, удовлетворяя свое женское любопытство.

Я, однако, не растерялся.

— Эльза, — воскликнул я, — судьба избавила меня от тяжелого объяснения. Руководимая Провидением, ты сама узнала тайну, которую я решил сообщить тебе сегодня. Знай,

лишь благодаря страшному недоразумению я сделался невольным участником столь низкого дела.

Я продолжал оправдываться в том же духе, сваливая всю вину на своих сообщников, чего, конечно, эти негодяи только и заслуживали.

Эльза сначала не хотела меня слушать, но, наконец, мои слова возымели свое действие. С тихим плачем Эльза обвиняла мою шею.

— Я верю тебе, любимый, — сказала она, — но обещай, что эти ужасы не повторятся больше.

Конечно, я обещал. Утром на другой день я должен был отправиться к своим сообщникам и потребовать немедленного прекращения их преступных действий.

Ночевать же ввиду позднего часа и усталости я остался у Эльзы, хотя, — увы, — она не положила меня, как обычно, в комнате, смежной со своей спальней, а велела приготовить мне постель в отдаленном конце дома.

Глава четвертая

На следующее утро, обдумывая по дороге домой вчерашнее свое решение и обещание, данное моей Эльзе, я ясно увидел всю легкомысленность их и бесполезность. Конечно, негодяи не согласятся исполнить мои требования, но, напротив, пожелают устранить меня, как изменника, и мне придется бежать из Англии, потеряв Эльзу и свое состояние одновременно, ничего не достигнув.

Так думал я и безвыходность моего положения представлялась мне все яснее, как вдруг неожиданный план пришел мне в голову. Увеличив насколько возможно скорость автомобиля, я помчался к себе на дачу. Пройдя в кабинет, я достал из потайного шкафа снаряженную бомбу огромной силы, оставленную Винцерсом в прошлое свое посещение. Она предназначалась для взрыва Ингольмского аббатства, но Бог не допустил этого и меч злодеев направил в их сторону.

Достав бомбу, я тотчас телефонировал своим сообщникам, приглашая их немедленно пожаловать ко мне для экстренного заседания. Потом я стал спокойно поджидать негодяев.

Вскоре приехали все, кроме Смитфельда, обещавшего приехать позднее. Я был чрезвычайно огорчен последним обстоятельством, ибо имел неосторожность завести часовой механизм взрывчатого снаряда при въезде автомобиля с членами шайки во двор дачи, и до момента взрыва оставалось не более пятнадцати минут. Остановить же действие я не мог, так как бомба находилась за экраном в той комнате, где собрались негодяи. Но делать было нечего. Мне приходилось покориться судьбе и, уничтожив трех членов «ассоциации мудрых», об уничтожении четвертого позаботиться особо.

Дружески поздоровавшись с гостями, я начал говорить о необходимости выбросить еще одно ядро около Лондона, дабы овладеть столицей и о том, что надо энергично приняться за ослабление армии.

Несмотря на все мое хладнокровие, все же, по-видимому, волнение мое было заметно, так что Эльтон, взглянув на меня, насмешливо произнес:

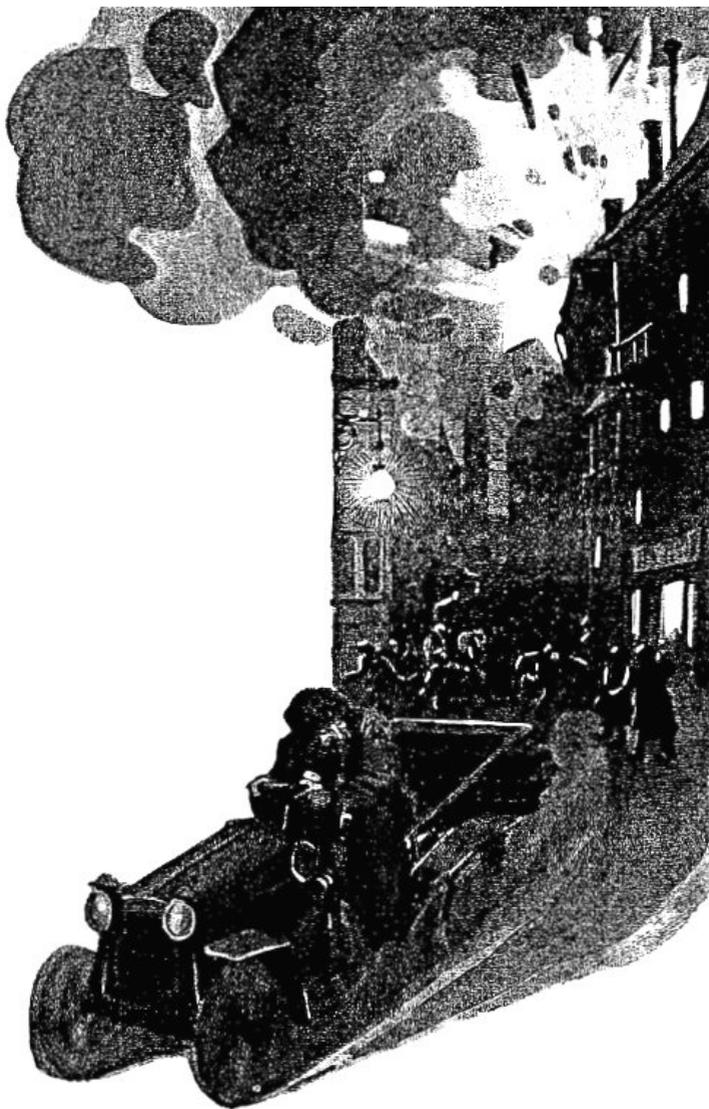
— Все это отлично, дорогой, но неужели вы собрали нас сегодня лишь для того, чтобы говорить вещи, всем нам хорошо известные? Судя по вашему возбужденному виду, мы можем думать противное.

— О, да, — сказал я и взглянул на часы. До момента взрыва осталось ровно четыре минуты. — Вы правы, любезный Эльтон. Прошу извинения, господа, позвольте мне спуститься вниз на мгновение. Через самое короткое время вы убедитесь, что я имел некоторое основание потревожить вас сегодня.

С этими словами я вышел.

Все нужные бумаги и деньги были уже уложены в автомобиль заранее. Повернуть рычаг было делом секунды. Вскоре я уже несся по лондонской дороге. Взрыв, раздавшийся за моей спиной, был знаком того, что мир навсегда избавлен от ужасных действий «ассоциации мудрых». Правда, ос-

тавался в живых Смитфельд, но, лишенный капиталов — деньги общества хранились у меня и, понятно, я не взорвал их, а увез с собой, — лишенный друзей, он был почти обезоружен.



Я решил, однако, приложить все старания, чтобы отделаться и от этого человека; мне следовало исполнить это сейчас же, пока он ничего не знал. Но такова сила любви — я не имел силы не заехать к Эльзе, чтобы похвастаться выполненным обещанием и потребовать приятной награды.

Несчастный! Знал ли я, какой ужас ожидал меня в доме Винцера вместо воображаемых поцелуев?

На пороге дачи меня встретила горничная Эльзы с воплями и рассказала, что госпожа найдена утром мертвой в своей постели.

Обезумев, я вбежал в спальную, ту самую, где столько невинных радостей испытал я. Мучительный вид Эльзы, ее запрокинутые руки, закатившиеся глаза, синие страшные губы — заставили меня в ужасе отвернуться. Тут мне бросилась в глаза лежавшая на письменном столе записка, мне адресованная. Трепеща, я разорвал конверт и прочел несколько строк мелким, неровным почерком:

«Я люблю тебя, милый, — писала Эльза, — но мне страшны невольные твои преступления, и сомнения терзают мое сердце. Не боюсь гроба, если даже меня ждет ад: и там не испытаю муки горше тех, что теперь испытываю. Прощаю тебя. Живи и искупай зло, тобой содеянное!»

Глава пятая

Вероятно, читатель, заслушавшись моего незнакомца, забыл о существовании скромного автора этой истории. Последний был тоже весьма заинтересован ею и ждал дальнейшего рассказа, но старик, произнеся предсмертные слова Эльзы, впал в глубокую задумчивость. Я же сидел, не шевелясь, не смея потревожить величественного старца. Однако прошло, я думаю, уже около получаса, а тот все не нарушал своего молчания. Тогда я слегка толкнул ножку столика, дабы произвести звук и тем напомнить хозяину о себе. Но велико было мое изумление, когда ножка издала сначала неясное дрожание, подобно гулу настраиваемой скрипки.

ки, и тотчас из-под стола полились звуки превосходного Моцартовского «скерцо».

Выведенный из задумчивости старик улыбнулся моей неловкости, приведшей к столь неожиданному результату, и сказал, что подобные приспособления имеются во многих комнатах и при различных предметах, на случай, если кому захочется послушать музыку. Затем, погладив бороду, он стал продолжать свое повествование.

— Юноша, печальная моя жизнь сделалась еще печальнее со смертью Эльзы. Сколько раз я порывался к пуле, яду или морской волне. Но, как огненный ангел у входа в рай, стояли предо мной предсмертные слова Эльзы — и я отвергал самоубийство. Да, жить, жить страдая, дабы искупить невольные мои прегрешения — стало моей единственной целью. От всего отказался я добровольно, — от высокого положения, мирских усад, от множества соблазнительных прелестей, лежащих на дороге молодого красавца, с миллионным состоянием к тому же. Однако, ты видишь меня, юноша, неропщущим, хотя жизнь моя в течение сорока лет была страданием и горечью. Вериги раскаяния терзали мою душу, тело мое подвергалось лишениям. Чем я питался здесь: жалкой океанской рыбой или дичью, вкусом напоминающими навоз. Какие отвратительные фрукты подавались к десерту моими орангутангами. А что заменяло мне...

— Но, — прервал сам себя старец, — как слаб человек, я припоминаю горькое, забыв о сладком. Скорблю, когда надо веселиться. Слушай дальше, милый гость, уже недолго я буду занимать твое внимание печальными своими приключениями...

Оставаться в Англии мне было немислимо. Хотя и лишенный помощи друзей, хотя и не располагающий богатствами, Смитфельд все же был мне опасен, и я решил немедленно покинуть родину. Подозрения мои вскоре подтвердились: мне донесли, что оставшийся в живых злодей разыскивает меня повсюду. Трудно было предположить, что этот человек имел относительно меня добрые намерения. Окруженный надежной стражей, я отправился в путь, тайной целью своего путешествия имея берег Голландии, от-

куда я намеревался отправиться в Индийский океан на яхте, купленной специально для этого путешествия, которая ожидала меня в названном порту. Как известно, в те дни в Англии невозможно было попасть на поезд, паника, вызванная страшными событиями последних месяцев, еще не прекратилась, так что большую часть дороги мне пришлось сделать на автомобиле. Бегство длилось несколько дней и окончилось, благодаря Провидению, благополучно, но в течение всего пути клеветы Смитфельда не выпускали меня из виду и всяческим образом старались меня изловить. Трижды я находил в еде сонный порошок, семь раз в меня стреляли неизвестные люди, индийская змея страшной ядовитости была найдена мною однажды в постели, когда я остановился мимоездом в гостинице «Четырех барабанов». Да, только неисчерпаемая милость Божья помогла мне избегнуть сетей, расставлявшихся на моем пути сообщниками этого негодяя.

Мною были приобретены восемь дрессированных в совершенстве орангутангов, из которых каждый обошелся мне в четыре тысячи ирландских гиней. Вначале я надеялся обойтись вовсе без человеческой помощи и пользоваться услугами одних орангутангов во время предстоявшего мне морского путешествия и дальнейшей жизни на необитаемом острове, в выборе которого я тогда еще не остановился окончательно. Но по размышлении я убедился, что это неосуществимо. Как хорошо ни были выдрессированы мои новые слуги, все же они не могли заменять людей там, где требовались человеческий ум и человеческие знания. Мне пришлось взять с собой шесть человек рабочих и молодого инженера, очень приятного, воспитанного и даровитого молодого человека. Этими людьми выкопаны и отделаны эти подземелья, ими же был прорезан подземный ход к морю, на случай, если бы мне пришлось бежать. Это были на редкость старательные люди, и я горько плакал, когда дрожащей рукой подсыпал стрихнина в их вечернюю похлебку. Молодого Аусбергера у меня не хватило душевной силы отравить — я столкнул его как будто нечаянно в один из погребов. Несчастный долго кричал о помощи, заставляя мое

сердце обливаться кровью. И я до сих пор упрекаю себя за этот поступок, хотя и сознаю, что в данном случае я был только орудием рока. С своей стороны я сделал все, что подсказывала мне совесть — жалованье рабочим мною было уплачено полностью накануне их смерти, каждый день я поминаю их в своих молитвах и твердо верю, что, несмотря на гибель Аусбергера с товарищами без церковного покаяния — они не будут осуждены на Страшном Суде.

Эти семеро пролили свою кровь и как бы искупили жертву за тысячи спасенных мною жизней. Думаю, что и ты согласишься со мной, милый гость, как согласился мой патрон, преподобный Бонифаций, являвшийся ко мне однажды ночью и долго беседовавший со мной насчет моего поступка.

По-видимому убежище мое осталось неизвестным Смитфельду, ибо никакие опасные признаки не беспокоили меня с тех пор, но, ты понимаешь, каждое мгновение могло принести мне худшее, нежели жизнь в подземелье, и я не брезговал предосторожностью, не вступал ни в какие сношения с пристававшими, правда редко, к берегу судами. Яхта моя была спрятана в одной из пещер. О, как ужасно было сознавать себя узником, знать, что Смитфельд отыскивает меня повсюду и, попадись я ему на глаза — в мгновение горсть праха осталась бы от моего тела. Я забыл тебе пояснить: аппарат для концентрации теплового луча остался в его руках, — вот что делало столь страшным гнев негодяя.

И сорок лет я живу здесь в одиночестве, печалюсь о прошлом, не надеясь на прощение неба. Но, я вижу, ты утомлен, милый вестник, — я оставляю тебя — отдохни. Теперь — вечер. Утром я разбудю тебя и мы обсудим предстоящее нам путешествие. Теперь же, доброго сна!

Глава шестая

Когда старик ушел, я лег на диван и стал приводить в порядок свои впечатления и мысли, стараясь разобраться во всем происшедшем. Но голова работала плохо, глаза смыкались сами собой и вскоре, не в силах бороться с одолевавшим меня Морфеем, я заснул...

Косые лучи солнца на моем лице и голос вчерашнего моего знакомого разбудили меня.

— Ты проснулся, милый гость, — произнес он. — Как ты себя чувствуешь? Вот, я принес тебе одежду, ибо твоя стала негодной от морской воды.

С этими словами он положил на стул, рядом с моей постелью, роскошное платье, в восточном вкусе.

— Одевайся, мой юный друг, когда ты будешь готов, то позвони, — и он указал мне на синий шелковый шнурок, спускавшийся над моим изголовьем. — К сожалению, я не могу предложить тебе камердинера, — мои орангутанги не знают твоих привычек, они непонятливы и их услуги будут тебе только досадны.

С этими словами старец покинул меня, я же стал одеваться.

Все необходимое для самого тщательного туалета было в комнате, которую я имел возможность теперь разглядеть подробнее. Она была овальная, средней величины, с хрустальным окном в куполообразном потолке. Светло-серый штоф, обтягивавший стены, был расшит золотым и розовым шелком. Мебель, обитая материей цвета семги, была нежна и изящна. На четырех цепях с потолка спускалась люстра в виде хрустального зеленого шара, окруженного бронзовыми амурами со свечами в руках. Розово-серый с золотом гладкий ковер изображал сад Гесперид. Обилие очаровательных мелочей, повсюду разбросанных, дополняло прелестную картину моего неожиданного жилища, походившего более на один из апартаментов какого-нибудь дворца, нежели на приспособленную к жилью подземную пещеру.

Совершив свой туалет, я позвонил. Тотчас явились два лакея, в которых я только с трудом узнал орангутангов, раскрыли носилки, жестами приглашая меня сесть, что я и сделал. С необычайной быстротой понесли они меня через ряд комнат, нисколько не тряся, и вскоре мы очутились в просторной зале, обтянутой темно-красным. Огромные лампы озаряли ее. За столом, отлично убранном в старинном вкусе, сидел старик.



— Приветствую тебя, друг мой, — сказал он. — Подкрепи свои силы, а потом мы отправимся на поверхность острова, где, благодаря милости Провидения, я могу показаться, не оглядываясь, не опасаясь каждого шороха и не стра-

шась каждой тени на горизонте. Прости, что я угощаю тебя кушаньями столь скромными. На этом проклятом острове нет ничего, что могло бы удовлетворить аппетит человека с порядочным вкусом. Но, милый друг, ты знаешь бедственное мое положение и не осудишь старика за неизысканную трапезу.

Слушая его, я отведал различных кушаний, бывших на столе, — число их превышало сотню, качество их было таково, что никогда до тех пор я не пробовал ничего вкуснейшего. Старик, столь пренебрежительно относившийся ко всем этим прелестям, по-видимому, страдал катаром желудка, при котором, как известно, изысканные блюда кажутся похожими на паклю и тончайшее вино напоминает слабительный лимонад. Как бы там ни было, я отдал должное и кушаньям, и напиткам, так что поднялся с изрядной тяжестью в желудке и в голове с нежным головокружением, опираясь на руку старика. Последний позвонил. Тотчас орангутанги с носилками явились перед нами. Несколько секунд спустя мы уже были на поверхности острова. Пышная тропическая природа цвела кругом.

— К морю! — сказал старик и легкой рысью наши носилки помчались по тому направлению, где качалась небольшая старомодная яхта.

— Я велел спустить ее на воду. Теперь это уже не представляет опасности, — сказал старик. — Знаешь что, мой молодой друг — не отправимся ли мы испытать «Эльзу»? Осмотреть остров ты еще успеешь, прекрасная же погода и отсутствие волнения располагают меня совершить маленькую морскую прогулку — удовольствие, которого я был лишен более сорока лет.

Я согласился. Яхта приводилась в действие электричеством и недолго спустя мы уже делили волны между мысом и островом, который хотя был невелик, но необычайно живописен. Старик вел со мной легкую и остроумную беседу. Так мы плыли, наслаждаясь окружающим, как вдруг я заметил некий туман, легкой сеткой затянувший окрестность, отчего небо и вода и даже самый свет солнечный приобрели странный сероватый оттенок. Я указал на это ста-

рику, на что он ответил, что это атмосферическое явление, редкое в этих краях.

Это сообщение меня успокоило, как вдруг совершенно неожиданно, шагах в двадцати от нашей яхты, появилась лодка; туман, достаточно сгустившийся, не позволял мне различить лиц сидевших в ней, но их голоса показались мне знакомыми. Я взглянул на старика, он тоже смотрел на лодку, страшное напряжение было отражено на его лице. Вдруг он вскрикнул и схватился за сердце, другую же руку он простер, в ужасе указывая на лодку. Она была совсем у борта. Один из четырех сидевших в ней встал — я узнал в нем капитана Смитфельда.

— Здравствуйте, сэръ Роберт, — сказал он, обращаясь к старику. — Что же, сведем старые счеты.

В руке его блеснул прибор странного вида, напоминавший зажигательное стекло. Вдруг старик вышел из оцепенения.

— А, негодяй! — закричал он мне. — Ты изменник, ты посланник дьявола, а не небес, как я тебя считал. Ты привел меня к гибели, так умри же вместе со мной.

Не успел я двинуться, как цепкие руки обхватили меня и куда-то поволокли.

— Смитфельд, — крикнул я, — это я, Поксон, спасите!

Но тот не слышал или не хотел услышать.

Ладонь старика коснулась моего рта, как бы пытаясь его зажать. Вдруг весь воздух словно вспыхнул или превратился в раскаленное золото. «Тепловой луч», — пронеслось у меня в голове, и я потерял сознание.

Глава седьмая

Читатель, будь снисходителен, извини мою фантазию, легкомысленность которой примчала меня к берегу, более чем неожиданному. Верь, начиная писать, я руководствовался желаниями самыми пристойными. Следуя примеру многих великих и славных писателей — аббата Фора, зна-

менитого де Монтегю, неподражаемых Девена и господинна Корейши, я разбил в начале повествования корабль и выбросил героя на необитаемом острове, дабы сразу захватить внимание просвещенного читателя и заставить сильнее биться его чувствительное сердце. Но, ах, неопытный, я дал перу разбежаться и вышел из рамок классического повествования.

Встреча с известным тебе стариком разбила предложенный мною вначале ход повести, ибо сей последний неожиданно заговорил об Уэльсе, о спекуляции человеческими жизнями, пироксилине, тепловом луче — вещах, о которых мне и упоминать было несколько странно при классическом начале моего рассказа, при избранном мною строгом слоге, чистейшим образцам которого пытался я подражать. Чем далее шло повествование, тем я более удалялся от первоначальной темы; наконец, увидел, что единственное окончание, возможное для моего рассказа, есть чистосердечное признание.

Да, дорогой читатель, я не англичанин, но француз и хотя имею маленькое состояние, однако не в акциях, а в билетах марсельского банка, оставленных мне моей благодетельницей — вдовой Суфле, скончавшейся на 67-м году жизни.

Она не была моей родственницей, но относилась, право, как мать к бедному автору этой истории; я свято чту ее память и презираю клеветников, намекающих на наши будто бы предосудительные отношения.

Морем я тоже не плавал, но не раз читал описания морских приключений в книгах известного капитана Ривидиуса — путешественника к Южному полюсу, так что мои сведения этого рода почерпнуты из источников весьма вероятных. Конечно, моему слабому воображению было бы не под силу самостоятельно создать портрет старца, великого грешника, очистившего себя многолетними испытаниями.

Нет! Мой старец лишь слабое подражание портрету почитаемого гражданина нашего города г. М., заблуждения которого были велики — и тем более достойна удивления

теперешняя его правильная жизнь. Само собой разумеется, он не участвовал в ужасах «ассоциации мудрых», но кто помнит крах Азиатского торгового банка, директором которого г. М. состоял, тому известна история с затеянным им синдикатом рабочих, пустившим по миру тысячи семейств, и тем не покажется нелепой моя аналогия.

В образе легкомысленного путешественника не ищи, читатель, черт автобиографических, ибо твои поиски увенчаются успехом и мне придется вдвое краснеть за свое легкомыслие.

Впрочем, — кажется — я извиняюсь! Но ведь это глупо, в конце концов. Друг мой, приложи руку к сердцу, прислушайся, оно еще не перестало учащенно стучать, взволнованное ужасами и прелестями моих описаний. Разве авторы таким слогом, как мой, извиняются перед читателями за доставленное ему наслаждение! А что я заключаю свое повествование несколько необычно — это пустяки. Просто в пылу вдохновения я забыл, что живу на земле, где все кончается и где самые фантастические приключения, как они ни увлекательны, должны же чем-нибудь разрешиться.

Георгий Иванов

ТРОСТЬ БИРОНА

Илл. В. Сварога



Может быть, я и раньше встречал его на улицах Петрограда, но его старомодный облик впервые бросился мне в глаза на набережной около Зимнего дворца туманным и серым весенним вечером.

Гуляющих было мало. Солнце, заходя, еще тускло румянило волны, бледно озаряло Петропавловский шпиль и лица редких прохожих, шедших мне навстречу. Он сидел на гранитной скамье, глядя на воду, задумчиво чертя по граниту своей тяжелой тростью.

Он был одет в светло-шоколадное пальто клошем, какие носили лет десять назад, и выгоревшую мягкую шляпу такого же цвета, надвинутую на лоб. Лицо его было бы очень обыкновенным для петербуржца, бледное с мелкими чертами, если бы не странная складка у концов рта, дававшая ему неопределенное, но странное выражение. Большие светло-голубые глаза равнодушно глядели на воду прямо перед собой.

«Должно быть, какой-нибудь чужак», — подумал я, проходя мимо. Когда я возвращался назад минут через десять, гранитная скамейка была пуста.

Я люблю старину! Хотя мои средства очень ограничены, я ухитряюсь все-таки собирать старинные вещи. Конечно, редкости, которые я покупаю на аукционах или у невежественных уличных торговцев, заставили бы заправского коллекционера презрительно улыбнуться, но мне они доставляют большое счастье.

Что с того, если чайник с поломанной ручкой, который я целую неделю высматривал, бродя по шумной галерее Александровского рынка, и, наконец, купил,— заурядная вещь. Но десять рублей, заплаченные за него, занимают место в моем скромном бюджете.

Из-за этого осколка милой старины мне придется испытать в чем-нибудь другом маленькое лишение, и, неся домой какую-нибудь безделицу, гравюру или акварель, наконец купленную мною, мне кажется — я бываю счастливее многих богачей, лениво осматривающих сокровища дорогого антиквара с сознанием, что все — к их услугам.

И вот однажды я рылся в папке с эстампами в пыльной полутемной лавчонке. Вдруг кто-то вошел в лавку и заговорил с хозяйкой. Она протянула ему руку и в то же мгновение трость коричнево-золотистого дерева с резной костяной ручкой упала на мой эстамп. Я поднял ее и, обернувшись, протянул говорившему. Передо мной стоял господин в шоколадном пальто, встреченный на набережной недели две тому назад. Он извинился очень вежливо и поблагодарил меня. Из лавки мы вышли вместе и между нами завязался разговор — о старине, о торговцах, о ценах. Так началось мое знакомство с этим странным человеком.

Прощаясь, мы обменялись адресами и телефонами; дня через три он позвонил ко мне и спросил разрешения прийти. Мы провели очень интересный вечер; мой новый знакомый оказался удивительным собеседником; познания его в разных отраслях искусства были неистоцимы.

Он отлично говорил по-русски, хотя и носил английское имя — Симон Брайтс. О себе, о своем прошлом он ничего не рассказывал. Я понял только, что он нигде не служит, по-видимому, богат и занимается исключительно коллекцио-

нированием изысканных редких вещей. Мое мнение подтвердилось, когда я посетил его жилище.

Симон Брайтс жил на углу Тучковой набережной и одного из многочисленных узких переулков, где, по словам поэта, «окна сторожит глухая старина». Он занимал странное помещение в подвальном этаже из двух больших сводчатых комнат, с окнами на Неву, дворец Бирона и снасти парусных барок. Прислуги у него не было, все нужное делала жена швейцара с парадной лестницы (у Симона Брайтса был отдельный вход). Обе комнаты подвала были обставлены с изумительной роскошью.

Ковры, шелка, венецианские драгоценные вышивки, gobелены, редчайший фарфор всего мира, дивные картины, чудесные гравюры — все это переполняло сводчатые комнаты очень просторного, по-видимому, подвала. Полки были завалены книгами на всех языках. Итальянские, арабские, древнегреческие, персидские манускрипты возбудили мое удивление. «Разве вы знаете все эти языки?» — спросил я. «О нет, очень немногие из них, — отвечал он, улыбаясь, — но мне нравится, что все эти книги принадлежат мне».

Мы стали видеться — не слишком часто, но каждое свидание укрепляло наше знакомство, незаметно переходившее в дружбу. Мне нравились тихие разговоры с этим чудачком-эстетом в тишине его фантастического жилища, по вечерам, когда дымно-красное солнце тускнело в окне за лесом мачт и косой его луч скользил по пестрым коврам, китайским вазам, хрусталу и, бледнея, гаснул в углу на вышитой подушке пышного кресла. И я часто досадовал, когда стрелка приближалась к полуночи и надо было уходить, так как Симон предупредил меня при первом же приглашении, что его привычка — в полночь уже лежать в постели, и, если я забывал о ней, он неизменно очень вежливо и тонко намекал мне об этом.

Так прошло около года.

Однажды Симон пришел ко мне в необычное время, днем, не предупредив меня по телефону. Он оказался сильно расстроенным, руки дрожали. Он попросил дать ему вина.

Когда я исполнил это и спросил, что с ним, мой друг печально улыбнулся.

— Уверяю вас, ничего. Нет, нет, не думайте, что я боюсь, мне попросту хотелось видеть вас, и я пришел сюда...

Я не расспрашивал больше, хотя любопытство мое было сильно возбуждено. Я никогда не видал его таким взволнованным. Он стал что-то говорить об офортах Домье, которые он надеялся приобрести, но вдруг прервал сам себя.

— Друг мой, — сказал он торжественно и нежно, — друг мой, ведь я могу назвать вас так?

— Дорогой Симон, зачем вы спрашиваете? Я всегда готов доказать это.

Но он, казалось, не слушал меня.

— Друг мой, — продолжал он, — сегодня 27 сентября. Для вас это обыкновенный осенний день и ночь на 28-е тоже простая ночь. Ну вот, я просил вас не приезжать ко мне эти две недели — до завтрашнего числа, пока у меня ремонт. Теперь он кончен, или, верней, его никогда не было. Вы честный, простой человек, кажется, хорошо ко мне относитесь, вы верите в Бога. Скажите, ведь вы носите на себе крест?

Я удивился этому неожиданному вопросу и отвечал, что, разумеется, ношу.

— Крестильный? Ну вот, видите, как хорошо. Так вот что, вы можете мне помочь, очень помочь, дорогой друг, если согласитесь провести сегодняшний вечер дома и, когда я позвоню вам по телефону, сейчас же приехать ко мне. Хорошо?

— Хорошо, Симон. Я буду сидеть дома и приеду к вам, но, может быть, вы объясните мне, к чему это и что значит?

Он схватил мои руки и крепко сжал.

— Вы все узнаете, дорогой друг, все, все — я позабочусь об этом. Но не сегодня, не теперь...— Он встал, залпом выпил стакан вина и пошел в переднюю. На пороге он вдруг обнял меня и поцеловал. Потом быстро выбежал, хлопнув дверью.

Я был изумлен и встревожен этим посещением. До вечера было много времени, но я как-то не мог ничем занять-

ся. Брал книгу и бросал, садился работать — не клеилось. Пообедав без аппетита, я стал ждать. Пробило десять, одиннадцать, половина двенадцатого, — я решил, что Симон не позвонит, и стал подумывать о сне. Пробило полночь, и вдруг резко в этот неурочный час задребезжал телефон.

— Алло, это вы? — говорил Брайтс. — Я боялся, что вы уже заснули. Право, мне совестно, что я так вас беспокою. Значит, вы будете у меня минут через пятнадцать?

Вдруг голос моего друга странно изменился. Он стал хриплым и очень тихим.

— Крест, не забудьте крест!.. — И тотчас раздался металлический легкий звон, словно лопнула пружина. Я отчаянно забарабанил по кнопкам. Сонная барышня ответила мне, что у Симона Брайтса снята трубка.

Встревоженный и недоумевающий, я выбежал из дома. С пятой линии, где я живу, до Брайтса было езды не больше 10 минут. Но, как назло, не было ни одного извозчика. Шел мелкий холодный дождь. Осенний ветер дул прямо в лицо, сырой и пронзительный. Шлепая по грязи, я добрался, наконец, до набережной, тускло освещенной мигающим газом. Вот и переулок. Сонный дворник открыл мне ворота. Обитая клеенкой дверь подвала была открыта настежь. Удивленный, я вошел в квартиру Симона. Большая комната была озарена только зыбким светом уличного фонаря — я с изумлением увидел, что от роскошной обстановки не было и следа. Голые стены веяли сыростью и запустением. Не понимая, что это значит, я подошел к двери, ведущей в соседнюю комнату, спальню Брайтса, и, заглянув в нее, едва не вскрикнул.

Посредине комнаты стоял стол, за которым сидели двое мужчин в странном платье екатерининских или елизаветинских времен. Один из них перелистывал большую тяжелую книгу. Три свечи едва мерцали синевато-зеленым блеском. Огромный камин в углу слегка дымился тоже зеленым, каким-то болотным огнем, озаряя неверно и мутно своды. В углу копошился кто-то третий — я не мог его разглядеть. Порою слышался лязг железа и какое-то шипенье.

Я стоял оцепенелый, хотел двинуться и не мог, крикнуть — язык мне не повиновался. «Где же Симон?» — подумал я. Подумал и тотчас же заметил еще одного, стоявшего у окна. Это был Брайтс.

Он был одет в свое обычное платье; приложив руку ко лбу, он пристально глядел в окно; зыбкий луч уличного фонаря играл на его бледном лице.

Я не знаю, сколько длилось это молчание, прерываемое лишь тихим лязгом из угла да зловещим шелестом книги. Вдруг в воздухе задрожал нежный и чистый слабый звук, словно одной натянутой до крайности струны.

Симон, я видел, вздрогнул, как-то затрепетал, глаза его шире раскрылись, вспыхнули и погасли. Он отвернулся от окна и громко произнес:

— Близок великий герцог...

И мне почудилось, что в окне набережная и дворец Бирона на секунду вспыхнули тем же болотным отблеском, что камин и свечи: тотчас все в комнате зашумело, точно ветер взметнул и закружил желтые листья. Зеленое пламя в камине заколыхалось сильнее. Из дальнего угла вышел человек со зверским лицом, схватил Симона и поволок в угол. Сидевшие за столом встали, протягивая руки, что-то говоря, но голоса их были невнятные и слабы, я не мог разобрать их слов. Голова моя закружилась, и я едва не упал. Когда эта минутная слабость прошла, я увидел, что посредине комнаты, странно подвязанный за руки и за ноги, полуобнаженный, висит Симон. Человек со зверским и грубым лицом, в переднике, повернул какое-то колесо, и все члены моего друга неестественно вытянулись, я услышал, как хрустнули суставы. Его глаза встретились с моими, губы его слабо дрогнули.

— Крест! Крест!.. — скорее догадался, чем услышал я. Дрожащей рукой я достал крестильный крестик, и тотчас же палач снова повернул страшное колесо.

— Поздно, поздно!.. — крикнул уже громко, со страшной силой Симон. — Прощай, прощай. — Кровь брызнула из его тела, словно из тысячи ран, все в комнате зашумело, зашелестело, закружилось.



Сырой холод дохнул мне в лицо...

Я очнулся у себя дома. Электричество горело. Я сидел в кресле около телефона. Значит, я спал? Но мое пальто, брошенное тут же, было все обрызгано липкой, еще не засохшей грязью. В правой руке я держал крестильный крестик. Потом в моей памяти все путается. Утром прислуга нашла меня в сильном жару, бредящим, сидя в кресле. Три недели я лежал в сильной горячке.

Доктор, меня лечивший, сказал, что, должно быть, я вышел уже больной. Мой швейцар подтвердил, что я вернулся со своей прогулки в ночь на 28-е в очень растерзанном виде. Он думал, что барин пьян.

Я позвонил Симону Брайтсу. Трубка была снята. Я послал горничную с письмом к нему на квартиру. Она вернулась обратно с ним. «Этот господин уехал уже больше месяца назад»,— сказала она. Я ничего не понимал. Наконец, я выздоровел и мог выйти. Разумеется, первая моя прогулка была на Тучкову набережную. На стене дома висело объявление о сдаче подвала, того самого, что занимал Брайтс. Я вызвал швейцариху. Она меня узнала и, спросив меня, не господин ли я, — она назвала мою фамилию, — подала письмо, мне адресованное. Адрес был написан рукой Симона.

— Это, — пояснила она, — господин Брайтс, уезжая, оставили — наказывали непременно вам передать.

Вот что было написано на большом листе тонкой английской бумаги рукою Брайтса:

«Была темная и глухая ночь, когда бездомный юноша, называвшийся Симоном Брайтсом, приехал в Россию искать счастья и, в поисках его потративший последнюю копейку, шел по Дворцовой набережной. Ему не хотелось возвращаться в свою гостиницу, где его ждала холодная постель и неоплаченный счет хозяина. Он устал и сел отдохнуть на гранитную скамейку. Вдруг его рука почувствовала что-то

твердое. Это была трость, тяжелая, с резным набалдашником.

Он с любопытством разглядывал свою находку, когда чья-то рука опустилась ему на плечо.



— Вы, должно быть, владелец этой вещи? — спросил юноша у пожилого господина, стоявшего перед ним. Но тот отрицательно покачал головой.

— Нет, — сказал он странно и глухо. — Но я хотел бы поговорить с вами, Веселый Симон.

Юноша очень удивился — незнакомец назвал его так, как звали его на родине родные и друзья.

— Откуда вы меня знаете? — спросил он.

— Я все знаю, — грустно сказал незнакомец, — знаю вашу жизнь и ваше имя, хотя вижу вас в первый раз. Но время идет, надо спешить. Вы бедны, вам нечего есть, ваши надежды найти в России хорошее место не оправдались. А вы хотели бы жить совсем по-иному — вы любите искусство, редкости, драгоценные камни. Судьба привела вас сюда, судьба дала вам в руки эту трость. Решайте, согласны ли вы?

И вот что потом было.

Юноша стал жить странной жизнью. Все желания его исполнялись, стоило только пожелать. Повинуясь какому-то смутному влечению, он нанял себе вместо квартиры подвал в старинном доме на Тучковой набережной. Скоро этот подвал стал сокровищницей искусства, Симон Брайтс — обладателем удивительных редкостей, о каких только когда-нибудь он мечтал. Он захотел читать в подлиннике поэтов, до тех пор известных ему только по именам, и тотчас все наречия древности и наших дней стали ему знакомы в совершенстве. Если бы он пожелал, то, разумеется, мог бы жить в роскошных дворцах, путешествовать, прославиться. Но смутное и неодолимое чувство мешало ему покинуть этот город, эту старую, безлюдную набережную, свой подвал.

Днем он был обыкновенным человеком, тем же Симоном Брайтсом, что и до находки трости. Он забывал все, что происходило ночью. Но когда стрелка приближалась к полуночи, он чувствовал тревожное желание остаться одному в своем подвале. С первым ударом двенадцати странное волнение им овладевало. Он начинал ходить быстрыми шагами по комнате, потом бросался в кресло. Вдруг стекла с треском лопались, холодный ветер сдувал и уносил шелка и ковры, разбивал вазы и люстры. Электричество гасло. Симон Брайтс переставал быть самим собой. Черная и грешная душа овладевала его телом.

На покрытом зеленым сукном столе вспыхивали три восковые свечи... и палач терзал жертву, скрипела дыба, лилась кровь, и Бирон, кровожадный курляндский герцог, снова дышал и жил, чтобы терзать и мучить.

Вот какой ценой купил Симон Брайтс спокойную и роскошную жизнь. Своими руками он проливал невинную кровь, своими губами произносил страшные приговоры несчастным. Каждую ночь дух грешного герцога вселялся в его тело. Но с первым проблеском утра все пропадало, комната принимала свой прежний вид. Симон Брайтс, как сомнамбула, медленно раздевался, ложился в постель и забывал все.

Таинственный незнакомец, говоривший с ним в тот памятный день на берегу Невы, предупредил Симона, что он умрет в первую же годовщину находки трости, если потеряет ее. И после десяти лет своей двойной жизни Симон потерял трость великого герцога.

Он пожалел о ней, как жалеют хорошую и любимую вещь, — не больше. Но чем ближе становился роковой день, тем сильнее овладевало Симоном беспокойство. Ему стал ненавистен этот подвал, эти стены, набережная, проклятый желтый дворец там, на острове. Но он еще не знал страшной истины. Он только предчувствовал ее.

В ночь на 27-е к нему вернулась память. Он вспомнил все слова незнакомца, все пытки, кровь, ужас и грех своей жизни. Он понял, что этой ночью ему суждено умереть. Горе, горе...»

Внизу было приписано помельче, но той же рукой: «На Смоленском кладбище, друг мой, помолитесь над могилой Симона Брайтса».

Я не знал, что подумать, перечитывая это письмо. Порой казалось, что горячка ко мне возвращается. В тот же день я поехал на Смоленское англиканское кладбище. Как-то инстинктивно, никого не спрашивая, я пошел среди памятников прямо, потом налево и остановился перед небольшим холмиком. Простой чугунный крест возвышался над ним. На темной гранитной плите было высечено по-английски: «Симон Брайтс 27-го октября 1906 г.» С невыразимым вол-

нением глядел я на эту успевшую уже зарости мохом могилу человека, еще месяц назад бывшего моим другом. Но почти тотчас я почувствовал странное успокоение. Казалось, вид этой скромной плиты был разрешением всех странных и таинственных загадок, неожиданно смутивших мою тихую жизнь. Я нашел пастора и попросил отслужить мессу. Что там было, под этой замшевелой плитой? Кто был Симон Брайтс, живой человек или только призрак того, кто похоронен здесь?.. Но слова молитвы звучали так успокоительно, и я чувствовал, что мой ум, убаюкиваемый ими, словно засыпает для ужасов и тайн, сердце бьется ровно, черное облако тревоги отходит все дальше.

Не то же ли чувствовал бедный Симон Брайтс, забываясь на рассвете после ночи, проведенной среди крови и пыток Биронова застенка?..

Аркадий Бухов

ТАЙНА СМЕРТИ

В комнате, в которой мы все находились, совершенно не веяло смертью. Были красивые голубые обои, нежный свет матового электрического фонаря, изящный турецкий диван, стильная мебель и много самых разнообразных цветов. Я был в помещении того знаменитого «Общества смерти», о котором столько времени говорят газеты и которое только впервые решилось открыть свое лицо, скрываемое из боязни кривотолков, печатных сплетен и журнальной неправды. Около меня сидело несколько человек основателей этого «общества», и один из них с улыбкой говорил:

— Вы, конечно, понимаете всю вздорность слухов о том, что наше «Общество смерти», — одна из тех полумальчишеских, полужантаслических лиг самоубийц, которыми, к несчастью, одно время покрылась Россия... У нас совершенно иная цель, — вот зачем мы образовали наше общество...

Мы не зовем смерть, мы не ищем ее. Мы просто изучаем все, саму ее и ощущения умирающих... Мы здесь читаем беллетристику, посвященную смерти, доклады, рефераты, знакомим друг друга с тем, что приобретает наука для борьбы со смертью, и, наконец, теперь, на этих днях, мы приступили к новому *медиумическому* изучению смерти.

— Дождитесь 11 часов, и мы вам покажем, как мы пытаемся проникнуть в тайну смерти...

Высокая полная брюнетка, слушавшая наш разговор, подошла к пианино и заиграла какую-то веселую бравурную мелодию. Стало похоже, как будто бы я был в гостях, в давно знакомом доме.

Оставалось дожидаться 11 часов.

* * *

...И вот пробило 11 часов... Гулко продребезжали удары маятника, и все мы тихо, на цыпочках, перешли из гостиной в небольшую полутемную комнату, где посередине стояло какое-то возвышение, нечто вроде наклоненного стола, накрытого черным сукном. На возвышении, под белой про-

стыней, тихо спал какой-то человек с бледным измученным лицом. Один из членов лиги, одетый в серый странный халат, погрозил нам пальцем и прошептал:

— Тсс!.. Он уже спит...

— Что мы здесь будем делать? — спросил я.

— Не говорите... Не говорите, вы все увидите дальше...

Я отошел в сторону и стал наблюдать. Одетый в странный халат подошел к возвышению, наклонился над лицом спящего и попросил зажечь электричество. На лицо спящего человека брызнул яркий ослепительный свет; он даже не пошевелился.

— Спит! — прошептал человек в халате. — Можно приступить...

Все так же тихо, на цыпочках, как и пришли сюда, подошли к возвышению. Роль медиума, видимо, пала на человека, одетого в халат. Он поднял руку над спящим и стал проделывать пассы, в то время как другой взял руку усыпляемого и наклонил над ним лампу.

Сеанс начался.

* * *

— Спите, спите! — услышал я равномерный голос медиума. — Спите!

Несколько минут продолжалась жуткая гробовая тишина. Потом тот же голос продолжал:

— Слушайте, вы сейчас переносите ужасную боль...

Лицо усыпленного задергалось гримасами муки, и тело конвульсивно задрожало.

— Вот боль становится все нестерпимее и нестерпимее... Вам тяжело дышать, вы чувствуете, что на грудь вам ложится какая-то страшная тяжесть... Все сильнее и сильнее... Вы чувствуете, что к вам подходит — смерть...

Глухо прозвучало страшное слово в тишине маленькой комнатки. Голос медиума прерывался от волнения. Шея у спящего побагровела, руки дрожали и голова как будто пы-

талась оторваться от подушки.

— Вот вы умерли. Ничего нет... Около вас непонятная, незнакомая вам тишина. Но вот вы начинаете что-то переживать, непонятное ни для кого, кроме вас. Говорите о вашем переживании.



Опять временная тишина, напряженное внимание всех склонившихся над загипнотизированным и тревожное ожидание его слов.

— Говорите, говорите, — властно повелевает медиум. Слышите!..

И полилась полу-несвязная, полу-бредовая речь...

* * *

— Хорошо, хорошо... Легко, очень легко. Все прозрачно... Руки проникают в какую-то твердую массу... В теле не чувствуется никакого веса... Хорошо, хорошо... Какая особая, нежная теплота!.. Все голубое. Вот какой-то огонь. Подошел к нему, огонь твердый, не жжется. Все голубое-голубо-

бое... куда-то плыву. Ой, страшно, страшно... Вот кто-то подходит, слышу голос, а тела нет. Кто-то входит в меня. Вот что-то постороннее вошло в грудь. Тихе, тихе, тяжело... Ради Бога — тихе... Да тихе же, не давите...

Я взглянул на спящего. Трудно передать то состояние, которое, должно быть, охватило этого человека. По лицу у него текли крупные капли холодного пота. Все тело дрожало и билось в такой судороге, какую можно сравнить только с падучей.

Я схватил за руку медиума.

— Будет! Послушайте, ведь вы же мучаете его?!

— Будет! Действительно, будет, — проговорил кто-то около меня.

Медиум еще ближе наклонился к спящему и почти крикнул ему в уши:

— Слушайте, к вам возвращается тело, вы начинаете чувствовать себя, у вас опять начинается физическая боль, больно руке! У вас оцарапана щека! Вы возвращаетесь к жизни, вы живете. Проснитесь...

Проснувшийся приподнялся на возвышении и дико посмотрел на окружающих...

* * *

Мы перешли снова в гостиную. Стало как-то веселее на душе и от голубых обоев, и от яркого света, и от сознания того, что этот мистический сеанс окончен.

— Ну что, видели? — с ласковой улыбкой спросил меня один из присутствующих на сеансе. — Понравилось?

Я что-то ответил и просил разрешения снять самую интересную часть сеанса. Мне дали согласие. На прощание медиум опять обратился ко мне:

— Скажите, вы, наверное, ожидали большего, вы, наверное думали, что все это обставляется ритуальными подробностями... и другой мишурой... Совершенно напрасно! Мы просто хотим использовать все пути, какие только могут

быть предоставлены человеку для того, чтобы изучить нашу самую страшную и последнюю гостью — смерть...

Олег Леонидов

МОСКОВСКИЕ МАСОНЫ

(Письмо из Москвы)

В одном из глухих переулков Арбата, в глубине занесенного снегом сада, высится с виду невзрачный старинный двухэтажный особняк.

В особняке постоянно опущены тяжелые занавески. По вечерам и ночью, до самого рассвета, через них едва пробивается легкий, призрачный, неяркий свет.

Многие обитатели переулка, проходя мимо особняка, всегда молчаливого и загадочного, строят всякие предположения о том, кто живет в нем, почему это постоянно опущены занавески и нет ли здесь какой-нибудь тайны?... Ходят уже разные легенды о какой-то княжне, потерявшей на войне жениха, а теперь психически заболевшей, о совещаниях политических деятелей, но на самом деле в таинственном особняке собираются московские масоны. Такие существуют здесь. Правда, от прежних масонов они сохранили только внешние знаки своего достоинства, основа нового ордена не столь мистична: не та теперь жизнь, не те люди, но все же побывать в этом особняке очень любопытно.

Вы подниметесь по широкой мраморной лестнице николаевских времен. На двери крестик и три точки — условный знак новых масонов. В каждом собрании точки варьируются, меняется по отношению к ним и положение креста и, соответственно с этим, иным становится пароль для входящих на собрание. Приезжать разрешается сюда только с завязанными глазами, чтобы вновь прибывающий не знал, где, на какой улице и у кого он находится.

Хозяин квартиры и все посвященные в черных масках.

В передней вновь прибывающего встречает слуга-японец, от которого ничего ровно добиться нельзя: он едва понимает по-русски, а говорить совершенно не умеет.

В зале с колоннами и развешанными пестрыми, причудливыми тканями мягкий полусвет от экзотического фонаря, затененного голубыми материями.

Вы проходите дальше, в кабинет, где около дверей висят старинные царские врата с редкой живописью, вывезенные, вероятно, хозяином дома из какой-нибудь северной деревянной церковки. У царских врат в черном плаще с

капюшоном, резко спадающем на закрытое маской лицо, стоит охраняющий входы с мечом и кадильницей. Вновь прибывающий должен класть земные поклоны и принести клятву, что никогда и никому не расскажет о том, что здесь услышит и увидит.

Узкий коридор, темный и жуткий, маленькая дверь, точно в подземелье, вся в тканях. Какие-то странные, одурманивающие голову ароматы — смесь ладана и белладонны.

Сначала слегка кружится голова, захватывает дыхание, перед глазами какая-то густая пелена, точно черная, в несколько раз сложенная вуаль. Но вот понемногу что-то начинает проясняться, и вы едва различаете стоящие у стен турецкие длинные диваны, закиданные подушками, подушки на ковре. Силуэты людей. Вы их не знаете, как и не ведают они, кто открыл дверь в эту комнату. Все в масках.

И когда глаз свыкается с темнотой, вам как-то дико видеть всю эту обстановку — экзотическую, точно из восточной сказки — ковры, диваны, ткани, китайские божки по углам, спускающиеся с потолка светильники, в зелени, розах, хризантемах и орхидеях. И на этом причудливом, необычном фоне модные дамские туалеты, фраки и смокинги, запах ладана смешивается с запахом пряных духов. Все это такая дикая, волнующая фантасмагория!...

Вы занимаете место на одном из диванов. Больше уже не ожидают никого, и потому сейчас должен начаться обряд посвящения.

В одном из углов находится круглый столик, накрытый парчовым платком. На столике кадильница и восковые свечи. В углу рыцарь этого ордена в настоящих тяжелых доспехах. Внятным, резким голосом, выкрикивая отдельные слова, читает он устав ордена. В этом уставе — сплошной призыв к греху. Здесь с ужасающей правдивостью говорится о том пире во время чумы, который празднуем мы все, находящиеся в тылу, о тех ужасах, какие происходят в огне сражений и пороховом дыму. Рыцарь говорит, что близок и наш час, что зловещая колесница смерти скоро проедет и мимо этого старинного особняка, а потому — да здравствует грех с его наслаждением, с его чарами и волшебством!

Отдельные слова орденского устава присутствующие повторяют то заунывными, то торжественными голосами, и в их возгласах чудится дыхание вильсоновой трагедии, чудятся эти ужасающие своей вдохновенностью строки:

«Как от проказницы Зимы,
Запремся также от Чумы,
Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы,
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы!»...

Когда кончается чтение устава, высокая негритянка, одна из многочисленной прислуги хозяина дома, бесшумно переступая порог священной комнаты, вносит бокалы с каким-то экзотическим, неведомым напитком, смесью тончайших вин и одуряющих трав, напитком благоуханным и быстро ударяющим в голову.

Все берут бокалы, чокаются и как-то молитвенно, сосредоточенно выпивают до дна. Напиток опьяняет быстро и прекрасно. Точно курильщики опиума, точно люди, отравленные гашишем, все погружаются в сладкую, мучительную нирвану, и только немногие в состоянии выпить второй бокал, так хмелен и крепок этот напиток.

Секрет его приготовления знает только одна негритянка, вывезенная хозяином дома откуда-то с острова Явы во время одного из его постоянных скитаний. Дают бокал странного вина негритянке. Она судорожно сжимает его цепкими, черными пальцами. Ее белые сверкающие зубы дробно стучат о хрусталь. Как испытанная эфироманка, как человек, привыкший к наркотикам, она, капля за каплей, высасывает этот сок. На нее оказывает он самое быстрое и эффективное действие.

С диким свиным воем, выпив последние капли, бросается негритянка в ноги к хозяину, она целует их, ловит его за руки и то по-английски, то на ломаном русском языке умоляет дать ей еще хотя полбокала. Хозяин неумолим.

Как-то сами собой опускаются руки, все тело охватывает невероятная истома, падаешь на подушки, точно лежишь в каком-то звездном просторе, точно касаешься краев страшной бездны. И вот откуда-то, сначала неясно, потом все слышнее и громче, доносятся медлительные взыскующие звуки восточных мелодий. Не то за стеной, не то здесь же, среди нас, кто-то незримый перебирает струны волшебных арф или скрипок, и в это время начинается обряд посвящения.

При мне посвящали какую-то девушку в белом платье, с открытой спиной и шеей, хрупкую, изящную и, вероятно, красивую. Как-то сами собой угадывались ее черты под маской. Всех подробностей, всех слов, сказанных во время посвящения, я не помню, потому что выпил перед тем бокал негритянского снадобья.

Девушка склонилась на колени перед столиком. Рыцарь протянул свой меч, положил его ей на голову, примяв легкие пряди ее пышных, золотистых волос. По-видимому, она передавала рыцарю параграф за параграфом требования устава. Он ей задавал различные вопросы. Робким, неуверенным голосом она отвечала на них...

Я не буду передавать всех деталей: важны не они, а вся эта общая необычная картина...

Вот рыцарь привлекает ее к себе, вот он что-то шепчет, наклоняясь к самому уху, вот впивается в ее губы...

Долгий поцелуй..

И все хором повторяют:

— «Бокалы пеним дружно мы,
И девы-розы пьем дыханье, —
Быть может, полное Чумы...»

.
.
.

И так ночь за ночью, день за днем. Какая-то неразрывная цепь, какой-то сплошной дурманящий голову пир.

Посвящение... ужин при свете мерцающих свечей, вставленных в черепа вместо подсвечников — символ презрения к смерти, как у настоящих масонов. Посреди стола знаки «мастера», тоже как у масонов: молоток из белой кости, нашейная лента с ключиком — эмблема смерти, и треугольник — эмблема подчинения «орденским» законам. А законы эти — грех.

...И никогда не поднимаются занавески на окнах, не устают здесь любить и быть любимыми. И зловеще звучат в мозгу незабываемые строки:

— «Как от проказницы Зимы,
Запремся также от Чумы,
Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы,
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы!»...

Москва

Борис Мирский

**ЗАСЕДАНИЕ ЕГИПЕТСКОЙ
ЛОЖИ**

17 января я вместе с нашим фотографом получил приглашение присутствовать на заседании мистического кружка — «Египетской ложи». Как и о всех подобных организациях, культивирующих таинственность и ужасы, о существовании в Петербурге «Египетской ложи» знают очень немногие. Знают только свои.

* * *

Хозяин дома, в котором собирается этот таинственный кружок, видный петербургский сановник: его выступления в верхней палате не раз заставляли говорить о себе всю печать. Он — ярый поклонник оккультных знаний и член «Египетской ложи». Еще молодым человеком сановник был командирован в Египет в качестве атташе при нашей дипломатической миссии. Молодой дипломат сгорал от любопытства познать «тайны». А тут еще страшная скука тоскливой жизни экзотического европейца. Дела никакого! Да и какая может быть «дипломатия» между нами и заживо погребенным Англией, бессильным хедивом...

Молодой атташе начал ревностно изучать тайные науки. В Египте, в этой колыбели человеческой культуры, на родине всех тайных знаний, для него открывались широкие возможности. Молодой дипломат сделался членом «Египетской ложи».

В конце 18-го столетия, когда победоносные гренадеры «маленького капрала» вступили в страну пирамид, в Каир и Александрию приехало немало французских спиритов и оккультистов. Приехали и пресловутые мартинисты. Здесь, на развалинах старого Египта, они основали совместно со старыми арабскими мудрецами «Египетскую ложу»...

Проходили года. Молодой атташе быстро делал бюрократическую карьеру и повышался в чинах. Теперь он видный сановник. Но молодые годы не забывались, не забылось время захватывающих жутких откровений, время страстных порывистых исканий под палящим небом знойной

страны пирамид...

* * *

Заседание «Египетской ложи»...

Просторная зала. Никакой обстановки. На стенах полуистлевшие доски с какими-то непонятными знаками, со странными изображениями. В глубине ниша с темной занавеской. В нише статуя Озириса...

Эта древняя статуя забытого бога без слов говорит о том ушедшем времени, когда жили великие фараоны, когда на месте жутких развалин высились гордые дворцы, когда в величественных храмах горел священный огонь, когда миром правили всеисильные боги...

Неподвижные глаза, мертвая, насмешливая и вместе с тем жуткая улыбка. Не человеческая и не божеская. Улыбка вечности...

У подножия статуи лежит медиум. По его бледному мертвевшему лицу пробегают какие-то тени.

Кругом на мягких восточных подушках сидят члены ложи. Медиум начинает говорить. Сначала тихо, невнятно, потом все громче и громче.

— Я вижу... великий Озирис говорит... слушайте...

Что это? Какой-то сон? Здесь, в Петербурге — храм Озириса!

Древний, великий и забытый — он живет здесь в холодном сумрачном городе. И мы все, такие современные, такие будничные в своих пиджаках и галстуках, и эта дама с пышной прической, и этот кокетливый офицер...

Это — сон!

Наступило жуткое томительное молчание. Медиум отошел в сторону и начал говорить заклинания.

— Дух Клеопатры... — прошептала моя соседка.

Проходит долгая, томительная, страшная минута. И вот на черном фоне стены рисуется какое-то белое пятно; оно

становится все больше, все яснее и рельефнее... Я не верил своим глазам — я видел призрак!



Так это правда — значит, существует это потустороннее «нечто», оно существует...

Значит — наша действительность, наша культура, наши аэропланы и паровозы, наши науки, наши пиджаки и галстуки, наша жизнь — все это обман...

Значит, есть какая-то высшая сущность, какая-то высшая тайна.

И это белое привидение, этот дух страшной египетской царицы не сон?

Непостижимо...

Вдруг у меня проносится дерзкая, почти святотатственная мысль. А вдруг... вдруг это не дух, не царственная тень великой Клеопатры, а вдруг это...

Я направился к духу.

— Не подходи, несчастный, — закричал медиум.

Все вскочили со своих мест и с ужасом смотрели на меня.

Минута колебания, минута страха и нерешительности...

Еще один шаг...

Призрак почти касается моей головы.

Я оглянулся — и мне стало страшно.

Медиум был близок к обмороку, сановник, бледный, с перекошенным лицом, бросился ко мне.

— Довольно, довольно, — закричала дама.

Медиум сделал несколько пассивов и начал шептать какие-то заклинания.

Тень стала уменьшаться. Она как бы таяла в воздухе...

Вот она едва заметным пятном вырисовывается на черном фоне комнаты.

Тень исчезла...

Я попрощался с членами «ложи» и вышел.

* * *

Не знаю, может быть, все это было галлюцинацией, может быть, ловкий медиум дурачил всех присутствовавших. Может быть...

Но знаю. Но я испытал какие-то новые, жуткие ощущения.

Я видел необъяснимое...

Федор Зарин-Несвицкий

ЛОЖА ХИРАМА

Был 1796 год. Императрица Екатерина заметно постарела и одряхлела. Несмотря на всю ее выдержку, это бросалось в глаза. На торжественных приемах, в церкви, она заметно уставала. Все реже и реже сзывались гости в Эрмитаж. Характер императрицы тоже сильно изменился: она сделалась подозрительна. Это была уже не та государыня, которая тридцать лет тому назад созывала депутатов и составляла для них «Наказ». Теперь она тревожно присматривалась к русскому обществу, ей всюду чудились якобинцы. Державин едва не попал в опалу за переложение в стихи одного псалма Давида; Радищев жестоко пострадал за свое «Путешествие из Петербурга в Москву»...

Буря французской революции, страшный 93-й год повергла в смятение венценосцев Европы, в их числе и Екатерину. Кроме того, тяжелой утратой была для нее смерть Потемкина. Все, что было сделано в ее царствование блестящего и великого, все было связано с именем этого замечательного человека. Она не переставала оплакивать его. Она отлично понимала, что она потеряла с ним, и притом, хотя страсть ее продолжалась только два года, ее сердце хранило память о том, чем он был для нее, как для женщины, в расцвете ее сил. Никакая привязанность, никакое новое увлечение никогда не могли вполне вытеснить из ее сердца ее друга, и никогда он не терял своей власти над ее волей и умом. Она сохраняла к нему какой-то культ. И даже Зубов, молодой красавец, последняя, почти больная страсть императрицы, только со смертью Потемкина почувствовал себя полным властелином над сердцем Екатерины, хотя никогда не мог приобрести влияния на ее ум.

Несмотря на такое настроение в наступившую старость, изредка императрица словно молодела, жизнь ярко вспыхивала в ней, и ее изумительный темперамент побеждал и старость и недуги. Тогда устраивались карусели, спектакли, вечера. Бывало, что государыня сама приглашала гостей к кому-нибудь из близких придворных.

В один из обычных вечеров у императрицы, в ее собственных покоях, за игрой в вист, государыня была особенно весела. Ее партнером был ее любимец, известный остро слов Нарышкин, а остальные двое — князь Платон Зубов и князь Бахтеев, человек, который, по словам Екатерины, преследовал в жизни только одну цель — разориться и, несмотря на все усилия, не мог достигнуть ее.

— Я слышала, Никита Кириллович, что вы на той неделе хотите у себя маскарад устроить, — с улыбкой обратилась государыня к Бахтееву.

— Как же, ваше величество, — ответил Бахтеев, совершенно не предполагавший никакого маскарада.

— Как это хорошо! — оживленно произнесла Екатерина. — Ну, мы повеселимся...

— Ваше величество, да неужли! — радостно воскликнул Бахтеев. — Да за такое счастье...

Императрица ласково улыбалась.

Ровно в десять часов она встала, дружески поклонилась гостям и в сопровождении Зубова прошла во внутренние покои.

С этого же дня князь Бахтеев стал готовиться к балу, который он хотел обставить самой безумной роскошью, какую только может представить фантазия.

II

Князь Никита Кириллович был вдовец. Его единственная дочь Варенька славилась своей красотой. Недавно ей исполнилось семнадцать лет, и она была пожалована во

фрейлины. Самому князю едва исполнилось сорок лет, а на вид было и того меньше. Он любил хорошо пожить и считался завидным женихом. Но, видимо, не имел ни малейшего желания связывать себя.

Приготовления к балу велись, под его личным наблюдением, с лихорадочной поспешностью. Его дворец на Мойке чистился и снаружи и внутри. Князь опустошил все свои оранжереи в Москве и Петербурге. Из кладовых доставали заветное золото и серебро. Прибор для императрицы с ее бриллиантовым вензелем был специально заказан князем. Список приглашенных был составлен с строжайшим выбором из числа лиц, приятных императрице, и своевременно вручен Зубову.

Императрица, не желая стеснять общего веселья, приказала, чтобы начали бал, не ожидая ее, и при ее входе не снимали масок.

Зная привычку императрицы нигде не засиживаться после десяти часов, князь разослал приглашения к шести часам.

Ноябрьский день короток. От самого начала Невской перспективы князь шпалерами расставил своих гайдуков с факелами. По всему пути следования были поставлены столбы, перевитые цветными гирляндами, увенчанные орлами и украшенные щитами с горящим вензелем «Е. II».

Многочисленные и разнообразные экипажи, сопровождаемые форейторами, со всех сторон тянулись ко дворцу Бахтеева; на фасаде дворца ярко горел вензель императрицы и вокруг него красовалась из цветных фонарей надпись: «Бессмертная». Толпы народа издали любовались сказочным зрелищем. Среди двух рядов лакеев гости подымались по мраморной лестнице, покрытой пушистым ковром.

Чудное и живописное зрелище представляли эти рыцари, пажы, пастушки, бедуины и прочие и прочие, беспрерывной вереницей подымающиеся среди редких цветов, отражающиеся в великолепных венецианских зеркалах.

Князь встречал гостей в маленькой гостиной. Гости проходила мимо него, молча кланялись ему и клали на золотое блюдо, стоявшее рядом на маленьком столике, особые,

приложенные к пригласительным билетам, карточки.

В зале уже играл струнный оркестр князя. Но ожидания императрицы всех волновало, и веселье плохо ладилось.

Наконец, в восьмом часу, грянул военный оркестр, поставленный князем у начала Невской перспективы, «Славься сим, Екатерина!», раздались крики «ура». Князь выскочил на улицу.

В маленьких санях ехала императрица со своим генерал-адъютантом, князем Зубовым; за ними следовала еще сани, и князь с удивлением узнал цесаревича Павла Петровича с сыном Александром.

У подъезда снова заиграла музыка. С треском взлетели ракеты, и торжествующий князь, с непокрытой головой, в голубом камзоле, подбежал к саням государыни.

III

Между двух рядов почтительно склонявшихся замаскированных гостей государыня шла, взяв под руку Бахтеева, за нею следовал князь Зубов в атласном фиолетовом камзоле, с бриллиантовой звездой и осыпанным бриллиантами портретом императрицы на груди. За ним, пофыркивая носом, хмуря брови, в тяжелых ботфортах со шпорами, шел великий князь рядом с сыном. Юный девятнадцатилетний Александр был одет так же неуклюже. На его прекрасном лице, обрамленном мягкими золотистыми кудрями, лежало выражение неловкости и принужденности.

Великий князь Павел Петрович буквально ненавидел всех близких к матери лиц. Особенно ненавистен был ему наглый Зубов.

Он сегодня по делу приехал с сыном к матери. Ему были нужны деньги. Мать обещала ему денег, но позвала с собой к Бахтееву. Предложение было сделано в такой форме, что отказаться не было возможности.

На него смотрели с особенным любопытством. Его несчастная судьба, легенды, ходившие об его рождении, сам характер его и даже наружность, — все давало обильную пищу разговорам.

Чем ближе стоял кто-либо к большому двору, тем с большим пренебрежением относился к цесаревичу, конечно, насколько это было допустимо в том кругу. Было заметно, что невнимательность к великому князю нисколько не трогала императрицу.

С тех пор, как Александр вышел из детского возраста и черты его характера уже ясно обозначались, — характера, по видимому, не похожего на отцовский, — отношение государыни к сыну стало еще холоднее и приобрело даже как будто оттенок враждебности. Имеющие очи смотрели и делали свои выводы. Зато и не было ни одного придворного, который не выказывал бы себя самым преданным слугой юного Александра, игнорируя его отца.

Великий князь, со свойственной ему подозрительностью, болезненно изошренной, все это видел и еще больше замкнулся у себя в Гатчине, бывая у матери только по необходимости. Но все же некоторых лиц при дворе матери он выделял. К числу таких он относил и князя Никиту Бахтеева, всегда сдержанного, корректного по отношению к нему и сумевшего сохранить при дворе полную независимость взглядов и поступков.

Во всяком случае, к нему было Павлу Петровичу менее неприятно поехать, чем к кому-либо другому, но все же неприятно.

Императрица прямо прошла в танцевальную залу, где в алькове, пышно убранном редкими цветами, стояло для нее высокое, вроде трона, кресло под малиновым, затканым золотыми орлами балдахинном.

Императрица опустила в кресло. За него стал князь Зубов, справа — Павел, слева — Александр.

Она дала знак рукой, — заиграла музыка, и танцы начались. Сам князь стоял невдале от императрицы, не спуская с нее глаз. Ему очень хотелось подвести к ней Вареньку, но он не смел, помня категорически выраженное императрицей желание сохранить неприкосновенной тайну маски.

Государыня с тихой улыбкой следила за молодыми, грациозными фигурами танцующих. Порой лицо ее принимало задумчивое выражение. Быть может, она вспоминала такие же маскарады давно-давно, больше сорока лет тому назад, при дворе ее тетки Елисаветы, когда она была еще так молода, когда ее, гонимую принцессу, любили за красоту и молодость... Вспоминала свою первую любовь... Салтыкова...

Вдруг императрица вздрогнула, словно от неожиданного прикосновения, и тревожно повернула голову.

Из-за колонны, увитой цветами, прямо на нее глядели темные, пронизывающие глаза. Она заметила острую, высокую шапку с яркими золотыми звездами и темный, широкий балахон.

Она недовольно отвернулась. Но через несколько минут снова почувствовала то же беспокойство, опять повернула голову и опять увидела те же глаза, остроконечную шапку и темный балахон.

Это становилось несносно. Государыня напрягла всю свою волю, чтобы сдержаться, под сотнями наблюдающих ее глаз, рвавшееся наружу раздражение. Через несколько минут она почувствовала как бы успокоение. Невольно повернувшись, она уже никого не увидела за колонной.

Не она одна обратила внимание на человека в костюме мага.

Еще раньше ее все признаки раздражения проявлял великий князь Павел. Он нетерпеливо стучал шпорами, и его большие голубые глаза сверкали гневом. Он едва сдерживал себя. Глаза мага беспокоили его, и их упорный взгляд он находил дерзким.

Танцы продолжались.

Между тем, возбудивший неудовольствие высоких гостей маг скользнул за колонну и с пытливым любопытст-

вом разглядывал гостей. Наконец он как будто нашел, кого искал, и медленно начал пробираться к одной из танцующих пар. Эта пара давно уже обращала на себя внимание своим изяществом. Грациозная турчанка и рыцарь в серебряных доспехах, с золотыми шпорами. Легкая полумаска, как забрало, скрывала его лицо.

Маг остановился и ждал, когда они после фигуры вернутся на свое место. Когда рыцарь усаживал свою даму, маг тихо наклонился к нему и едва слышно прошептал: «Макбенак». Рыцарь быстро и с удивлением оглянулся и в ту же минуту почувствовал в своей руке записку. Но прежде, чем он успел что-либо сказать, маг исчез. Рыцарь инстинктивно сжал в руке записку и сунул ее за перчатку.

Танец кончился. Рыцарь стал на одно колено, поцеловал у своей дамы руку и отошел в сторону. Гости смешались в толпу. Рыцарь, видимо, торопясь прочесть таинственную записку, поспешил выйти из залы. Но в ту минуту, когда он выходил в одни двери, в другие входил его двойник. Такого же роста, такой же стройный рыцарь в серебряных доспехах и золотых шпорах.

Первый рыцарь, выйдя из толпы, прошел несколько комнат и наконец нашел укромное местечко в угловом фонаре, нежно освещенном голубыми лампами. Здесь он торопливо вынул записку и развернул ее. Сперва он словно не верил своим глазам, потом поднес ее ближе к свету и наконец с полным недоумением опустил руку.

IV

На записке было изображено:



— Господи! Что же это? — вслух произнес рыцарь.

Он был сильно взволнован. Какая тайна скрывалась в этой записке? Кому она была предназначена? Что значило таинственное слово, произнесенное кем-то ему на ухо? Рыцарю стало душно. Он оглянулся кругом. Никого. Тогда он торопливо снял маску и открыл молодое лицо с резкими и правильными чертами, с выражением решимости и сдержанной силы.

Он снова внимательно посмотрел на записку.

«Меня приняли за другого», — решил он наконец.

Он встал, надел маску и направился к выходу, в задумчивости вертя записку между пальцами... И вдруг на пороге столкнулся со своим двойником. Впечатление было столь сильно и неожиданно, что оба с легким возгласом сделали шаг назад. Несколько мгновений они стояли неподвижно друг перед другом, и каждому, наверное, казалось, что он стоит перед зеркалом. Оба стройные, одного роста, оба в серебряных латах, даже маски имели тот же серо-стальной цвет.

Второй рыцарь наконец пришел в себя.

— Мой двойник, благородный рыцарь, разрешит ли мне войти? — спросил он с учтивым поклоном.

Первый сделал шаг назад и, так же учтиво кланяясь, ответил:

— Я буду очень рад, если мой двойник, благородный рыцарь, разрешит мне остаться тоже здесь и разделить с ним общество.

Рыцари снова поклонились друг другу. Второй вошел и опустился на маленький диван с видом усталого человека. Первый сел против него на бархатную скамейку. Несколько минут продолжалось молчание. Наконец второй рассмеялся искренне и чистосердечно и произнес:

— Дорогой рыцарь, я узнал вас и, хотя на маскарадах не принято говорить этого, но я не хочу притворяться. Я узнал вас. Но, — быстро добавил он, заметив нетерпеливое движение собеседника, — слово рыцаря, — я никому не выдам вашей тайны и без вашего позволения не произнесу вашего имени даже наедине с вами.

Первый рыцарь серьезно взглянул на него и ответил:

— Благодарю за откровенность. Ваше замечание вполне естественно. Но я не хочу быть узанным наполовину. Если вы действительно узнали меня, я разрешаю вам назвать меня, и если вы не ошибетесь, я сниму маску.

— Я не ошибусь,— уверенно произнес второй, — вы — поручик Кавалергардского полка князь Арсений Кириллович Шастунов.

Едва он договорил последнее слово, как князь Арсений открыл свое лицо.

— Вы правы, — сказал он. — Как вы узнали меня?

— По глазам, князь, и по голосу, — ответил второй и продолжал: — Но рыцарь должен поднять забрало, говоря с другим рыцарем, поднявшим его.

С этими словами он сдернул маску, и Шастунов увидел перед собой энергичное бледное лицо с пронизательными, серыми, холодными глазами, с резко очерченными, твердыми губами. Было что-то властное в его серых глазах, в повороте его головы, в интонации голоса.

— А чтобы не оставлять вас в недоумении, — продолжал он, — я вам тоже назовусь. Я — князь Александр Юрьич Бахтеев, племянник нашего амфитриона, князя Никиты; третьего дня я вернулся из Лондона, куда ездил на несколько дней после шестимесячного отпуска из посольства. Теперь я отозван оттуда, и вчера... Боже, что это такое? — вдруг в сильном волнении прервал он себя, быстро наклоняясь.

Шастунов тоже нагнулся. На полу лежал беленький треугольник. Это он уронил полученную им записку. Молодой Бахтеев быстро поднял ее.

— Это моя записка, — проговорил князь Шастунов, протягивая руку.

— Простите, — слегка вспыхнув, ответил Бахтеев, подавая ему записку.

Неожиданная мысль вдруг поразила Шастунова. Одинаковые костюмы, волнение Бахтеева при одном взгляде на эту записку... Не ему ли предназначалась она?

Под влиянием этой мысли Шастунов решительно протянул записку Бахтееву и сказал:

— Князь, я получил эту записку странным образом сегодня во время танцев от человека, которого я даже не мог рассмотреть. Кажется, он был в костюме мага. Этот человек прошептал мне в ухо какое-то дикое слово. Как оно? — мак... мах...

— Макбенак, — порывисто произнес Бахтеев.

— Да, да, но откуда вы знаете? — с глубоким удивлением спросил Шастунов.

Но Бахтеев его уже не слушал. Он с жадным любопытством читал записку. Он быстро встал. Вид его поразил князя Арсения. Бахтеев побледнел; брови его нахмурились. Несмотря на все усилия, было заметно, что он сильно взволнован.

— Так. Пора, — проговорил он вполголоса. — Игра началась...

Князь Шастунов с удивлением смотрел на него. Бахтеев опомнился.

— Князь, конечно, это останется между нами, — начал он. — Записка предназначалась мне... Вы внушаете мне доверие... Можете вы помочь мне сегодня ночью?

Таинственность приключения, располагающая наружность Бахтеева, любопытство, все вместе заставило князя Шастунова пылко воскликнуть:

— Когда угодно!

Александр Юрьич крепко пожал ему руку.

— Я все объясню вам потом, а теперь пора в залу.

— Да, пойдём, — ответил Шастунов.

Но едва они двинулись, как слышались резкие, характерные шаги, сопровождаемые звоном шпор, и высокий крикливый голос.

— Цесаревич! — взволнованно воскликнул Бахтеев. — Сюда, скорей сюда!

И, прежде чем Шастунов успел что-либо сообразить, Бахтеев толкнул его за трельяж и сам стал рядом с ним, судорожно сжимая его руку.

И было пора.

В дверях показалась фигура великого князя Павла Петровича, рядом с магом.

Переступая порог, великий князь гневно кричал:

— Oh! Mon astrologue! C'est trop! Voyz avez l'air d'un charlatan! Parbleu!..

— Monseigneur, — раздался в ответ спокойный и уверенный голос, — vous trompez.

Молодые люди боялись дышать, стоя за своим трельяжем.

Великий князь тяжело опустился на диван. Астролог почтительно стоял перед ним, слегка наклонив голову и вертя в руках черную палочку с инкрустацией слоновой кости.

V

Павел нетерпеливо ударял тяжелой перчаткой по ботфорте и высоким крикливым голосом говорил (разговор все время велся по-французски):

— Ну, господин колдун, я вас держу наконец. Я не позволю меня дурачить.

— Монсеньор, — ответил незнакомец, — мы никого не дурачим, и было короткое время, когда граф Северный посетил Париж*, он имел больше доверия к рыцарям Кадоша** и Розового Креста***.

— Розенкрейцеры, — воскликнул Павел, порывисто вскакивая с места.

— Великий рыцарь Кадоша. Великий избранник. Это он, он, — едва слышно прошептал с трепетом и благогове-

* Под именем Comte du Nord великий князь Павел путешествовал с супругой по Европе (*Здесь и далее прим. авт.*).

** Кадош значит — «избранный». Высокая степень в иерархии масонства.

*** Это восемнадцатая степень старого и принятого Шотландского устава. Рыцари Розового Креста, князя Розенкрейцеров, не имеют, между прочим, ничего общего с каббалистической и алхимической сектой Розенкрейцеров. Эту степень считают *nes plus ultra* масонства.

нием Бахтеев.

Несколько мгновений Павел молчал.

Потом тихо проговорил:

— Рыцари Розового Креста — действительно рыцари.

Глаза незнакомца сверкнули.

— Благодарю, монсеньор, — с поклоном ответил он, — а чтобы вы не сомневались, кто я, взгляните на эту пламенеющую звезду.

С этими словами он протянул свою палочку, и вдруг на ее конце ослепительно засияла маленькая треугольная звезда.

Незнакомец опустил палочку — звезда погасла.

— Верховный князь, — прошептал пораженный Павел.

Незнакомец снял маску и показал свое тонкое, бледное лицо с большими черными глазами, с выражением непреклонной воли и сосредоточенной мысли.

— Мы видались с монсеньором в Париже, в ложе Королевской арки. Я приехал сюда несколько дней тому назад и был представлен ко двору ее величества под фамилией шевалье де Сент-Круа, эмигранта. Но я не эмигрант. У меня иные цели...

Павел овладел собой.

— Чего же вы хотите? Зачем весь вечер вы так упорно следили за мной? Зачем вы так дерзко и настойчиво глядели на императрицу? Что видели вы?

Все эти вопросы великий князь произнес, не останавливаясь.

— Я видел смерть за плечами императрицы, — слегка понизив голос, ответил шевалье.

При этих словах сильная бледность покрыла лицо будущего императора.

Неподвижно смотрел он на таинственного рыцаря Кадоша.

— Это мистификация, — произнес он наконец, овладевая собой. — Императрица здорова, как никогда. Она бодра и свежа.

— Дни императрицы сочтены, — уверенно повторил маг.

— Чего же вы хотите от меня? — гордо спросил Павел.

Рыцарь Кадоша помолчал и затем тихо начал:

— Монсеньор, вы всегда сочувствовали нам. Наши благородные цели всегда находили отклик в вашей рыцарской душе. И если вы до сих пор не соглашаетесь стать верховным князем...

— Тсс! Молчите! Ни слова! — нервно перебил его Павел, протягивая руку.

Маг поклонился и продолжал:

— Так было несколько лет тому назад. С тех пор произошли великие события. Началось пробуждение народов. Граф Северный едва ли забыл наши предсказания в Париже.

Павел молча наклонил голову.

— И когда буря народного гнева опрокинула трон Людовика XVI, когда властители Европы почувствовали, что и их троны в опасности, тогда, монсеньор, начались гонения на нас, вольных каменщиков. И что же мы видим, монсеньор? — продолжал этот странный человек. — Нас стали травить! Нас, монсеньор, нас! Елисавета Португальская отдала нас в жертву всем ужасам инквизиции! Немногие успели спастись в Америку. Фердинанд VI объявил нас врагами церкви и династии в всех осудил на смертную казнь! Франц II требует закрытия всех ваших лож в Германии! А ведь император Франц II был нашим, как и вы, монсеньор... Вы хорошо знаете, как относится к нам ваша августейшая мать... Об Италии что же говорить... Мы ютимся в Ганновере и Брауншвейге... Правда, у нас есть место во Франции и Англии, но ведь наш вольный союз интернационален. Как русский масон переселится в Англию? Разве это так просто?.. И вот, монсеньор, я от имени четырех великих лож приехал в Россию, зная, что дни императрицы сочтены...

— И вы, — угрюмо прервал его Павел, — видя во мне будущего императора, заранее хотите испросить от меня отмену всех стеснительных мер, принятых моею матерью против масонов. Так? Не правда ли?

— Почти так, монсеньор. Мы хотели убедиться, сохранили ли вы свои симпатии к нам и не начали ли видеть в нас,

подобно нашему недавнему брату Францу II, мятежников и врагов.

— Я верю вам, — коротко ответил Павел.

Верховный князь несколько минут пристально всматривался в лицо Павла и потом сказал:

— Мы тоже верим вам, монсеньор, и тоже поможем вам.

— Вы? Мне? — с удивлением и неудовольствием произнес Павел. — Но в чем?

— Вступить на трон, — спокойно ответил тот.

— Ах, это уж слишком! — в страшном возбуждении вскричал Павел. — Вы, милостивый государь, уже полчаса морочите мне голову вашими фокусами! Я был достаточно милостив, что слушал вас и обещал вам свое покровительство. Знайте, милостивый государь, мне не нужна ваша помощь! Мне не нужны ни ваши ложи, ни ваши рыцари! Я следую только природному инстинкту справедливости и никогда не унижусь до того, чтобы преследовать людей, заслуживающих уважения! А вам, милостивый государь, стыдно, вам не следовало бы прибегать к таким фортелям; вы должны были бы лучше понимать мой характер! Меня нельзя ни купить, ни застращать!

Павел стоял, положив руку на эфес шпаги. На высоком лбу его вздулись жилы, большие глаза его еще расширились и налились кровью, нижняя челюсть заметно дрожала.

Им овладевал один из тех свойственных ему порывов бешенства, когда он ничего не соображал.

Но вид спокойно и с достоинством стоящего перед ним человека охладил его, тем более что этот человек был иностранец.

Вместо ответа этот странный собеседник вынул из внутреннего кармана своего балахона сложенный лист бумаги.

— Монсеньор, прочтите и сейчас же верните мне, если дорожите жизнью, — сурово произнес он, подавая Павлу бумагу.

Павел торопливо развернул ее.

Долго, не отрываясь, смотрел он на эту бумагу.

Синеватая бледность покрыла его лицо. Он судорожно сжал спинку кресла. Рука с бумагой бессильно опустилась.

На бледном лбу проступил холодный пот.

Рыцарь креста осторожно взял из его рук бумагу, сложил и спрятал в карман. Павел не обратил на это внимания.

— Неужели же это возможно! Мать! Мать! — хрипло проговорил он наконец.

— Подлинный манифест, писанный и подписанный ею собственноручно. Именно для того, чтобы не было ни у кого сомнений. Верите ли вы теперь, монсеньор?

Глаза Павла дико блуждали...

— Безумен... Заточенье... Шлиссельбург... Сын Александр...

— Монсеньор, успокойтесь, — медленно и властно произнес рыцарь креста.

При звуках его голоса Павел очнулся. Он провел рукой по лицу. Глаза его приняли невыразимо скорбное выражение.

— Мать! — почти со стоном произнес он. — Ужели мало этих лет? Отца?.. Нет, нет, — торопливо прервал он себя, — я не буду осуждать... Как вы достали это?

— Я не могу ответить на ваш вопрос, монсеньор; могу только сказать, что эта бумага будет к возвращению императрицы на своем месте. Ее уничтожение ускорило бы наше падение. На этой бумаге не выставлено только число. На случай неожиданной смерти существует еще завещание, которое должно быть опубликовано в день смерти. Вы видите, монсеньор, что мы действительно можем помочь вам. И за ваше покровительство мы ручаемся, что эта бумага будет в ваших руках, ни в чьих иных; и мы примем все меры, чтобы этот манифест не был опубликован при жизни императрицы, а завещание — после ее смерти. Еще одно хочу сказать я, монсеньор: подумайте, чем грозит союз с Австрией и Англией против Франции. Монсеньор, вашему характеру отвечает рыцарски великодушная французская нация. Французский народ знает чувства вашего высочества. Того же требует и благо Российской Империи. Союз с новой Францией может поделить мир пополам.

— Да, да, — прервал его Павел, — союз с Францией нужен России.

— А между тем, — продолжал Сент-Круа, — лорд Вит-

ворт, английский посол при вашем дворе, составил проект тройственного союза России, Англии и Австрии и все против Франции. Уже сделано распоряжение о сформировании армии для действий против Франции; ваш флот готов. На днях этот договор будет подписан. Можно ли допустить это? А теперь, монсеньор, еще одно, последнее, слово, — продолжал он, — если вы не хотите видеть больше бедствий России теперь и грозящих ей еще в будущем, вам надо закрепить наш союз.

Сдвинув брови, Павел молча слушал его.

— И вы должны в торжественном нашем заседании принять степень мастера и верховного князя.

Бледный Павел отшатнулся.

— Когда же? — тихо спросил он.

Верховный князь Розового Креста склонился к его уху и что-то долго шептал.

Выразительное лицо Павла то краснело, то бледнело.

— От вас зависит ваша судьба и судьба великой Империи, — громко произнес Сент-Круа.

— Я согласен, — отрывисто и резко ответил Павел.

Сент-Круа низко поклонился.

— Значит, — сказал он, надевая маску, — мы еще увидимся с вами, монсеньор. Вопрос решен.

Павел хотел что-то сказать, но астролог уже скрылся. Цесаревич сел и глубоко задумался. Двое рыцарей из своей засады видели, как тихо шевелились его губы. Но вот он вскочил и тихо засмеялся.

— Шлиссельбург... Шлиссельбург... — громко произнес он. — Посмотрим...

Его лицо приняло суровое выражение и, тяжело стуча ботфортами и гремя шпорами, он вышел из фонаря.

VI

Когда затих шум его шагов, рыцари-двойники вышли из своей засады.

Александр Юрьич был спокоен. По-видимому, подслушанный разговор давал ему какую-то разгадку.

Напротив, князь Арсений был очень взволнован. Как почти все молодое дворянство того времени, он обожал императрицу, такую ласковую, такую снисходительную к ним; напротив, суровая Гатчина пугала избалованную молодежь.

— Что же делать? — взволнованно спросил он, обращаясь к Бахтееву. — Предупредить императрицу?

Бахтеев пожал плечами.

— О чем? О том, что смерть стоит у нее за плечами? На это у нее есть свои медики.

— Но бумага... — начал Шастунов.

— Один намек на эту бумагу — и вы будете в Шлиссельбурге, предварительно побывав в Тайной канцелярии, — ответил Бахтеев.

— Но что же делать? — снова повторил Шастунов.

— Что делать? Да ничего. Случай позволил нам узнать государственную тайну. Что мы можем сделать из нее?

Шастунов опустил голову. Он чувствовал, что его двойник прав. Через минуту он поднял голову.

— Князь, — начал он, — я обещался вам помогать и, конечно, сдержу свое обещание, но я хотел бы спросить у вас кое о чем...

— О чем же?

— Во-первых, кто этот астролог или маг, этот похититель бумаг?

— Будьте осторожнее, — сурово возразил Бахтеев. — Это один из могущественнейших людей нашего времени. Здесь, при нашем дворе, он известен под именем шевалье де Сент-Круа. Это один из древнейших родов Франции. Вы сами слышали или, наверное, поняли, что он стоит во главе широкой организации...

— Масонов? — спросил Шастунов.

— Это все равно, масоны — те же рыцари Кадоша, Розового Креста, Розенкрейцеры, — это не делает разницы. Вы слишком много узнали сегодня, — закончил князь Бахтеев, — но...

— Но вы можете мне верить, — горячо воскликнул Шастунов и протянул руку своему собеседнику. — Можете рассчитывать на меня.

— Благодарю вас, я верю вам, — серьезно ответил Бахтеев, крепко пожимая протянутую руку. — Я еще сегодня рассчитываю на вашу помощь.

— Я уже обещал вам, — коротко ответил Шастунов.

Они вышли в залу в ту минуту, когда танцы уже прекратились и все гости направлялись в столовую к роскошно сервированным столам. Впереди шла императрица, опять под руку с князем Никитой.

Все уже сняли маски. Юный Александр шел под руку с Варенькой, одетой турчанкой.

Шастунов с любопытством искал в толпе шевалье, но его нигде не было видно.

Со своего места императрица тоже, видимо, кого-то искала глазами. Наконец она обернулась к стоявшему за ее креслом Бахтееву.

— А где же астролог? — спросила она. — Кто этот современный Нострадамус?

— Это шевалье де Сент-Круа, ваше величество, — ответил Бахтеев, — но его уже нет, к сожалению.

— А, — произнесла Екатерина, — эмигрант?

Павел казался расстроенным; он был очень бледен, хмурил брови, кусал губы и пофыркивал носом.

Екатерина не любила засиживаться за едой, и потому, несмотря на обилие и изысканность раннего ужина, он не затянулся. Впрочем, сама императрица не любила никаких изысканных блюд.

После ужина государыня, со свойственной ей ласковостью, говорила с гостями, обласкала красавицу княжну Бахтееву, никого не обошла своим вниманием и вскоре уехала; за ней последовали и цесаревич с сыном.

После ее отъезда бал продолжался с новым оживлением, и гости знали, что до второго ужина, то есть до рассвета, князь их не выпустит.

Гости, уже узнавшие друг друга под маскарадными костюмами, по большей части в перерывах между танцами

уходили парами, отыскивая укромные уголки в бесконечных анфиладах бахтеевского дворца, почти все комнаты которого были превращены в цветущие беседки, голубые гроты, среди которых, причудливо освещенные цветными огнями, били фонтаны. В большом зимнем саду гости могли рвать прямо с деревьев апельсины и персики, на свободе летали канарейки, благоухали редкие цветы...

Этот праздник по сказочности обстановки сравнивали со знаменитым потемкинским праздником в Таврическом дворце, когда великолепный князь Тавриды приехал после победоносной войны. Последний его праздник, после которого, так и не «вырвав большого зуба», он уехал, томимый мрачными предчувствиями, — уехал, чтобы умереть в глухой степи...

Под темными кипарисами, в углу сада, сидел молодой князь Бахтеев. Он то и дело посматривал на часы. Его новый друг Шастунов покинул его после ужина для прекрасной турчанки.

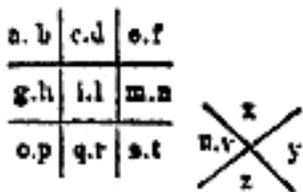
Князь вынул из кармана так взволновавшую его записку и задумался.

Эта записка, повергшая в такое недоумение князя Шастунова, была написана масонским шифром, долго бывшим тайной, доступной только избранным*.

— Полночь... Монсеньор... — прошептал он.

Он передернул плечами и нетерпеливо встал.

* Масонская азбука сохраняет угловатость первобытных письмен. Вот она:



Буква а пишется , тот же знак с точкой  обозначает b, знак  обозначает с, с точкой  — d и т. д. Любопытный читатель может легко дешифровать приведенную в рассказе записку.

Он пошел искать князя Шастунова. Ему посчастливилось найти князя Арсения Кирилловича в то время, когда Варенька с дамами ушла на свою половину.

— Князь, — сказал Бахтеев, — вы обещали мне помощь. Обращаюсь к вашему великодушию. Готовы ли вы?

Хотя Шастунов ожидал свою очаровательную турчанку и рассчитывал провести вместе с ней сегодня время, он, не колеблясь, ответил: :

— Я готов.

Бахтеев отвел его в сторону и торопливо начал:

— Сегодня в полночь будет важное собрание... Дело идет о будущем Русской империи...

— Я слышал, — кивнул головой Шастунов. — Я знаю, о чем вы говорите.

— Не все, — ответил Бахтеев, — вот что самое важное. На этом собрании будет присутствовать цесаревич...

— Цесаревич! — взволнованно воскликнул Шастунов.

— Тсс... — прервал его Бахтеев, — да, он будет.

— Что же я должен делать? — спросил Шастунов.

— Вы будете охранять особу его высочества, — ответил Бахтеев. У него много врагов. Вы проводите его до Гатчины после собрания.

Несколько мгновений Шастунов колебался.

— Скажите мне, князь, на честное слово, — твердо произнес он наконец, — это не против императрицы?

— Нет, — задумчиво ответил Бахтеев, — нет. Круг ее судьбы завершился. Никакая человеческая сила не спасет ее от реющей над ней смерти. Дело идет о будущности империи.

— Тогда я ваш, — ответил Шастунов.

Бахтеев взглянул на часы.

— Пора. Едем.

С легком вздохом последовал за ним Шастунов. Он думал о прекрасной турчанке.

VII

Несмотря на то, что было только начало ноября, снег уже выпал и стоял легкий мороз.

Легкие санки князя Бахтеева, запряженные кровным рысаком, купленным за пятьсот золотых из московских конюшен князя Алексея Орлова, понеслись по Невской перспективе, свернули на Фонтанку, миновали дом Державина и соседний с ним дом Гарновского, фаворита Потемкина, и остановились у большого сада, в глубине которого стоял барский дом, в деревне Калинкиной, там, где теперь Калининский мост.

Кругом было тихо. Вокруг ни души.

Бахтеев выскочил из саней, за ним Шастунов. Шепнув что-то кучеру, Бахтеев торопливо направился к калитке у ворот.

У калитки висел небольшой металлический щит в форме треугольника, и при нем бронзовый молоток.

Бахтеев дважды сильно ударил молотком по щиту. Через несколько мгновений со двора послышался недовольный голос:

— Кто там? Хозяев нет дома.

— Свет с востока, брат, — коротко ответил князь.

Сейчас же послышался шум отодвигаемого засова, затем щелканье замка, и калитка отворилось.

Бахтеев и Шастунов переступили ее порог.

Бахтеев, видимо, хорошо знал это место.

Он прямо и уверенно направился по широкой аллее, повернул в глубокой тьме направо, потом налево и через несколько минут очутился у маленькой двери бокового флигеля. Он ударил в эту дверь несколько раз с неровными промежутками, и дверь распахнулась, открывая длинный, узкий, слабо освещенный коридор. Коридор кончался небольшой комнатой, из которой вели три двери.

Бахтеев остановился.

— Князь, — начал он, — в последний раз спрашиваю вас: остаетесь ли вы при своем намерении помочь мне? Я со

своей стороны даю вам слово, что ваша помощь нужна только для безопасности цесаревича. Если вы колеблетесь, вы свободны уйти. Когда начнется заседание, будет поздно. Судьба остановила свой выбор на вас.

Взволнованный необычайным приключением, чувствуя непонятное доверие к Бахтееву, Шастунов ответил:

— Князь, я не беру назад своего слова.

— Вы не раскаетесь, — горячо ответил Бахтеев. — Пока вы должны оставаться в этой комнате. Но... тсс!.. Пора... Прощайте... Ждите...

В воздухе резко прозвучал гонг. Все стихло. Князь Шастунов остался один. Тяжелое раздумье овладело им. Он почувствовал себя в положении человека, вовлеченного в разговор, цели и путей которого он не знал. Он сам удивлялся себе, как мог он так легко дать увлечь себя. Он знал отношение императрицы к масонам, знал, что, если его участие в предприятии масонов дойдет до нее, то не только его карьера погибнет навсегда, но ему грозит еще жестокая кара.

Императрица не знала жалости, если подозревала кого-нибудь в посягательстве на ее высокие права. А масонов она именно считала врагами царей и престолов.

Но, с другой стороны, Шастунова успокаивала мысль, что сам цесаревич не видел в масонах преступников и согласился приехать к ним. И хотя, как и большинство гвардейской молодежи, он относился несколько неприязненно к великому князю, тем не менее он не мог не отдать должного врожденному благородству Павла, прямоте его характера, неспособного на низость, хотя необузданного и часто увлекающего цесаревича на жестокость или несправедливость.

Кроме всего, молодой Шастунов был честолюбив, и в глубине его души жила глубокая вера в слова рыцаря Кадоша, что дни императрицы сочтены. И потому — оказать теперь услугу завтрашнему императору не значило ли сделать блестящую карьеру? Эта последняя мысль смутно шевелилась в нем. В напряженном состоянии своей души он не замечал времени. Было жутко и тоскливо в уныло освещенной четырехугольной комнате. По стенам стояли ска-

мы, в углу высокое кресло, посредине что-то вроде аналоя. Трудно было в мертвой, удручающей тишине подслушать полет времени. Часы могли казаться минутами и минуты часами. Шастунов ходил взад и вперед. Наконец тревожное ожидание чего-то до такой степени напрягло его нервы, что он не мог более переносить одиночества. Он подошел к одной из дверей, — заперта. К другой, — тоже. К третьей, — она свободно открылась от толчка: это была та дверь, через которую поспешно скрылся от него Бахтеев.

Шастунов шагнул за порог и очутился в темном коридоре. Где-то далеко перед ним мерцал слабый свет. Не раздумывая, он двинулся вперед. Свет, оказывается, выходил из небольшого четырехугольного отверстия в стене коридора. Отверстие было значительно выше головы князя, но вдоль стены тянулся широкий плинтус, закругленный внизу и плоский сверху, довольно высокий, похожий на длинную ступень, хотя узкую.

Князь стал на него носками, уперся руками в раму отверстия и заглянул в него.

Он едва удержал готовый вырваться у него крик...

VIII

Большая четырехугольная комната была слабо освещена желтыми восковыми свечами. Вся она была задрапирована черным сукном, и на нем по стенам изображены были мертвые головы, скелеты и скрещенные кости. На восточной стороне комнаты, на возвышении под балдахином, стояло кресло, на нем сидел человек, одетый во все черное, в широком голубом поясе, на котором были изображены солнце, луна и семь звезд.

Перед ним, у подножия возвышения, на аналое лежала раскрытая книга, и свет на нее падал из глазных впадин черепа, поставленного тут же, и этот мертвый свет озарял еще гроб с лежащим в нем мертвецом. Пламя в черепе колебалось и неровными полосами освещало лицо мертвеца,

и казалось, что череп смотрит своими мертвыми глазами во все стороны. На гробе лежала ветка акации, в головах наугольник, к востоку открытый циркуль.

Князь не сразу заметил по темным углам мрачные фигуры, одетые так же, как человек, сидящий на троне. Их было много. Но в неровном свете желтых свечей, в темных углах, князь не мог их сосчитать. Он не мог и рассмотреть их лиц, полуприкрытых капюшонами.

В собрании царило торжественное молчание. От незримого дуновения ветра колебалось желтое пламя свечей, и под его причудливой игрой лицо мертвеца словно оживало мгновениями. Князь Шастунов пристально вглядывался в это лицо и вдруг снова едва не вскрикнул и не упал, узнав в этом мертвом лице недавно полное жизни и силы лицо князя Бахтеева.

Он готов был одно мгновение выхватить шпагу и броситься в эту таинственную и мрачную храмину... Но опомнился. Прежде всего, он не знал, как в нее проникнуть, а потом, что мог он сделать в этом чужом доме, один...

Шастунов был смел. Он понял одно: что его минутный приятель погиб жертвой ошибки или предательства, что такая же участь грозит и ему, и решил не даром отдать свою жизнь. Упорно, как загипнотизированный, продолжал он смотреть. Было что-то страшное в этом молчании перед черным гробом, в тусклом мерцании желтых свечей. И вот среди этой тишины чей-то голос, раздавшийся словно издалека, глухой и зловещий, произнес:

— Убийцу Хирама ведут.

В храмине произошло легкое движение, и снова все застыли в неподвижной позе.

В ту же минуту раскрылись двери, и в сопровождении двоих, одетых, как и все остальные, в храмину вступил человек. Грудь, руки и колени были у него обнажены. Башмаки не были застегнуты. Как будто он, торопясь, как попало всунул в них ноги, попав одними носками, не успев заправить пяток.

При его входе все встали. Человек, сидящий на троне, протянул ему руку и властно произнес:

— Остановись!

Пришедший остановился, едва перейдя порог. Напрасно Шастунов напрягал зрение — он не мог рассмотреть его лица.

— Ты видишь, брат, — снова раздался голос председателя, — мы в скорби и слезах, мы оплакиваем смерть великого мастера, строителя храма Соломонова — Хирама... Мы ищем его убийц. Не ты ли поднял на него руку?

— Я не убивал Хирама, я неповинен в этом преступлении. Вместе с вами я оплакиваю смерть великого мастера, — отвечал твердым голосом новопривывший, и князь Шастунов вздрогнул, узнав голос великого князя Павла Петровича.

— Тогда, — продолжал председатель, — если ты невинен, займи его место, — и он указал рукой на гроб.

К удивлению Шастунова, гроб был пуст...

Великий князь сделал шаг по направлению к гробу.

— Постой, — снова произнес председатель. — Знаешь ли ты, кто был Хирам?

— Великий мастер, унесший с собою в могилу «слово», — последовал ответ.

— Выслушай же его историю! — торжественно начал председатель. — Готов ли ты?

— Я готов, — ответил Павел.

— Так слушай же, — и среди напряженной тишины снова зазвучал голос председателя. — Был великий мастер Хирам. Он воздвиг храм Соломона. Он воздвиг трон его из чеканного золота и украсил Иерусалим пышными зданиями. И люди ходили около них и смотрели на вид и восторгались в душе своей. Но не любили его люди и не понимали его, потому что он был велик и знал тайны неба и земли. И был он печален и одинок, и не много было у него друзей и учеников. И сам Соломон в славе своей дивился и завидовал ему, ибо от края и до края земли говорили люди: «Великолепен храм Соломона. Мудр и богат Соломон, но храм воздвиг Хирам». И, дивуясь на храм Соломонов, говорили люди: «Как дивен строитель Хирам!»

И дошла слава царя Соломона до пределов земли, до самой царицы Савской — Балкис. И поехала Балкис, царица Савская, в Иерусалим приветствовать великого царя и посмотреть на чудеса его царствования. И принял ее Соломон со всей великолепной пышностью своей.

И нашла она Соломона сидящим на троне из позолоченного кедрового дерева, и приняла его за статую из золота, с руками из слоновой кости.

И показал ей царь Соломон чудо своего царствования — великий храм Адоная.

И захотела царица увидеть строителя храма сего.

И увидела царица его, и затмилась в ее очах слава Соломонова перед славой великого мастера...

С напряженным вниманием слушал Шастунов эту таинственную легенду.

Председатель помолчал и снова начал:

— И возревновал царь Соломон к славе великого мастера Хирама. И подготовил он гибель его.

И выбрал трех подмастерьев его, завидующих ему, тех, кого Хирам не захотел сделать мастерами: каменщика Фанора — сирийца, плотника Амру — финикийца и рудокопа Мафусаила — еврея. Наступил час, когда слава Хирама должна была вознестись до звезд. В этот день расплавленная огнем медь должна была влиться в дивные формы, созданные Хирамом.

Но три подмастерья испортили двери, сдерживающие медное море. И двери растворились преждевременно и сразу, и медное море перелилось через края форм и огненным потоком понеслось неудержимо вперед.

Хирам поднял руку, и встали огромные водяные столбы, и смешались огонь и вода: вода поднималась густым паром и падала в виде огненного дождя, распространяя ужас и смерть. И окруженный огненным морем Хирам искал и ждал смерти.

И вдруг услышал он чудный зов сверху: «Хирам! Хирам! Хирам!» Он поднял глаза и увидел гигантскую человеческую фигуру. Голос продолжал: «Иди, мой сын, не бойся. Я сделал тебя неуязвимым. Бросься в пламя». И, покорный

чудному зову, Хирам бросился в огненное море.

«Куда ты ведешь меня?» — спросил он неведомое существо. — «В центр земли, в душу мира, в царство свободы, в царство великого Каина. Там кончается власть тирана Адонаи. Там жилище отцов твоих, и там ты безбоязненно можешь вкусить от древа познания добра и зла». — «Кто же ты?» — спросил Хирам. — «Я отец твоих отцов, я сын Ламеха, я Тубалкаин». И ввел Тубалкаин Хирама в святилище огня, и открыл ему великое слово, и вдохновил его духом огня на борьбу с Адонаи, и предрек потомству его, поклонникам духа огня, владычество над миром.

И дал ему молоток, которым сам создал дивные работы, и вернул Хирама на землю.

И наутро восстановил Хирам работу свою, и дивился народ тайному могуществу Хирама.

И возревновал Соломон к славе его и велел подмастерьям Фанору, Амру и Мафусаилу убить мастера.

IX

С этими словами председатель сделал рукой знак, и в ту же минуту три человека заняли места у трех дверей.

— Хирам вошел в храм в полдень, — продолжал он, — а убийцы стали у дверей восточной, западной и южной и потребовали, чтобы Хирам открыл им слово мастера. Хирам отказался и пошел к восточным дверям...

При этих словах великий князь сделал движение и порывисто подошел к восточным дверям.

— Тогда, — продолжал председатель, — Фавор, стоявший у этих дверей, ударил Хирама правилом в двадцать четыре дюйма...

В то же мгновение человек, стоявший у восточных дверей, высоко поднял руку и опустил ее на Павла.

— Тогда Хирам, — звучал голос председателя, — бросился к южным дверям...

Великий князь был уже у южных дверей.

— Там Амру нанес ему такой же удар...

Павел отшатнулся.

— Хирам бросился к западным дверям, но тут Мафусаил нанес ему последний удар молотком...

Человек, стоявший у западных дверей, поднял руку, вооруженную молотком, и опустил ее.

Павел пошатнулся. Его поддержали.

— И умер Хирам, — как во сне слышал Шастунов, — и положили во гроб его...

Молчаливые фигуры подняли неподвижное тело Павла и положили в гроб.

— И вынесли его в западные двери, и над могилою его воткнули ветку акации...

Председатель сошел со своего места, приблизился к недвижно лежащему в гробу Павлу и вложил в его руку ветку акации, поданную ему одним из присутствующих.

— Народ волновался отсутствием Хирама, и Соломон в угоду толпе отправил двенадцать надежных подмастерьев искать его, и отправил он троих к югу, троих к северу, троих к востоку и троих к западу.

И устали идущие к западу и сели отдохнуть на пригорке, и один из них увидел ветку акации и взял ее, и она легко отделилась от земли и осталась в руках его, и подумали они, что почва здесь недавно взрыта, и стали копать ее, и откопали тело Хирама.

Оно уже разложилось, так как лежало в земле четырнадцать дней, и один из подмастерьев воскликнул: «Макбенак», что значит: «мясо сошло с костей».

И стало это слово словом мастера, так как решили они первое произнесенное слово при открытии тела мастера считать «словом».

Но не могло быть поднято тело Хирама подмастерьями. Нужно было «львиное прикосновение» мастера. И мастер подошел.

Председатель приблизился к гробу, наложил обе руки на голову Павла.

— И сказал мастер: «Макбенак!» и легко поднял тело Хирама.

Великий князь поднялся. В ту же минуту его окружили люди.

Шастунов не мог разглядеть, что делали эти люди. Внезапно полусвет сменился ярким светом.

Это был чудный, странный свет, белый и резкий. Шастунов никогда в жизни не видел ничего подобного. Над тронном, где сидел председатель, засияли звезды. Прямо над его головой загорелся мистический треугольник с какими-то таинственными письменами внутри его. Налево загорелось солнце, направо — месяц. И надо всем, в самом потолке, необычайным блеском засияла звезда.

Увлеченный этим необычайным видом Шастунов едва прршел в себя, когда увидел великого князя, облаченного в просторный голубой плащ, усеянный серебряными звездами.

Председатель сошел со своего места, подошел к Павлу и, низко склоняясь, произнес:

— Верховный князь, займи свое место, — он рукой указал на трон, — и выслушай великую тайну.

Павел стремительно направился к трону. В эту минуту в коридоре послышались шаги.

Шастунов поспешно соскочил с карниза, на котором стоял, и бросился в ту комнату, где был первоначально. Прошло несколько минут, и показался князь Бахтеев. Шастунов сделал вид, что дремал.

— Скучно, князь, а? — спросил Бахтеев. — Вы, кажется, вздремнули?

— Нет, — с улыбкой ответил Шастунов, — я не скучал.

— Ну, тем лучше.

Бахтеев сел рядом с Шастуновым.

— Недолго уже вам томиться, — начал он, — сейчас все кончится.

— Что кончится? — спросил Шастунов.

— Ах, — прервал его Бахтеев, — не будьте очень любопытны, дорогой князь...

— Князь Александр Юрьич, — с достоинством произнес Шастунов, — уже в продолжение трех часов я являюсь игролицем каких-то непонятных тайн. Сперва письмо, потом

случайно подслушанный разговор и, наконец, я здесь, в неведомом загадочном доме. Никогда в жизни я не был в положении куклы. Я обещал вам свое содействие, я верю вам, но все же я хочу знать, какую роль играю я во всей этой истории. Мне кажется, я имею право быть любопытным.

Бахтеев серьезно выслушал Шастунова.

— Вы правы, — начал он, — вы должны звать, что вы делаете и чему помогаете. Я верю вашей чести и сейчас посвящу вас в то, что мы предпринимаем, хотя мне кажется, что после того, что вы слышали, вопрос для вас ясен.

Шастунов молчал.

— Дело заключается в том, что великий князь Павел Петрович на днях будет императором.

Шастунов вскочил с места.

— А почему вы это знаете?

— Вы слышали, — спокойно ответил Бахтеев.

— И вы верите этому? — воскликнул Шастунов.

— Я знаю это, — спокойно ответил Бахтеев.

— Если все, что я слышал, если все это... и смерть... и заветование... и манифест — правда, то... то... — растерянно начал Шастунов.

Протяжный звук гонга прервал его слова.

— Тсс!.. Мы еще увидимся, пора, — поспешно произнес Бахтеев, торопливо поднимаясь с места. — Теперь идите в эту дверь, все прямо... ждите на крыльце.

И с этими словами Бахтеев отпер ему одну из дверей, а сам скрылся в другую.

При слабом свете одинокой лампы Шастунов шел все прямо.

Коридор имел несколько поворотов. Князь вошел в просторную комнату. Перед ним были двери. Он толкнул их и очутился на крыльце. Весь двор перед крыльцом был покрыт снегом. У крыльца стояли парные сани.

Шастунов с недоумением глядел вокруг. Он был как во сне. Офицер Кавалергардского полка, почему-то нелюбимого цесаревичем, проникнутый благоговением к императрице, он очутился вдруг в положении заговорщика. Вокруг него что-то происходило, чего он не мог понять.

Но у него не было много времени раздумывать. На крыльце появились две фигуры, закутанные в плащи.

— Ваш проводник здесь, монсеньор, — произнес по-французски знакомый князю голос Бахтеева.

В ту же минуту князь сделал шаг вперед к закутанной фигуре. Бахтеев скрылся.

Узенькие санки были на одного.

— Стань на запятки! — услышал Шастунов резкий, высокий, повелительный голос.

Ворота широко раскрылись, лошади рванулись и понесли.

Шастунов заметил, что впереди неся верховой.

Ветер со снегом залеплял глаза князю. Ему было неудобно и трудно держаться на запятках.

— Кто ты такой? — послышался голос из-под широкой шинели.

— Кавалергардского ее величества полка поручик Шастунов, — ответил князь, склоняясь вперед.

— Ты оказал мне сегодня услугу, ротмистр, — послышался ответ.

— Поручик, — возразил Шастунов, напрягая голос.

— Очень хорошо, ротмистр, — раздался ответ.

Лошади неслись.

Руки Шастунова окоченели. На полпути стояла подставка. Лошадей перепрягли в одну минуту. Сани понеслись дальше.

Но вот караульные посты Гатчины.

Полосатые будки, масляные фонари. Сани остановились у ворот дворца. Закутанная фигура сбросила свой плащ на сиденье.

Павел вышел из саней.

— Спасибо, полковник, — отрывисто проговорил он, входя в подъезд.

Князь Шастунов остался один.

«Полковник, — тревожно думал он. — Что же это такое? Полковник!»

И долго стоял он в раздумье перед дворцом, пока не вспомнил, что надо подумать о том, как добраться назад,

или где заночевать.

Х

— Нет, граф, что бы вы ни говорили, это надо кончить, — решительно произнесла императрица, ходя взад и вперед по кабинету, нервно засучивая рукава своей кофточки, что служило у нее всегда признаком гневного волнения. — Я не могу, понимаете вы, не могу, не смею рисковать так наследием великого Петра, славой, стоившей неисчислимых жертв, делом долгого моего тридцатипятилетнего царствования; нет, нет, не возражайте мне, сердце матери иногда должно заставить себя замолчать!

Человек, которого она называла графом, и не думал пока возражать. Это был вице-канцлер граф Александр Андреевич Безбородко. Его грузное тело с трудом умещалось на маленькой табуретке, стоявшей у письменного стола императрицы. Сложив на большом животе короткие руки, полузакрыв свои и без того маленькие глазки, он, казалось, дремал.

Императрица продолжала:

— Вся Европа потрясена, колеблются тропы, в опасности алтари. Франция стала врагом королей и Бога. Наш долг раздавить ее... Англия и Вена согласны со мной... А мой сын!.. — воскликнула она. — Но нет, вы сами хорошо знаете его взгляды... А между тем, — понизив голос, продолжала императрица, — ведь не два века мне жить... я уже стара.

Тут впервые Безбородко открыл глаза, лицо его оживилось, и он сделал протестующее движение.

— Ну, ну, — с легкой улыбкой произнесла императрица, — я знаю, что говорю. А затем, — снова нахмурив брови, начала она, — что это за сношения с мальтийским орденом, с масонами! Нет, он безумец. Воля моя непреклонна. Александру уже девятнадцать лет, он не мальчик... Я решила. Теперь я не мать, я — императрица... И я исполню свой долг, хотя бы от этого разорвалось мое сердце... И потом, — с жи-

востью перебила она Безбородко, что-то хотевшего сказать, — разве не видите вы его постоянного тайного раздражения против меня? Разве не видите вы, что его Гатчина в карикатурном виде представляет антитезу моего двора, моих порядков? Нет, я не могу больше терпеть этого. Я решила.

Утомленная императрица опустила на маленькое кресло за столом, против графа. Несколько мгновений длилось молчание.

— Что же вы молчите, граф? — нетерпеливо сказала она наконец.

— Вы запретили возражать, ваше величество, — лениво отозвался Безбородко.

Императрица улыбнулась.

— Я вам разрешаю говорить, мой упрямый хохол.

И лень и апатия исчезли с лица Безбородко. Глаза его засветились мыслью, лицо оживилось.

— В таком случае я должен доложить вам, что, во-первых, великий князь Александр не согласится на это...

По губам императрицы скользнула улыбка. Она насмешливо взглянула из-под очков на графа и произнесла:

— Я вас считала проницательнее, господин дипломат. У этого златокудрого юноши не столь чувствительная душа, как думаете вы и другие... Ну, а во-вторых?

— Во-вторых, — продолжал Безбородко, — на это не согласится цесаревич. Он не уступит своих прав.

Екатерина презрительно рассмеялась и с большой решимостью сказала:

— Завтра будет опубликован манифест. Сегодня вечером я поставлю на нем число: 6-е ноября. Ежели же, — улыбаясь, добавила она, — я сегодня ночью умру, то на этот случай у меня приняты меры. Верные люди знают, как и вы, где хранится моя последняя воля. Дело кончено. А теперь, дорогой граф, расскажите мне о ваших вчерашних переговорах с лордом Витвортом.

Граф Безбородко приступил к докладу.

Все придворные обратили внимание, что императрица в этот день была особенно озабочена.

Некоторые приписывали это якобы дурным известиям, полученным государыней из Закавказья от графа Валерьяна Зубова, где он после покорения Дербента, Баку и Ганжу (нынешний Елизаветполь) угрожал Персии, другие говорили, что лорд Витворт от имени Сент-Джемского кабинета внес какие-то поправки в заключаемый трактат.

К вечеру стали передавать шепотом, что государыня на утро 6-го ноября экстренно вызвала из Гатчины великого князя Александра, что гг. сенаторам предложено собраться завтра в торжественном заседании для выслушания, в присутствии самой императрицы, какого-то чрезвычайного манифеста. Глухо упоминалось имя цесаревича. В воздухе носилось что-то тревожное...



Императрица ушла к себе раньше обычного времени. Ей нездоровилось. Она чувствовала непонятную тяжесть в голове. Ее клонило ко сну. Но сон ее был тревожен. Ей было душно. Среди ночи она вдруг проснулась. Ей ясно слышались в соседней комнате чьи-то легкие шаги.

— Марья Савишна, это ты? — окликнула императрица свою верную камер-фрау Перекусихину.

Никто не отозвался. Подождав несколько мгновений, Екатерина, во своем обычае не желая никого тревожить, зажгла свечу, надела горностаевые туфли и вышла в соседнюю комнату, где был ее малый рабочий кабинет.

Она остановилась на пороге и внимательно оглядела всю комнату. В комнате не было никого.

На столе в том же порядке лежали бумаги, стоял ларец с секретными документами, ключ от которого один всегда был при ней, а другой у князя Зубова, как говорила она, на случай ее неожиданной смерти.

Она вернулась и снова легла. Но ее шаги и оклик все же услышала спавшая у других дверей спальни Марья Са-

вишна. Она вошла.

— Ничего, ничего, Марья Савишна, — ласково отозвалась императрица на ее вопрос. — Спи спокойно, мне почудилось.

Марья Савишна, перекрестив императрицу, ушла к себе.

Настала тишина.

В полосе лунного света в малом кабинете появилась на миг темная фигура...

XI

6-го ноября, ранним утром, когда еще деревья серебрились инеем в морозном воздухе и чуть брезжил свет začínającego дня, великий князь Павел был уже на ногах и прошел в парк в свою любимую беседку.

Там, среди густо окружавших ее дубов, он любил предаваться своим мыслям.

Все было тихо кругом. Он был один.

Тяжелые подозрения томили его. За долгое время царствования своей матери он привык никому не верить и всех подозревать.

Лишенный широкой деятельности, отстраненный от всякого участия в управлении государством, хотя и наследник, он предавался своим одиноким думам и составлял несбыточные, полубезумные планы. В своем вынужденном уединении он часто обращался мыслью к своему отцу, и мало-помалу всю нежность своего сыновнего сердца перенес на него. Он не знал ласки матери... И в его глазах отец его был жертвой, хотя мог бы быть героем. Он боялся участи отца, и разоблачения Сент-Круа доказали ему, что его предчувствия справедливы.

В это утро он был в особенно нервном настроении. Было несомненно, что опасность надвигается, что она уже близка. Ему грозила участь отца.

Что иное могло значить — вызов Александра, чрезвычайное собрание Сената?

Тусклым взором оглянул он низенькие домики казарм, где помещались его верные голштинцы, и болезненная, грустная улыбка скользнула по его губам.

Он представил себе несметные полчища победоносных войск, обожавших его мать.

— Потешное войско, — с горечью произнес он, — забава. Дитя неразумное в сорок лет. Безумец... Шлиссельбург...

Время летело незаметно. Уже давно проиграли утреннюю зарю. Забили барабаны. С напудренными косами, вытягивая по-журавлиному ноги, задыхаясь в узких, высоких воротниках, уже давно в экзерциргаузе парадировали его верные голштинцы, удивляясь тому, что «их» великий князь не присутствует на учении.

А великий князь, словно ожидая чего-то рокового с минуты на минуту, все быстрее и быстрее ходил из угла в угол в своей беседке.

Ученье приходило к концу. Павел остановился на пороге и стал напряженно всматриваться в даль, на прямую, длинную дорогу, откуда он мог ждать всего...

Вдруг сердце его сильно забилося. Он увидел на белой дороге темную движущуюся массу, словно толпу. Все ближе, ближе... Нет, это не толпа. Это бешено несущаяся коляска четверней, окруженная небольшим конвоем.

В коляске кто-то в форме... Вот шлагбаум сразу поднялся перед ними, не задерживая их стремительной скачки.

Что это? Человек в коляске что-то кричит; часовые у ворот берут на караул.

— Предатели! — хотел крикнуть великий князь, но словно оцепенение охватило его. Он замер на пороге беседки.

Ворота распахнулись. Коляска на миг приостановилась. Сидящий в ней что-то спросил у часовых. Они указали на беседку. Лошади рванули и через несколько мгновений, тяжело храпя, остановились около нее. Конные спешили.

Из коляски в одном мундире выпрыгнул молодой генерал, и великий князь отшатнулся, узнав в нем ненавистного Зубова.

В одно мгновение Павел отскочил в дальний угол и, обнажив шпагу, с налившимися кровью глазами, весь дро-

жа, готовился встретить нежданного посетителя.

Как вихрь, пронеслись в его голове мысли:

«Манифест. Шлиссельбург... Отец... Нет, лучше смерть, их мало, мои голштинцы меня не выдадут... Я повешу его здесь же, на любом дереве...»

Зубов перешагнул порог. Увидев искаженное бешеным лицом Павла, он словно оробел и беспомощно обернулся назад, как будто ожидая себе поддержки.

— А! — хриплым голосом закричал Павел, поднимая шпагу. — Вы не возьмете меня живым! Я убью вас, сударь, слышите, убью! Но вам не удастся лишить меня моих природных прав! Вы не увезете меня в Шлиссельбург... Я обращусь в войску... к народу... — Он задышался от бешенства. — Я сам издам манифест и в нем я скажу... — снова начал он и вдруг замолчал, пораженный представившимся ему зрелищем.

Вчерашний «полудержавный властелин», надменный и дерзкий Зубов стоял на коленях, умоляюще протягивая к нему руки. По его красивому, искаженному теперь страхом или горем лицу неудержимо текли слезы, губы дрожали...

Гнев Павла сразу упал и сменился глубоким удивлением.

Молчание длилось долго. Наконец Зубов, все не вставая с колев, прерывающимся голосом произнес:

— Государь, ваше величество...

Павел протянул вперед руки и потом закрыл ими свое горящее лицо...

Переход от ожидаемого Шлиссельбурга к трону был слишком резок. Павел молчал.

Некоторые полагают, что в эту роковую минуту окончательно было нарушено равновесие его души, что в эту минуту им овладело безумие, оставившее следы на всем его недолгом царствовании.

— Ваше величество, — прервал молчание Зубов, — сегодня в семь часов утра великой Екатерины не стало, — и, не в силах сдержать своего искреннего отчаяния, он громко зарыдал.

Да, его отчаяние было несомненно искренно. Со смертью императрицы он терял все; кроме того, он имел осно-

вания бояться за свою дальнейшую судьбу.

Павел порывисто подошел к нему и вложил шпагу в ножны.

— Встаньте, сударь, — произнес он, протягивая ему руку.

Шатаясь, Зубов встал.

— А манифест? А завещание? — быстро спросил Павел.

— Их нет, ваше величество, — ответил Зубов. — Шкапулка оказалась пуста, вот ключ от нее.

С этими словами он протянул императору небольшой золотой ключик.

Павел машинально спрятал его карман.

— По-видимому, императрица, — продолжал несколько ободрившийся Зубов, — уничтожила эти акты по чувству врожденной ей справедливости.

Павел быстро взглянул на него, ничего не сказал.

— Как она умерла? — спросил он.

И Зубов, все еще волнуясь, рассказал, как умерла императрица. Она встала, как всегда, потом прошла в уборную и долго оттуда не выходила. Перекусихина, встревоженная этим, хотела войти, но что-то мешало отворить дверь.

Тут голос Зубова прервался.

— И это оказалось тело императрицы, — с рыданием закончил он. — Она умерла от удара. Она еще дышала, когда прибыл лейб-медик и он... Но ничего нельзя было сделать...

Сосредоточенный и угрюмый, слушал Павел взволнованный рассказ Зубова. Потом вдруг он произнес:

— Я не имею зла на вас, сударь. Все останется по-прежнему. Назначаю вас инспектором артиллерии.

Зубов снова упал на колени и поцеловал руку императора.

— А теперь — во дворец! — произнес Павел.

Известие о смерти императрицы уже распространилось по Гатчине.

Едва Зубов, по приказанию императора, распорядился подать экипаж, как, взволнованная и бледная, прибежала императрица с маленьким Константином. Император приказал собираться и ей. Через четверть часа экипажи уже мчались по петербургской дороге.

ХII

Невообразимая тревога царила во дворце. Всех, как громом, поразила весть о смерти императрицы. Крепкая и сильная, несмотря на свои шестьдесят семь лет, она сумела соединить в одной себе, за время своего тридцатишестилетнего царствования, всю власть, все вождедения народа; но мысль, привычная идти одним путем, останавливалась, как с разбега, перед фактом ее смерти, оставляющей за собой страшную пустоту. Весь уклад общественной жизни, особенно военной, вдруг подвергался страшной ломке, так как всем были известны антагонизм и крайнее различие взглядов между матерью и сыном, теперешним императором. Буквально все население столицы было охвачено паникой, особенно люди, близкие ко двору...

Они ждали опалы и чуть не казни.

Среди растерявшейся толпы цесаревич быстрыми шагами прошел к телу матери. Труп Екатерины положили на широкую кушетку в ее кабинете. Правая рука свесилась, лицо было спокойно и строго тем величием смерти, которое кладет она на чело избранных.

Павел молча опустился на колени перед этим трупом, еще накануне одушевленным великой волей, потрясавшей миром.

Близ него стояли Безбородко, Зубов, находившийся в полубессознательном состоянии, и прискакавшие следом за Павлом из Гатчины его любимцы Кутайсов и Аракчеев.

Стоя на коленях, низко опустив голову, прильнув губами к холодной руке императрицы, словно застыл в своей скорбной позе юный Александр.

— Ваше величество, — прошептал Безбородко, — надо немедленно подписать манифест.

Император вздрогнул и быстро поднялся с колен.

— Да, да, — торопливо ответил он, — пойдете.

Они вышли в большой приемный кабинет.

Безбородко разложил на столе текст манифеста.

— Не правда ли, граф, — вдруг произнес Павел, — какая по воле Божьей перемена. Ведь это не тот манифест?

И, быстро проглядев манифест, возвещавший его вступление на престол, Павел подписал его.

— Это именно тот манифест, — с едва заметной улыбкой произнес Безбородко, — тот, который нужен для блага Российской Империи.

Павел молча вышел.

В это время прибыл почетный караул от Кавалергардского полка, под командой князя Шастунова.

Император узнал его.

— А, полковник, здравствуй! — громко приветствовал он молодого поручика.

Князь Шастунов вспыхнул от удовольствия и отсалютовал государю шпагой.

Бесконечной вереницей тянулись придворные отдать последний долг праху императрицы.

Утомленный император прошел в библиотеку.

Все случившееся так сильно подействовало на него, что он чувствовал потребность в одиночестве.

Но его одиночество было скоро нарушено.

Тяжелые портьеры раздвинулись, и перед императором появилась стройная фигура шевалье де Сент-Круа.

— В тяжелую для вашего величества минуту я решаюсь предстать пред вами, — начал он с глубоким поклоном, быстро очерчивая в то же время в воздухе правой рукой мистический треугольник.

— Вы! Чего хотите вы? — отрывисто спросил Павел.

— Исполнить обещание, — с достоинством ответил Сент-Круа. — Вот, ваше величество, манифест, а вот завещание.

Страшно побледневший Павел протянул руку. Сент-Круа почтительно подал ему документы.

— Это дань признательности великому рыцарю Кадоша, — низко опуская голову, произнес он.

Император жадно проглядел бумаги.

— Опять! — воскликнул он. — Опять они в ваших руках. Как вы достали их?

— Их достали, — ответил Сент-Круа, — сегодня ночью; мы торопились, боясь за жизнь императрицы... Императрица открыла пропажу рано утром, и это ее так поразило, что она...

— Замолчите, замолчите, довольно... — испуленным голосом закричал Павел, — я не хочу ничего знать...

Рыцарь Кадоша низко поклонился и медленно и твердо проговорил:

— Мы исполнили свои обещания, ваше величество. Очередь за вами. Если же нет — наступит наш черед. — В его голосе послышалась угроза. — Какой мерой измерится, той же и отмерится, — закончил он.

И с этими словами шевалье де Сент-Круа, отдав глубокий придворный поклон императору, вышел из комнаты...

Владимир Мазуркевич

ЛОЖА ПРАВОЙ ПИРАМИДЫ



ЛОЖА ПРАВОЙ ПИРАМИДЫ.

рассказ В.А.Мазуркевича.

— Есть многое, Горацио, на свете,
Что и не снилось нашим мудрецам.

Шекспир. «Гамлет» 1.5.

I

...Тревожно задребезжал звонок настольного телефона, точно передавал волнение того, кто требовал соединения. Я быстро подошел к аппарату и услышал взволнованный голос дяди:

— Виктор, это ты?

— Я, дядя... В чем дело?

— Ради Бога, приезжай ко мне... Это необходимо... Ты мне нужен до зарезу...

Стояла поздняя осень. Дождь лил, как из ведра, и перспектива тащиться к дяде на другой конец города мне вовсе не улыбалась.

— Нельзя ли отложить до завтра? — попробовал я увильнуть от неприятного путешествия.

— Невозможно... Не теряй времени на разговоры. Каждая минута дорога... Бросай все и приезжай, прошу тебя! — прозвучал в трубку нетерпеливый ответ.

Делать было нечего, и я, в душе поругивая дядю, собрался в путь. Приглашение было настолько категорично, и в то же время в нем звучала такая затаенная мольба, что у меня положительно не хватало духу отказать дяде. С дядей

я был в самых лучших дружеских отношениях и глубоко ценил его образование, житейский опыт и доброе сердце; огорчать его мне совсем не хотелось, тем более что, как я знал, дядя, по свойственной ему щепетильности, никогда не решился бы тревожить меня без достаточных оснований.

Впрочем, на оригинальной фигуре моего дяди стоит остановиться несколько подробнее.

Великолепно образованный, воспитанный, принадлежащий по своему происхождению к лучшему обществу, он тем по менее являлся каким-то черным пятном — *enfant terrible* — всего нашего чопорного великосветского семейства. Непоседливый характер, непостоянство, излишняя впечатлительность прямо-таки выбивали его из рамок уклада и взглядов того общества, в котором ему приходилось вращаться.

Родители наметили ему дипломатическую карьеру, но после одного совершенно недипломатического столкновения с представителем «дружественной державы» стало ясно, что дальнейшая служебная карьера дяди в области дипломатии окончена. Он перешел куда-то в другое ведомство; но и там недоразумение с начальством явилось печальным предвестником его грядущих служебных преуспеваний. Несмотря на протесты родни, дядя махнул рукой на службу, подал в отставку и переехал к себе, в великолепное имение в одной из лучших губерний южной России. Родственники, традиционные «служилые» дворяне, смотрели на все это весьма косо; они вовсе не принимали во внимание того, что во всех историях и столкновениях принципиально прав бывал дядя; да иначе и быть не могло, — слишком уж честна и справедлива была его натура — нет, родственники считались только с фактами, — помилуйте! испортил себе карьеру, повздорил с начальством! ясное дело—«заблудшая овца»! «И в кого это он такой», — со вздохом говорили великосветские тетушки и в конце концов совершенно отказались от своего блудного племянника.

Положим, надо отдать справедливость дяде, неблагоприятие тетушек его не особенно огорчало. Он засел в деревне и только изредка подавал признаки жизни, присылая

поздравления в высокаторжественные семейные праздники, затем вдруг куда-то исчез. И я начал получать от него письма со штемпелями Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Калькутты, Александрии и других местностей, находящихся на самых противоположных концах земного шара. Следует сказать, что я пользовался особым расположением дяди; во-первых — как сын его любимой сестры, а во-вторых — как подобный ему выродок семьи, который всяким чиновным отличиям и преимуществам предпочел свободную профессию журналиста и литератора.

В письмах дядя очень увлекательно рассказывал о своих приключениях, описывал всевозможные достопримечательности, но лично о себе, о своих планах, надеждах и душевных переживаниях говорил как-то мало — даже, пожалуй, чересчур мало, так что получалось впечатление, будто он нарочно что-то замалчивает.

Так прошло десять лет.

Вдруг, совершенно неожиданно, дядя вернулся; сделал официальные визиты родственникам и поселился где-то на окраине нашего города, заняв очень уютный, но в то же время и уединенный особнячок. Жил он весьма замкнуто, никого не принимал к себе и сам почти никуда не показывался. Единственным, но и то весьма редким, его гостем был ваш покорнейший слуга.

Надо признаться, за десять лет странствий в дяде произошла большая перемена. Из общительного веселого человека он превратился в скрытного, задумчивого нелюдима. Можно было подумать, что его угнетает какое-то тайное беспокойство.

Вот почему телефонный звонок дяди сильно встревожил меня и заставил отнестись с особым вниманием к его приглашению.

Через несколько минут после нашего телефонного разговора я уже мчался в наемном автомобиле и в четверть часа был у дяди.

— Спасибо, что приехал, — встретил меня дядя. — Ты не можешь себе представить, как я нуждаюсь в тебе. Ты — единственный человек, с которым я могу говорить откоро-

венно. Я расскажу тебе странную историю. Ты скептик и, может быть, отнесешься недоверчиво к моему рассказу, но прошу тебя, — не перебивай меня и имей в виду два соображения: первое — что я в здравом уме, твердой памяти и никогда не лгу, — и второе, — что Гамлет был совершенно прав, говоря: «Есть многое, Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам». Садись и слушай.

Мы уселись в мягкие кресла дядиного кабинета.

Дядя помолчал, задумчиво затянулся сигарой и сказал:
— Я разорен!..

Если б в эту минуту обрушился потолок, я менее был бы удивлен этим, чем признанием дяди. Я знал, что у дяди было крупное, очень крупное состояние, знал, что он не играет в карты, не пускается в рискованные спекуляции, — и решительно не мог понять, каким путем он дошел до разорения.

— Да, да, ты прав, — грустно улыбаясь, ответил, точно читая мои мысли, дядя, — я не игрок, не спекулянт и тем не менее...

— Позвольте, — воскликнул я, вне себя от удивления, — почему вы знаете мои мысли?

— Это я тебе тоже объясню. Итак, слушай дальше. Я разорен. Мое разорение — следствие сцепления целого ряда несчастных обстоятельств, которые за последние пять лет моей жизни сыпались на меня, как из рога изобилия. Что я ни делал, как ни напрягал силы, — ничто не помогало; судьба или нечто даже более могущественное, чем она, одерживало верх. Привело же это все к тому, что на днях мое имение продается с молотка. Самое досадное то, что через две недели у меня в руках должны быть большие деньги, и если б я мог оттянуть торги хотя бы на месяц, — я был бы спасен. Но об этом нечего и думать. Мой кредитор не пойдет ни на какие уступки.

— Да, но, дядя, чем же я-то могу быть вам полезен? — спросил я, внутренне усмехаясь от одной мысли, что дядя возымел намерение попросить у меня денег.

— Не беспокойся, — как и раньше, ответил дядя на мою мысль, — денег в долг я у тебя не попрошу, — я прекрасно

знаю, что у тебя в бумажнике заболталась одна несчастная двадцатипятирублевка; на это имение не выкупишь.

Дольше я не мог выдержать.

— Да объясните же мне, наконец, дядя, — воскликнул я, вскочив, — каким образом вы умудряетесь читать мои мысли?! Что за чертовщина!

— Одно из самых обыденных явлений, способность, свойственная каждому человеку: надо только ее развивать. Однако, не будем терять времени. Я тебя еще раз прошу не перебивать меня, — ответил дядя и несколько взволнованно продолжал:

— Как тебе известно, а может быть, и неизвестно, я уже давно интересуюсь так называемыми тайными науками. Впрочем, это название им дали профаны, вообще не понимающие сущности и смысла познания. В природе нет тайн; есть известное и неизвестное; неизвестное одному — известно другому; и если арабский язык, знакомый мне, неизвестен тебе, то из этого вовсе не следует, что арабский язык — тайная наука, недоступная тебе. Конечно, может случиться, что ты будешь его долбить, как сорока, и все-таки не усвоишь, — но это уже будет вина твоих личных способностей, а никак не арабского языка. Усвоить язык природы, проникнуть в ее сущность — тоже удел не каждого человека. Для этого тоже требуются особые свойства, особые, скажем, дарования. Но развивать эти дарования умеют только на востоке. И вот за развитием этих способностей я и отправился, прежде всего, в Индию. Мне посчастливилось: случайно судьба столкнула меня с одним раджа-иогги, — хранителем тайных знаний. Мне удалось оказать ему услугу, и вот, в благодарность за нее, он согласился взять меня к себе в науку. В чем эта наука заключалась, я не имею права тебе сказать: я связан словом; но только через год неустанных занятий по концентрации мысли, воспитанию воли и нравственному самоусовершенствованию, мой наставник объявил мне, что дальнейшие занятия бесполезны: никакого толка выйти не может, ибо, хотя во мне и имеются блестящие задатки необходимых духовных способностей, но моя прошлая жизнь настолько уже притушила мою ду-

шу, что она сделалась неспособной к восприятию высоких и чистых истин индийской философии и в частности учения раджа-йога. Ты можешь себе представить впечатление, произведенное на меня этими словами. Мечта моей жизни рушилась; передо мной навсегда закрылась дверь, ведущая в таинственный мир новых откровений и разгадок. В особенности это было тяжело потому, что я все-таки хоть одним глазком, да успел заглянуть в щель слегка приоткрывшейся двери... И вдруг!.. Я был в отчаянии. С болью в сердце покинул я Индию. Но другой ключ к тайнам природы хранился в древнем Египте, в стране загадочных сфинксов и великих мистерий Изида! Правда, я знал, что в Египте в настоящее время почти уже нет хранителей древней мудрости, и что там я могу встретить только жалких фигляров, которые за несколько грошей будут показывать фокусы, может быть, и весьма удивительные, но все-таки не имеющие ничего общего с тем, что интересовало меня. Но выбора не было, и через некоторое время я очутился в Каире.

Было часов пять вечера. Я шел по главной улице Каира, — Муски. Европейски оживленная широкая улица, с целым рядом роскошных домов, отелей, оперным театром, почтамтом и биржей, ничем не отличалась от улицы любого европейского города, если б не пестрая разноцветная толпа, в которой то там, то сям мелькали белые бурнусы бедуинов, яркие одежды местных евреев и черные покрывала копток. Погруженный в свои мысли, я дошел до Эзбекие, — сада, в котором раскинута масса всевозможных балаганчиков, кафе и увеселительных заведений. Впрочем, большая часть публики в них не заходила, предпочитая после дневного зноя подышать вечерней прохладой. Переполнены были только кафе, в которых иностранцы и туземцы утоляли жажду разными прохладительными напитками. Я сам собирался последовать их примеру, как вдруг мне бросилась в глаза вывеска на одном из маленьких, наскоро сколоченных балаганчиков: «Факир Солиман бен Аисса. Сеансы удивительных опытов магии».

Странствуя по востоку, я уже нередко встречался с этими бродячими фиглярами, показывающими свое искусство иной раз за деньги, а иногда бесплатно, и знал, что опыты их, действительно, часто бывают забавны и даже, на первый взгляд, непостижимы. Чтоб развлечься, я решил зайти, тем более что египетских фокусников видеть мне еще не приходилось.

В небольшом балагане сидели человек пять туристов.

На маленькой эстраде в восточном, фантастическом костюме суетился господин, который, к моему удивлению, и оказался самим факиром Солиманом бен Аиссой. Ты поймешь мое удивление, если я скажу тебе, что в этом факире не было ровно ничего «факирского». Представь себе художавого блондина среднего роста с кожей и типичными чертами лица белой расы, с закрученными кверху белокурыми усами, придававшими факиру вид лихого бретера, но никак уже не египетского тайновидца. Впоследствии я убедился, что моя наблюдательность меня не обманула.

Факир оказался отставным французским солдатом, долгое время жившим среди арабов и понахватавшим вершук их тайных знаний. Тем не менее, надо отдать справедливость, представление было довольно интересное; правда, большинство опытов было мне уже известно: факир протыкал себе длинными иглами горло, язык, руки, вставлял в глаз шило и выворачивал им все глазное яблоко, державшееся на одном нерве, вышивал у себя на щеке узоры иглой с черной шелковой нитью, затем брал невероятно отточенное лезвие кривой сабли, приставлял его острый бок вплотную к обнаженному животу и ударами тяжелого молота вгонял саблю в тело; после извлечения сабли на теле не оставалось ни малейших следов поранения, даже царапины или хотя бы легкого кровоистечения. Все это было довольно обыденно, и только ничего подобного не видевшие туристы ахали и охали от удивления.

Но вот в заключение опыта факир обратился к зрителям с предложением: «Не желает ли кто-либо из почтенных зрителей подвергнуться таким же опытам?», — причем он,

факир, конечно, ручается за полную безопасность и отсутствие всякого риска.

Это уже становилось интереснее.

Опыт факира над ним самим можно было объяснить тренировкой, знанием особых приемов, наконец, прямо каким-нибудь жульничеством, но опыты с третьими лицами — дело другое... Разве, если допустить какое-нибудь предварительное соглашение...

Под влиянием внезапной мысли, как-то совершенно помимо моей воли, у меня вырвалось заявление:

— Я желаю!..

— Пожалуйста... Прошу вас, — любезно пригласил меня факир на эстраду. — Не бойтесь. Никакого вреда я вам не причиню.

— Я несколько и не боюсь, — ответил я, входя на эстраду и внутренне раскаиваясь в своей поспешности.

— Очень вам благодарен, — раскланялся факир. В его тоне мне послышалась легкая насмешка; впрочем, в ту минуту я не придал этому никакого значения.

Солиман бен Аисса занялся приготовлениями к опыту; приготовления эти были совсем не сложны. Заключались они в том, что факир опустил длинные острые шпильки, которыми протыкал себе тело, в сосуд, наполненный какой-то жидкостью, «для дезинфекции», как пояснил он, затем быстро проделал перед моим лицом несколько едва уловимых пассов рукой, оттянул пальцами мою правую щеку и с быстротой молнии всадил в нее острую, длинную шпильку; шпилька прошла насквозь; один конец торчал снаружи щеки, острое же, пронзив щеку, вышло изо рта. Я не ощутил ни малейшей боли, на коже не выступило ни одной капли крови... На эстраду поднялись любопытные зрители и подвергли меня подробному осмотру, чуть не засовывая мне пальцы в рот (что было в достаточной мере неприятно). Никакой фальши не обнаружилось; щека была проткнута самым добросовестным образом. Через минуту шпилька была извлечена факиром. Опять никакой боли я не ощутил; на месте же прокола образовалось чуть заметное красное пятнышко с булавочную головку.

Аналогичный опыт был повторен с моим языком.

Я вошел во вкус, осмелел и протянул к факиру руку с просьбой проткнуть ее у запястья, как он это проделывал над собой.

Но Солиман бен Аисса отрицательно покачал головой.

— Нет, это рискованно. Я могу попасть вам в вену.

Опыт со мной был окончен.

Поблагодарив факира за доставленное «удовольствие», я опять уселся в публице. Когда я вернулся на свое место, то увидел рядом с собой какого-то господина, которого я раньше не заметил. Изящно, даже изысканно одетый, высокого роста, стройный брюнет, с бородой, подстриженной «по-ассирийски», с черными пронизательными глазами, он производил впечатление человека, принадлежащего к хорошему обществу.

Вежливо приподняв свою панаму, он, улыбаясь, обратился ко мне по-французски:

— Monsieur, вероятно, иностранец?

Я отвечал утвердительно.

— Турист? Только что приехавший из Индии, где он изучал оккультные науки, и в настоящее время собирается изучать их здесь, в Египте? — продолжал свой допрос мой странный сосед.

Я был поражен.

— Откуда вам это все известно? — спросил я его.

— О, надо быть только немного наблюдательным. Вы — иностранец, иначе никогда бы не забрели в эту пору дня в душный балаган вместо того, чтобы пользоваться свежим воздухом, как это делают туземцы. Что вы прибыли из Индии, — об этом свидетельствует цвет вашего загара. У вас загар именно индийского солнца. Солнце каждой страны окрашивает кожу по-разному, но, конечно, только опытный глаз отличает разницу оттенков. Ваш интерес к оккультным наукам очевиден, — иначе вы не были бы здесь и не стали бы подвергаться сомнительным опытам странствующего фокусника. Индия — колыбель оккультных наук; вывод прост: цель вашего пребывания в Индии ясна. Ваша наружность ясно говорит о том, что вы человек здоровый,

значит, приехали в Египет не для того, чтобы лечиться. В таком случае, для чего же? Ваше пребывание здесь, на сеансе, дает на это ответ. Египет — тоже хранилище древних тайн, вы ими интересуетесь и, стало быть, и здесь в Египте приложите старание проникнуть в их сущность. Скажу вам даже более: Индия не оправдала ваших надежд; там вам не удалось приобрести оккультные знания; и вы приехали за ними сюда. Это тоже очень ясно: тот, кто постиг древнюю мудрость Индии, не поедет за этой мудростью в Египет.

Я был подавлен. Незнакомец читал в моей душе, как в открытой книге.

— Простите, — спохватился мой собеседник, — я еще вам не представился: маркиз Себастьян де Ларош-Верни, — от-рекомендовался он. Я назвал себя.

— Не пойдем ли мы на воздух, — предложил мой новый знакомец, — право, сидеть здесь больше не стоит.

Мы вышли и, заняв один из столиков в саду, потребовали себе прохладительного питья. Завязался разговор. Маркиз оказался очень интересным, остроумным собеседником, и, что самое главное, по-видимому, весьма осведомленным в тайных науках.

Между прочим, он мне сказал: «Не сочтите моего знакомства с вами назойливостью. Я сразу угадал в вас человека, интересующегося тайнами Востока; ваша готовность подвергнуться опытам факира показала мне, что вы хотите заняться этим вопросом серьезно, а не из одного праздного любопытства. И я решил прийти вам на помощь. Я имею доступ в общество, обладающее большими познаниями в интересующей вас области. Больше я вам пока ничего не скажу. Но думаю, что со временем вас можно будет ввести в это общество».

Ты легко представишь себе мою радость. Мои долголетние мечтания, по-видимому, были близки к осуществлению. Понятно поэтому, что я сразу же воспылил благодарностью к новому знакомому, и мы расстались почти приятелями, дав друг другу обещание увидеться на следующий же день.

II

Не буду утомлять тебя подробностями; скажу прямо, что через неделю мы сделали с маркизом закадычными друзьями. Ни одного осмотра окрестных достопримечательностей, ни одной прогулки я не предпринимал без моего «французского ассирийца», как я мысленно называл де Ларош-Верни. Раскаиваться мне не приходилось, так как маркиз прекрасно знал Египет, историю его памятников и сообщал массу любопытных сведений. Об обещанном посещении тайного кружка он, однако же, молчал. Я же, боясь показаться назойливым, тоже на затевал об этом разговора. Наконец, он явился ко мне как-то утром и без всяких вступлений объявил: «Я добился разрешения братьев: сегодня ночью я введу вас в “Ложу правой пирамиды” — так называется общество, о котором я вам говорил».

День тянулся для меня нескончаемо долго. Я считал часы и минуты, когда, наконец, ночная тьма сразу окутает землю и на небе засверкает таинственное светило Изиды. Наконец, желанный миг настал. Маркиз де Ларош-Верни зашел за мной, и мы направились к берегу Нила. Вся окрестность была залита ровным, серебристым сиянием луны, и в этом сиянии особенно резко и рельефно выступали очертания далеких пирамид-усыпальниц фараонов и еще более далеких, молчаливых гор, в уступах которых вырублен громадный загадочный Сфинкс...

В каком-то безвольном безразличии я следовал, как зачарованный, за моим руководителем. Молча мы спустились к берегу Нила и сели в поджидавшую нас рыбацью лодку. Маркиз сказал лодочнику несколько слов на непонятном мне языке; лодочник кивнул головой и оттолкнулся от берега. Через короткое время мы были на другом берегу и вступили на землю, где когда-то стоял древний священный Мемфис. Но протекли тысячелетия, и от некогда славного и пышного города осталось только необозримое поле, покрытое развалинами и разбитыми камнями. На ме-

сте былого величия возникла бедная арабская деревушка Менф. И только вдалеке, напоминая о прежнем величии, чернела громадная пирамида фараона Хуфу, неправильно называемая пирамидой Хеопса, как бы олицетворяя собою арабскую поговорку: «Все боится времени, но время боится пирамид».

— Здесь нас должны поджидать, — в первый раз нарушил молчание маркиз, оглядываясь по сторонам. Действительно, в портале полуразвалившегося храма притаился всадник, державший на поводу двух оседланных стройных скакунов.

— Садитесь: нам предстоит маленькая верховая прогулка, — сказал маркиз.

Через несколько минут мы уже оставили далеко за собой Менф и скакали по направлению к темной громаде Хеопсовой пирамиды. Справа молча скакал Ларош-Верни, а слева — всадник, приведший лошадей. Вглядевшись, я, к моему немалому удивлению, узнал в нем факира Солимана бен Аиссу из сада Эзбекие. Не могу сказать, чтобы это открытие привело меня в особый восторг; наоборот, присутствие факира оказало на меня какое-то тягостное, гнетущее влияние, в причинах которого я не мог дать себе отчет.

Приблизительно через час довольно быстрой езды мы достигли цели: пирамида Хуфу осталась от нас влево, в расстоянии около полуверсты; мы же остановились у подножья невысокой пирамиды, казавшейся в сравнении с громадой Хуфу небольшим холмом.

— Это, так называемая археологами, правая пирамида сына Хуфу, — объяснил маркиз, спрыгивая с коня, — в отличие от другой пирамиды, находящейся в верстах двух отсюда. Однако, пора, пора! — добавил он, взглянув на часы. — Наверно, все братья уже в сборе. Следуйте за мной, — и привычным шагом маркиз начал подниматься по уступам и выбоинам пирамиды; я, пыхтя и отдуваясь, следовал за ним; шествие замыкал Солиман. Таким образом, я оказался между двумя моими спутниками и начинал чувствовать себя чем-то вроде почетного арестанта.

Восхождение продолжалось недолго. Мы поднялись всего футов на десять над землей, когда маркиз остановился и нажал чуть заметно выдававшийся квадрат в кладке пирамиды; бесшумно повернулась невидимая дверь, и пред нами открылось темное, низкое отверстие.

Кивком головы маркиз пригласил меня следовать за собой; в нос ударил странный, смешанный запах затхлости, сырой плесени и пряных ароматов. У меня слегка закружилась голова.

— Сейчас пройдет; это с непривычки. Осторожнее... мы начинаем спускаться, — предупредил меня мой спутник.

Я почувствовал под ногами ступени.

Спускались мы довольно долго; я насчитал около двухсот ступеней, пока не очутился снова на ровной поверхности. Принимая во внимание ту незначительную высоту, на которую мы первоначально поднялись в пирамиде, надо было думать, что, опустившись на двести ступеней, мы оказались глубоко под землей... Глубоко под легендарными пирамидами, усыпальницами фараонов! Маркиз зажег электрический фонарь.

Я осмотрелся. Мы стояли на обширной площади, вымощенной крепким ровным камнем. По бокам площади чернели какие-то здания; колоннады, портики, неясные очертания изваяний, довольно хорошо сохранившихся или полуразрушенных, смутно выступали в свете электрического фонаря.

«Точно подземный город», — промелькнула у меня мысль.

— Вы правы, это подземный Мемфис, — ответил на мою мысль маркиз. — Если вы интересовались египтологией, то должны знать, что среди ученых распространено убеждение о существовании подземного Мемфиса, расположенного под надземным Мемфисом; но проникнуть сюда не удалось еще никому, кроме нас, братьев «Ложы правой пирамиды»; только нам одним известен ход в этот таинственный город, где совершались самые страшные мистерии, где хранились самые великие тайны древней науки. Во всем городе только храмы и жилища жрецов, обрекших себя на

пожизненное пребывание под землей. Здесь, в уединении, работали они над самоусовершенствованием и развитием тех тайных знаний, который затем, через несколько тысячелетий, преемственно дошли на нас, братьев «Ложы правой пирамиды!»

Странно и глухо звучал голос де Ларош-Верни в мертвом городе. Вся фигура маркиза будто выросла и прониклась какой-то зловещей нездешней силой. Мне сделалось жутко и неприятно. Маркиз заметил произведенное им впечатление и сразу переменился. Прежняя любезная улыбка светского человека скользнула по его лицу.

— Однако... надо торопиться... Нас ждут... Бен Аисса, все готово? — обратился он к факиру.

Факир, ничего не отвечая, приложил руку ко рту и испустил пронзительный крик. В ответ раздался какой-то рев, и впереди, из тьмы, вдруг вынырнули два громадных огненных глаза, быстро приближавшихся к нам...

От неожиданности я вздрогнул.

— Не бойтесь. Это только автомобиль, — улыбаясь, успокоил меня маркиз, и через несколько секунд мы втроем уже мчались в автомобиле, управляемом ловким шофером, по широкой улице подземного Мемфиса.

Это было какое-то сказочное путешествие. Мой рассудок никак не мог примирить таких контрастов: с одной стороны, таинственный, неизвестный ученым тысячелетний город с храмами Изиды, Аписа и Аммона-Ра, и с другой — автомобиль, — последнее слово равнодушной, все нивелирующей современности...

Мы мчались с бешеной скоростью в темную гущу дали, слегка освещаемой буферными фонарями автомобиля. Дорога была идеальная: ни выбоины, ни выступа.

— Над этой дорогой работали несколько поколений наших братьев, — объяснил мне де Ларош-Верни, — много тут труда было положено на то, чтобы очистить ее от вековых песков и земли, засыпавших подземный город, и затем привести мостовую в теперешнее состояние: этот путь тянется на пятнадцать верст, до конечной цели нашей сегодняшней поездки.

Мы успели обменяться еще только несколькими незначительными фразами, как автомобиль начал замедлять ход и, наконец, остановился у небольшой платформы.

Всего в дороге мы были не более десяти минут. Платформа, у которой мы остановились, напоминала заброшенный железнодорожный полустанок. Сходство увеличивалось еще стоящей у платформы вагонеткой. Мои спутники пропустили в вагонетку меня, затем вошли сами. Маркиз нажал кнопку; раздался звонок, вспыхнула электрическая лампочка, и вагонетка медленно и плавно поползла вверх. Попросту, она оказалась самым обыкновенным лифтом.

— Знаете, где мы находимся и куда поднимаемся? — спросил меня маркиз. Я ответил отрицательно.

— Мы находимся у подножия великого Сфинкса, служащего могилой фараону Мене-фта или Менесу, жившему за 3200 лет до нашей эры; Сфинкс этот известен у ученых под именем Мемфисского. Он высечен из целой громадной скалы. Давно, давно уже стоит он здесь, и века покрыли его туловище илом и песком. Над поверхностью возвышается одна лишь голова необычайных размеров. От земли до темени насчитывается 74 фута, то есть 10 с лишним саженей; в окружности голова имеет 80 футов; уши и нос равны росту человека. Теперь в его голове... впрочем, вы сами скоро все увидите, — перебил себя маркиз.

Как раз в это время лифт остановился, и мы вышли.

То, что я увидел, представляло столь необычайное зрелище, что вот даже теперь, по прошествии стольких лет, я не могу равнодушно говорить об этом!

Дядя в волнении вскочил с кресла и начал ходить по комнате.

— Представь себе обширный колоннадный храм таких размеров, что, стоя на одном конце его, не видишь, что происходит на другом. Колонны изукрашены тонкой резьбой гиероглифов и изображений богов. На возвышении, к которому вело семь ступеней, стояла статуя грандиозных размеров. Лицо статуи было скрыто украшенным звездами покрывалом. По этому признаку я узнал статую богини

Изиды, скрывающей свой лик от непосвященных.

По обеим сторонам статуи, — справа и слева, образуя полумесяц (эмблема богини), сидели, как я потом узнал, члены «Ложы правой пирамиды». Их было человек тридцать. Привыкнув присутствовать на собраниях разных тайных обществ, я ожидал и здесь встретить некоторую декоративную театральность, которой эти общества любят составлять свои заседания. Ничуть не бывало. Современные жрецы Изиды, «братья Ложы правой пирамиды», были одеты в изящные модные смокинги и фраки, точно на великосветском рауте или балу.

Среди «братьев» было несколько «сестер», — изящных дам в роскошных бальных туалетах, дам, по-видимому, очень красивых. Я говорю «по-видимому», потому что лица всех присутствующих были скрыты бархатными полумасками; это было единственное, что хоть немного соответствовало моему представлению о тайных ложах, египетских братствах и т. п.

При нашем появлении все поднялись и приветствовали глубоким поклоном маркиза де Ларош-Верни. Как потом оказалось, маркиз был «великим мастером» «Ложы правой пирамиды».

Когда все уселись, маркиз взошел на небольшое возвышение в форме усеченного обелиска, надел на голову схент (египетский головной убор в виде платка, плотно охватывающего голову и спускающегося до плеч), а поверх схента — ауреус, — золотой обруч с прикрепленным на лбу изображением головы священного ибиса, и сказал:

— Братья и сестры! Согласно вашему разрешению, я ввел сегодня в Тайная Тайных неофита, жаждущего приобщиться Предвечной Мудрости, хранительницей которой является наша ложа. Неофит этот — русский по происхождению, Павел Васильевич Чеглоков, — стоит перед вами. Он клянется во всем соблюдать статуты нашей ложи и никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не открывать того, что ему станет известным. Иначе да постигнет его месть и наказание Предвечной Мудрости. Клянётесь ли вы? — обратился ко мне мастер ложи.

Я дал требуемую клятву и маркиз продолжал:

— Теперь общее собрание ложи займется рассмотрением неотложных текущих дел. Неофиту, как еще не посвященному в наши дела, придется удалиться. Но предварительно ему надо назначить наставника, под руководством которого он пойдет по пути Истинного Познания. Сестра Вероника, вас я назначаю наставницей неофита. Возьмите его под ваше покровительство и удалитесь!

С одного из сидений медленно поднялась высокая фигура замаскированной женщины в роскошном бальном туалете.

Фигура подошла ко мне. «Следуйте за мной», — сказала она приятным грудным голосом и пошла вперед, указывая дорогу; я пошел за ней. В узенькую дверь вышли мы из холодного храма в соседнюю комнату, убранную со всей роскошью и ухищрениями современного комфорта.

— Теперь познакомимся! — обратилась ко мне моя спутница, снимая маску. Я невольно отступил в изумлении. Предо мной стояла в полном смысле слова красавица! Я не охотник да и не мастер описывать то, что возможно воспринять только глазами. Поверь мне на слово: я кое-что в этом деле понимаю!

Но поразило меня не то, что моя спутница была красавицей, а то, что я узнал в ней одну из львиц сезона в Каире.

Мисс Бесси Кроссвенор сводила в это время с ума всех мужчин Каира; ее красота, богатство, туалеты заставляли бледнеть от зависти всех светских женщин Каира. Сознаюсь тебе, что и мне она давно нравилась, но как-то не представлялось случая познакомиться.

И вдруг эту веселую, нарядную, кокетливую женщину я встречаю под именем Вероники, в качестве члена тайного оккультного братства, да еще получаю ее себе в наставники. Было от чего прийти в изумление!

Дядя в волнении прошелся по кабинету и задумался.

— Тут мне придется сделать изрядный скачок, — наконец, возобновил он свой рассказ.

Произошли события, говорить о которых я считаю себя не вправе... да и тяжело мне это... Вкратце дело было так. Бесси Кроссвенор, или сестра Вероника, оказалась очень осведомленной и опытной наставницей. Она скоро ввела меня в курс того, что я должен был знать, как член «Лож правой пирамиды». Организованы занятия были великолепно. Во внутренности Сфинкса помещался целый оккультный университет с аудиториями, прекрасно оборудованными лабораториями, анатомическим театром и отдельными помещениями для разных упражнений.

Ты, вероятно, читал, какой шум в ученом мире произвело недавнее открытие американского египтолога, профессора Рейснера; этому ученому удалось проникнуть вглубь Сфинкса и обнаружить находящийся там роскошный храм Солнца, колоннады, лестницы и гробницу фараона Менеса. Несколько тысячелетий прошло, прежде чем мир узнал об этой тайне молчаливого Сфинкса. Но и то мир узнал не все: он и не догадывается, что небольшая группа людей, — братьев «Лож правой пирамиды», — давно проникла в самое сердце Сфинкса, и только непредвиденные обстоятельства заставили их удалиться отсюда и уничтожить все следы своего пребывания. Впрочем, я несколько забегаю вперед.

Итак, под руководством очаровательной Бесси я начал занятия. Интересно было расположение аудиторий. Все они помещались наверху, в голове Сфинкса, соединенной с нижними этажами бесшумным лифтом, причем каждая аудитория, в зависимости от своего назначения, находилась в голове Сфинкса в месте соответствующего мозгового центра; в височных долях, где находится центр слуховых ощущений, находилась аудитория для изощрения слуха; там, где, по мнению ученых, сосредоточены наши волевые импульсы, была расположена комната для упражнения силы воли и т. д.

Словом, когда я вошел в курс упражнений и подробно ознакомился с системой преподавания, то к моему удивлению увидел, что оно поставлено на строго научную почву. «Лож правая пирамиды» оказывалась хранительницей

величайших научных истин, строго согласованных со всеми законами природы. И тут я убедился, что в мире нет чудес, а есть только неизвестное и неисследованное.

Вот тебе пример: с древних времен дару ясновидения приписывалось чуть ли не божественное происхождение; жрецы долгим искусством упражняли в себе эту способность, и все-таки она была настолько капризна, что не подчинялась желаниям; часто ясновидящий напрягал всю свою волю, все силы, и все-таки его духовный взор не мог пронизать мрак будущего. Но братья ложи могли в любую минуту быть ясновидящими; для этого им стоило лишь выпить настой особого растения, название которого сохранялось в глубокой тайне; теперь, впрочем, это растение известно; некоторые племена африканских дикарей знают его свойства; европейские же ученые только недавно узнали о его существовании; растение это называется «яге» и обладает способностью сообщать дар ясновидения. Видишь, как научно-просто, в конце концов, разъясняются все оккультные тайны! Впрочем, я уклонился от хода событий.

Итак, моим наставником сделалась прелестная Бесси Кроссвенор. Но занятия подвигались туго. Мало-помалу я так увлекся очаровательным учителем, что цель моего приезда в Египет утратила для меня всякое значение; я с нетерпением ожидал урока, но не для того, чтобы чему-нибудь научиться, а только для того, чтоб лишний раз встретить Бесси, полюбоваться ее чудным личиком и насладиться ее музыкальным голосом...

Дядя замолчал, мысленно переживая все, о чем он рассказывал.

Я тоже молчал, ожидая продолжения рассказа...

— Ах, опять эти воспоминания... — с виноватой улыбкой нарушил наконец дядя свое молчание.

На чем же я остановился?.. Да... Словом, подробности излишни... В старой, как мир, истории любви эти подробности более или менее одинаковы у всех... Я влюбился... влюбился, как мальчик... потерял волю, рассудок и, главное, способность относиться критически ко всему, что происходило вокруг меня. А относиться критически было к

чему! Впрочем, я не хочу останавливаться на деталях; я вызвал тебя затем, чтоб при твоей помощи прийти к известному решению; решение это надо принять но возможности скорее... Каждая минута промедления может принести неисчислимые несчастья. Но в общих чертах ты должен усвоить суть дела.

Как-никак, мои оккультные знания возрастали. И я пришел к глубокому убеждению, как я уже сказал, что вся наша современная наука только азбука, по которой когда-нибудь, но еще в очень отдаленном будущем, мы научимся читать великую книгу природы. В мире нет ничего сверхъестественного в том обиходном смысле слова, как понимаем его мы. Духов, как представителей загробного мира, в которых верят спириты, не существует. Но существуют реальные физические и психические законы, существуют такие свойства человеческой природы и так называемых «бездушных» вещей, которые нам еще неизвестны и которые нашему ограниченному кругозору кажутся чудесными. Возьмем хотя бы чтение мыслей. Эта способность свойственна каждому человеку, но, конечно, ее нужно упражнять и развивать. Принцип ее очень прост: система беспроволочного телеграфа. Думающий посылает свою мысль со станции отправления, угадывающий принимает ее; весь вопрос в том, чтобы воспринимающий аппарат, то есть угадчик, развил в себе такую чувствительность, или, как называют оккультисты, «сенситивность», чтобы восприятие чужой мысли совершалось без всякого усилия с его стороны, почти механически. И я этого добился; вернее сказать, этого добились мои наставники по «Ложке правой пирамиды»; на развитие во мне этих именно способностей они почему-то обратили особое внимание. И результаты получились удивительные. Дошло до того, что голова моего собеседника представлялась мне чем-то вроде стеклянного шара, сквозь прозрачные стенки которого я видел реальное воплощение его мыслей. Тебе, конечно, известны опыты фотографирования мыслей? Так вот, подобная фотография мыслей моего собеседника была всегда пред моими глазами. Не только его напряженная, но даже мимолетная мысль

сейчас же воспринималась моим мозгом. И вот что произошло.

III

В Англии существует весьма почтенное учреждение, «Британский клуб». Центральное отделение его находится в Лондоне, а филиалы раскинуты по городам всего мира. Доступ в этот клуб очень затруднен. Прежде всего, требуется единогласное избрание; но желающий баллотироваться в члены «Британского клуба» должен при этом удовлетворять целому ряду строгих требований: по происхождению принадлежать к родовитому, старому дворянству, обладать независимым состоянием, дающим не менее двух тысяч фунтов годового дохода (по-нашему 20 тысяч рублей) и т. д. Подданство и национальность безразличны. По этим условиям ты легко поймешь, что членами клуба были представители лучших и богатейших семей мира. Мне, как удовлетворявшему всем условиям приема, удалось, в бытность мою в Лондоне, проникнуть в число членов клуба. Но, занятый своими оккультными изысканиями, я был редким посетителем клуба, где все почти время посвящалось спорту и, главным образом, крупной карточной игре.

Филиальное отделение клуба существовало и в Каире.

Но до известного момента я даже не думал посещать его. И вот вдруг — ни с того ни с сего, — меня охватило страстное желание сыграть в карты. Где бы я ни был, что бы я ни делал, чей-то властный и настойчивый голос шептал мне: «Сыграй... сыграй... сыграй!» Наконец, я уступил и в один прекрасный вечер очутился за карточным столом в роскошной игровой комнате «Британского клуба» в Каире.

Моими партнерами оказались лорд Кэвилль, баронет Перси Бердслей и виконт да Круазье, секретарь французской миссии.

Игра началась.

И вот представь себе мой ужас, когда я почувствовал, что читаю мысли моих партнеров, как в открытой книге. Мне было совершенно ясно, какие карты у них на руках, какой карты им не хватает, какой ход они собираются сделать... Из азартной игры для меня был изъят ее главный принцип — случайность. Я должен был играть, как шулер, играть наверняка!.. Тыходишь в мое положение? Я, считавший себя до сих пор честным человеком, избегавший малейшей некорректности, вдруг, помимо моей воли, стал карточным шулером! А что я мог предпринять? Бросить карты и уйти? Почему? Но каком основании? Мои партнеры сочли бы себя оскорбленными... Объяснить, в чем дело? Во-первых, меня сочли бы сумасшедшим, а во-вторых, это было бы нарушением клятвы молчание, данной мною при вступлении в «Ложу». Но самое главное, — у меня не хватило бы силы воли ни уйти, ни признаться во всем... Чья-то тяжелая, свинцовая рука удерживала меня на месте, и властный голос шептал: «Молчи и играй... играй и молчи...» Я в ужасе почувствовал, что по чьей-то воле превратился в автомат для ограбления денег. Но стряхнуть это очарование я не был в силах... И я играл... ставил... бил чужие карты, снова ставил и брал крупные выигрыши.

— Ну, на сегодня с меня довольно... — раздался голос баронета. — К сожалению, продолжать игру я не могу...

Два других партнера тоже встали и предложили прекратить игру до завтра.

— Надеюсь, вы нам дадите возможность отыгаться, — заметил с улыбкой виконт де Круазье. — Вам сегодня чертовски везло. Будем ловить момент, когда счастье вам изменит, — и, поклонившись, виконт пошел в бар слегка освежиться; за ним с довольно кислыми минами последовали Кэвилль и Бердслей.

Я остался один у карточного стола.

Передо мной лежала груда золотых монет и банковых билетов; я подвел итог игры; выигрыш равнялся без малого сорока тысячам рублей. Было ясно, что мои партнеры проигрались в пух и прах... На душе у меня было отврати-

тельно, я сознавал, что, строго говоря, был мошенником и в то же время... в то же время аккуратно собрал весь мой выигрыш, рассовал его по карманам и направился домой. Голова трещала невыносимо, точно в ней была устроена кузница, в которой работала, по крайней мере, сотня энергичных кузнецов.

Я вышел на улицу.

Свежий воздух меня немного освежил... Но самочувствие продолжало быть угнетенным. Кое-как я дошел до дома. Войдя в кабинет, я к немалому удивлению увидел маркиза де Ларош-Верни. Он сидел в кресле, курил сигару и, видимо, поджидал меня. Был второй час ночи, и такой поздний гость был мне вовсе не по вкусу.

— Ну-с, мой русский друг, сколько же вы сегодня выиграли? — вот первые слова, которыми меня встретил маркиз.

— Около сорока тысяч рублей, — буркнул я, выворачивая на стол содержимое карманов. — Однако, позвольте, вы-то откуда знаете, что я сегодня играл? — в изумлении спросил я.

— Пора бы вам и оставить эту глупую привычку удивляться, — спокойно ответил де Ларош-Верни. — Для «Ложы правой пирамиды» тайн не существует. Вы же сами знаете, каким образом достался вам этот выигрыш. Им вы обязаны знанию, приобретенному от нашей ложи, а потому, — маркиз встал и подошел к столу, где лежали деньги, — и весь этот выигрыш, по справедливости, должен принадлежать «братству».

И де Ларош-Верни без церемонии сгреб весь мой выигрыш и спрятал в карман.

Я вспыхнул.

— Позвольте, это уж переходит все границы! — в негодовании воскликнул я.

— Да... да... да! Это деньги «Ложы правой пирамиды», — с расстановкой повторил маркиз и, подойдя вплотную, вперил в меня свои черные, сверкавшие сухим блеском глаза.

— Завтра ты опять пойдешь в клуб и будешь играть, слышишь? И никому ни звука о том, что тебе известно, —

властно произнес де Ларош-Верни. — А теперь спи! — И, сделав перед моим лицом несколько быстрых пассив, маркиз повернулся и вышел из комнаты.

Я, как сноп, свалился на оттоманку и забылся тяжелым, нездоровым сном.

Дядя налил себе стакан воды и залпом выпил его.

— Положение, в которое я попал, должно быть тебе ясно: я был загипнотизирован. Под влиянием чужой, железной воли я превратился в орудие преступления, но такого, которое фактически нельзя было уловить, а юридически — невозможно было квалифицировать.

История эта продолжалась неделю. Целую неделю я ежедневно появлялся в «Британском клубе», играл, как помешанный автомат, и выиграл колоссальную сумму, что-то около полумиллиона. Мои противники постоянно менялись; одни, проигравшись или отчаявшись в выигрыше, уступали место другим, — но ты сам понимаешь, что можно было сделать с игроком, видящим насквозь карты своих партнеров! Один только виконт де Круазье не покидал поля битвы. Маленький секретарь французской миссии играл с мужеством отчаяния: его проигрыш был громаден. Жаль было смотреть на его искаженное лицо и дрожащие руки!..

И все эти деньги шли в «Ложу правой пирамиды»! Каждую ночь, возвратясь из клуба, я уже находил у себя маркиза де Ларош-Верни. Он хладнокровно забирал добычу, проделывал надо мной свои проклятые пассы и исчезал.

Но долго так не могло продолжаться!.. Атмосфера была слишком сгущена. Слава о моей игре распространилась по всему городу; но ведь ты знаешь, что хорошая слава лежит, а дурная — бежит. Слава, обежавшая весь город, была дурная слава. На меня стали коситься. Конечно, не было никаких данных обвинять меня в нечистой игре, — но, с другой стороны, такое неизменное, бешеное счастье... Для догадок открывалось обширное поле!

И вдруг утром, на восьмой день моей игры, в газетах появляется сообщение: виконт де Круазье, секретарь французской миссии, застрелился, проиграв в «Британском клу-

бе» казенные деньги.

Появляться после этого в клубе мне сделалось неудобным.

Это понял и маркиз де Ларош-Верни. Сеансы внушения прекратились. Вернее, сеансы прекратились, но внушение осталось. Любовь — ведь это своего рода гипноз; и этому гипнозу я подчинился всецело. Бесси Кроссвенор заняла главное место в моей жизни; я чувствовал, что без нее я жить не могу и с ужасом думал, что ведь рано или поздно нам придется расстаться; логический выход из этого положения один — женитьба. И я решил жениться на Бесси Кроссвенор. Я не знал ни ее прошлого, ни ее настоящего; меня не смущало ее несколько двусмысленное положение одинокой молодой женщины, вращающейся почти исключительно в мужском обществе богатых прожигателей жизни...

Ничего этого я не видел или, вернее, не хотел видеть. Я был слеп. Но один случай открыл мне глаза... Я прозрел... И как ужасно было это прозрение!

Во время одного из уроков, когда в аудитории развития ясновидения я остался наедине с Бесси, я сказал ей все, что волновало мое сердце. Я не мастер описывать лирические сцены и поэтому опущу подробности нашего объяснения; закончилось оно тем, что Бесси дала свое согласие на брак со мной, признавшись, что и она давно ко мне неравнодушна.

Счастью моему не было границ: я мечтал о том, как увезу мою Бесси из Каира, покину «Ложу правой пирамиды», гнет которой после моей карточной эпопеи стал для меня почти невыносим, и как под руководством любимой и любящей жены буду продолжать заняли оккультными науками.

Все, по-видимому, складывалось самым благоприятным образом.

И вдруг, совершенно неожиданно, из безоблачного неба грянул гром.

Случились два происшествия, взволновавшие весь Каир. На протяжении одной недели смерть вырвала из рядов выс-

шего местного общества двух блестящих его представителей. Тайнственным и непонятным образом скончался Киарам-бей, — богатейший представитель каирской аристократии, владелец роскошного дворца на главной улице Каира и собственник многомиллионного состояния; его нашли сидящим в своем кабинете за письменным столом; еще накануне вечером он весело проводил время в обществе своих постоянных собутыльников, среди которых была хорошенькая испанка Конхита Перес-и-Гальдос, кафе-шантанная певичка, предмет пламенных ухаживаний умершего. Никаких знаков насилия на теле Киарама найдено не было, и смерть приписали параличу сердца, хотя никакими сердечными болезнями покойный никогда не страдал. При аналогичных же обстоятельствах умер и лорд Эдвард Гардингтон, богатейший пэр Англии, приехавший в Каир провести сезон.

Но вот что было странно: оба умерших, точно предчувствуя свою кончину, сделали за несколько дней до смерти завещания, которыми, в обход прямых наследников, оставляли свои несметные богатства: Киарам — испанской певичке Конхите Перес-и-Гальдос, а лорд Гардингтон — своему секретарю, молодому Дженкинсу.

Странные завещания вызвали всеобщее недоумение и негодование. Завещатели были в прекрасных отношениях со своими родственниками, и лишение их наследства являлось совершенно необъяснимым. Но... все было сделано на строго законном основании, и наследникам ничего не оставалось делать, как помириться с потерей громадных богатств.

Я, однако же, посмотрел на вопрос несколько глубже; меня поразило одно обстоятельство, неизвестное ни врачам, ни судебным властям, производившим следствие: певица Конхита и Дженкинс, секретарь умершего лорда, были членами «Ложы правой пирамиды».

Я прекрасно знал, что существует много способов отправлять на тот свет, притом способов, не оставляющих буквально никаких следов. Ты, конечно, слышал о так называемом энвольтовании, бывшем в ходу у средневековых

колдунов. Сущность его заключается в том, что на восковом изображении жертвы колдун сосредоточивал всю силу своей воли, направленной к причинению смерти намеченному лицу. Маги доброго старого времени объясняли это очень туманно, влиянием злобных лучей астрала заклинателя на астральное тело жертвы. Но наука последних дней откинула всю сверхъестественную часть этих объяснений. Опыты полковника Роша научно-экспериментальным путем доказали и объяснили возможность подобных явлений. В конце концов, это — психическое воздействие одного лица на другое.

Не так давно много шума наделал следующий опыт: была взята фотографическая карточка известного лица и над нею произведено внушение, чтобы у оригинала карточки выступила на руке экзема; и опыт удался; несмотря на то, что намеченное лицо находилось в другом городе, рука его во время производства опытов покрылась характерной экзематической сыпью. Болезнь была уничтожена точно таким же образом, путем внушения. Все народные поверья о вынужении следа, о заговорах на болезнь и смерть, подкидывании предметов для причинения несчастья — не являются простыми суевериями, а основаны на реальных данных...

Из сказанного можно видеть, что мои подозрения имеют под собой твердую почву; основной принцип уголовного сыска гласит: «*cui prodest*», то есть в любом преступлении надо искать того, кому выгодно это преступление. Смерть Киарама и Гардингтона могла быть выгодна только «Ложе правой пирамиды»; вывод отсюда напрашивался сам собой. Я попал в шайку мошенников, — но в какую шайку?! Члены ее вооружены почти сверхъестественными знаниями, по крайней мере, с точки зрения повседневной науки, и потому бороться с ними пока еще невыносимо. И я являюсь простым, слепым орудием, а в будущем, может быть, и жертвой преступления! А Бесси Кроссвенор, моя любовь, женщина, которую я хотел назвать своей женой, неужели же она является членом этой шайки и сознательной преступницей? Все эти вопросы жгли меня, как раскаленное

железо. Необходимо было все это выяснить...

И я решил, не медля ни минуты, переговорить с Бесси.

Был двенадцатый час ночи, когда я отправился к ней. Время, не совсем удобное для посещения невесты, но в таком исключительном случае некогда было думать о соблюдении приличий.

Бесси жила в пригородной части Каира, в роскошной вилле, окруженной густым парком. Несмотря на мое жениховское положение, я бывал у Бесси довольно редко; она находила неудобными мои частые посещения и просила меня всегда предупреждать ее о моих визитах: «для того», — как объясняла она, — «чтобы избежать случайной встречи с кем-нибудь из ее приятельниц и помешать возникновению праздных сплетен».

Но я был так взволнован, что, отправляясь к Бесси для решительного объяснения, совершенно забыл предупредить ее.

Роскошный парк ее виллы был погружен в темноту. Целый ряд пересекающихся дорожек опутывал здание лабиринтом, сильно затруднявшим доступ к крыльцу; в густом мраке я пробирался почти наугад, руководясь огоньком, блестящим в одном из окон виллы. Но, видимо, я все-таки заблудился и попал на какую-то прихотливо извивающуюся тропинку; тропинка эта привела меня не к вилле, а в самую глухую, заброшенную часть обширного парка; передо мной вдруг выросла непроницаемая стена спутанных ветвей и деревьев; в нерешительности я остановился, обдумывая, куда же идти теперь, — как вдруг услышал громкий разговор; собеседники были скрыты густой стеной зелени и, ничего не опасаясь, говорили неизменными голосами.

И я сразу же узнал эти голоса!

Мужской голос, голос де Ларош-Верни, говорил:

— Почва под нашими ногами горит. Пора спасаться. В истории с Киамаром и Гардингтоном мы, кажется, хватили через край. Боюсь, чтобы не напали на наши следы...

Женский голос, от одного звука которого я вздрогнул, отвечал:

— Пора... давно уж пора! Я устала от этой жизни вечных опасностей. Как хорошо зажить спокойной жизнью, никого не боясь, и смело показываться всюду, как муж и жена! Вечно притворяться, вечно разыгрывать чужую мне роль, слишком тяжело... — и в женском голосе задрожали слезы.

— Ну, Бесси, ну, милая моя женка, перестань... — нежно прервал голос маркиза. — Ведь ты знаешь, как все это случилось. Только из любви к тебе, из желания обставить, как следует, твою жизнь, создал я всю эту «Ложу правой пирамиды», посвятил много лет изучению скрытых тайн природы и, наконец, добился цели... Теперь мы богаты, сказочно богаты. Пусть это богатство досталось нам ценой преступлений, но цель оправдывает средства. Завтра последнее заседание «Ложы» и полная ликвидация дела. Что же касается...

Но продолжение разговора я не слышал. Голова моя закружилась, в глазах поплыл серый туман, и я без чувств упал на траву.

Сколько времени я пролежал там, не знаю. Когда я очнулся, уже брезжил рассвет. Разбитый нравственно и физически, я кое-как добрался до дома и стал разбираться во всем происшедшем!..

Итак, Бесси Кроссвенор была женой маркиза де Ларош-Верни!

Если бы я только мог передать тебе, какая злоба бушевала в моем сердце! Я был оскорблен и унижен! Из меня сделали жалкую, глупую игрушку чужих, преступных целей, разбили мою веру в оккультные знания, осмеяли мою любовь. И кто же сделал все это? Женщина, которую я слепо любил, которую хотел назвать своей женой и которая дала мне слово выйти замуж за меня, будучи женой другого...

«Отомстить!» — вот мысль, которая всецело овладела мною. Ты должен понять меня. Может быть, спустя некоторое время, успокоившись, я не поступил бы так, как поступил в тот момент, но все равно... дело уже сделано.

Через несколько времени после моего возвращения домой, я уже сидел в кабинете начальника каирской поли-

ции и подробно рассказывал ему всю мою историю. Я не упустил из вида ничего и иллюстрировал мой рассказ подробным планом правой пирамиды, ее входов и выходов, расположения внутренних покоев и добавил, что последнее заседание Ложи состоится сегодня ночью.

Решено было нагрянуть на заседание и накрыть все преступное сообщество. Я вызвался быть проводником полицейскому отряду, командированному в экспедицию. Но детально разработанный план в последний момент потерпел неудачу. Вернувшись домой от начальника полиции, я почувствовал страшный жар, лег в постель и... очнулся только через месяц. Оказывается, я заболел сильнейшей нервной горячкой: потрясение было слишком велико, и нервы не выдержали. Долгое время я находился между жизнью и смертью; когда же кризис миновал, я так ослаб, что еще изрядное количество дней должен был проваляться в постели.

IV

То, что произошло в течение моей болезни, передаю тебе с чужих слов.

Полицейская облава не увенчалась особым успехом; отряд, посланный к правой пирамиде, запутался в лабиринте ее переходов и добрался до храма, где происходили заседания Ложи, уже тогда, когда птички упорхнули из гнездышка. Маркиз и Бесси исчезли бесследно; остальные члены ложи тоже успели скрыться. В руки полиции попался один только Солиман бен Аисса, которого задержали благодаря его жадности. В то время, как все участники заседания бежали, он замешкался в пирамиде, желая обыскать тайные хранилища Ложи в надежде найти там какие-нибудь забытые сокровища. Факир был одним из низших братьев Ложи, никаких тайн организации не знал и сообщить ни-

чего не мог; рассказ его касался, главным образом, истории со мной, так как тут Солиман принимал непосредственное участие. Как оказывается, «Ложа правой пирамиды» или, точнее, маркиз де Ларош-Верни обратил на меня свое внимание тотчас по моем приезде в Каир. Я являлся для них как нельзя более подходящим субъектом: мое богатство привлекало их жадность, мои знакомства и происхождение открывали мне двери в клубы и гостиные лучшего общества и, наконец, самое главное, я оказался очень поддающимся внушению. Опыт прокалывания щеки, произведенный надо мной Солиманом бен Аиссой, сыграл в этом отношении роковую роль. Факир, обладавший значительной силой внушения, несколькими пассажами подчинил мою волю и подготовил почву для дальнейших воздействий маркиза. Воздействия эти прежде всего сказались в том, что меня потянуло к азартной игре, где я так «счастливо» обыграл моих злополучных партнеров. Дальнейший план был гениален по своей простоте. Любовь и внушение (может быть даже, это одно и то же) должны были всецело подчинить меня влиянию Бесси Кроссвенор и побудить перевести тем или иным путем все мое состояние на ее имя...

О дальнейшей моей судьбе Солиман умалчивал, но о ней нетрудно было догадаться по судьбе Киамара и Гардингтона.

Итак, в деяниях Ложи были все признаки преступлений.

И все-таки дело было замято. Судебный процесс возбужден не был, и преступники даже не разыскивались. Во время бегства маркиз предусмотрительно обронил записную книжку, подобранную полицией. В книжке был подробный список всех членов Ложи: полиция прочла этот список и развела руками. В Ложе значились членами такие лица, что затеять против них уголовное преследование значило бы вызвать мировой скандал: столько представителей знатнейших фамилий всех государств были замешаны в подвигах Ложи!

Пришлось поневоле махнуть рукой на все, и не только махнуть рукой, но даже принять все меры к тому, чтобы де-

ло осталось в глубокой тайне. Внутренность Сфинкса была приведена в такой вид, точно в течение тысячелетий туда не ступала нога человека. И только нескольким людям известно, что не знаменитый ученый египтолог, профессор Рейснер, был первым, разгадавшим тайну молчаливого Сфинкса пустыни.

Впрочем, по многим соображениям, вообще было нежелательно, чтобы мир узнал эту тайну; дипломатия очень пугливая дама, и я нисколько не удивлюсь, если в один прекрасный день в газетах появятся статьи, доказывающие, что никаких храмов внутри Сфинкса не существует, что это обыкновенное каменное изваяние и что все слухи об открытии проф. Рейснера являются чьей-то не совсем приличной шуткой над почтенным ученым.

— История почти окончена, — заключил дядя свой рассказ, — но ты, конечно, вправе спросить меня, за коим чертом я вытребовал тебя по телефону.

Это ты сейчас поймешь.

Я сказал «история почти окончена», но не совсем. Вторая часть ее разыгрывается и в настоящее время.

Вот в чем дело.

Когда я поправился после нервной горячки, мне сообщили, что во время моей болезни какой-то неизвестный принес на мое имя письмо и посылку.

И вот что я там нашел.

Дядя на минуту удалился в соседнюю комнату и вынес маленький деревянный ящичек, который с большими предосторожностями поставил на письменный стол. Ящичек был очень изящной работы, с тонкой резьбой, инкрустированный перламутром. Место замка было залито эмалью в форме медальона, на эмали же красовалось художественное изображение очаровательной женской головки; таким образом, открыть ящичек можно было, только разбив эмаль и попортив портрет.

— Да, да... совершенно верно, это портрет, — по своей привычке, ответил дядя на мою мысль, — и ты, конечно, догадался, чей. Этот ящичек был мне прислан при следующей записке:

«На память о Бесси Кроссвенор. Никогда не расставайтесь с этим ящичком и не пытайтесь открыть его!»

— Последний совет, впрочем, излишен; у меня не хватило бы мужества разбить изображение той, кого я любил... и... что скрывать, люблю до сих пор, — с грустной улыбкой заметил дядя. — В этом ящичке проклятие моей жизни. С того момента, как он появился в моем доме, несчастье и неудачи стали моими спутниками; все мои предприятия оканчивались крахами; ценные бумаги, находившиеся в моих руках, точно по какому-то таинственному приказу, падали на бирже; мне стоило вступить в любое дело, чтобы дело лопнуло.

«Это» заметили... распространились слухи, что я всюду приношу с собою несчастье... меня стали сторониться... И вот в результате — полная неурядица в моих денежных делах и продажа моего великолепного полтавского имения. Через две недели у меня будут деньги, и я внес бы долг, — но торги назначены через неделю... — Дядя в отчаянии потер лоб рукой.

— Ты можешь мне помочь. Я прекрасно знаю, откуда все эти напасти. Вот где причина и корень всех злоключений, — и дядя кивнул на ящичек.

Я с недоумением взглянул на него.

— Не понимаешь? Между тем, это очень просто. Тебе, конечно, известны такие ходячие фразы, как: «деньги к деньгам», «беда не ходит одна», «где были две смерти, там третьей не миновать», «коли везет, так уж во всем» и т. д. Все они устанавливают незыблемый закон: и счастье, и несчастье, как сильные магниты, обладают способностью притягивать однородные явления; счастье и удача притягивают удачу, — несчастье — неприятности и неудачу. Каждый человек, в зависимости от своего настроения, характера, склонностей, здоровья и психических данных испускает известные излучения — флюиды. Флюиды эти, невидимые простому глазу, тем не менее реально существуют, имеют определенный химический состав, определенные свойства и окраску.

Так, например, человек высоконравственный и благочестивой жизни испускает излучение голубого цвета, собирающиеся в виде ореола над его головой; этим и объясняется обыкновение изображать святых с нимбом вокруг головы; человек порочный, злой испускает пламевидное излучение бурого цвета; вот почему дьявола, отца зла, изображают сплошь да рядом окруженным языками пламени.

Эти флюиды создают вокруг человека известную атмосферу и, как химические вещества, могут быть сконцентрированы, собраны в одно место и путем известных операций превращены, ну, хотя бы в жидкость. Теперь представь себе, что произведена концентрация или, вернее, конденсация флюидов какого-нибудь несчастного «Макара, на которого валятся все шишки». Получится жидкость, экстракт несчастья, обладающий свойством притягивать всевозможные беды и неприятности на голову того, кто будет владеть этой жидкостью. Проникая сквозь мельчайшие поры, она окутает жертву атмосферой постоянной неудачи, и только огонь, один священный, всеочищающий огонь может уничтожить это проклятие. И я убежден, что в этом ящичке...

Внезапная мысль, как молния, пронизала мой мозг.

Не дав дяде закончить его слова, я схватил тяжелое пресс-папье, лежавшее на столе, и изо всей силы ударил по эмалевому медальону ящичка. Эмаль треснула, мелкие осколки брызнули в разные стороны, и над портретом Бесси Кроссвенор обнаружился шпенек.

— Боже мой, что ты сделал! — в ужасе воскликнул дядя.

Я нажал шпенек. С глухим стуком отскочила крышка ящичка; на его дне лежал небольшой граненый флакончик с жидкостью чистого изумрудного цвета. Здесь же лежала записка, на которой было написано крупным, размашистым почерком: «Предателю — предательская месть. Ложка правой пирамиды».

— Я так и думал! — воскликнул дядя, в отчаянии опускаясь в глубокое кресло.

Схватить ящичек со всем содержимым и швырнуть его в огонь пылавшего камина было для меня делом одного мгновения.

Хрустальный флакончик со звоном ударился о металлическую решетку, разбился и упал в пламя; несколько капель брызнули на мой сапог, все же содержимое флакона вылилось и, извиваясь змейкой, потекло по горящим головешкам. Огненные языки вспыхнули и непроницаемой стеной сомкнулись над роковым ящичком.

Дядя сидел неподвижно, устремив взгляд на огонь.

— Ну, вот и кончено, — весело сказал я, подходя к дяде.

Ответа не последовало.

В испуге я наклонился к нему и убедился, что дядя лежит в глубоком обмороке.

Около двух часов пришлось нам с лакеем провозиться над дядей, пока он вернулся к сознанию. Но потрясение было слишком сильно, и я уговорил дядю не вставать с постели, тем более что был уже первый час ночи.

— Наконец-то, наконец-то я избавился от этого кошмара, — прошептал больной, пожимая мне руку. — Спасибо тебе, дорогой; ты оказал мне услугу, которой я никогда не забуду. Сам я не был бы в состоянии это сделать. Во-первых, у меня не поднялась бы рука на портрет, а во-вторых... во-вторых, я только теперь понял, что записка, при которой был препровожден ящичек, заключала в себе заочное внушение: вот почему я и не мог расстаться с ящичком. Но внушавший упустил из вида одно: он не запретил мне рассказывать другим обо всем, что меня мучило, и это-то спасло меня! А прежняя сила внушения была уничтожена нравственным потрясением от вероломства Бесси, любовь и жажда мести победили гипноз. Еще раз спасибо тебе.

Покинуть дядю в таком положении я не считал возможным и остался сидеть у его постели. В разговорах, за рюмкой хорошего вина, которое велел подать дядя, время летело незаметно; случайно взглянув на часы, я к удивлению увидел, что уже половина пятого.

Как раз в этот момент в передней раздался сильный звонок. Лакей подал дяде телеграмму. Лихорадочно вскрыв ее, дядя пробежал глазами написанное и, откинувшись на подушку, прошептал: «Спасен!»

Телеграмма была от управляющего полтавским именем

и гласила: «Сегодня в первом часу ночи скоростижно скончался ваш кредитор. Торги откладываются до исполнения необходимых формальностей».

— Вот уже и результаты, — обратился ко мне дядя. — Счастье повернулось ко мне лицом. «Исполнение необходимых формальностей»! Это значит, по крайней мере, месяц; а к этому времени у меня будут уже деньги, и полтавское имение не уйдет в чужие руки.

Влияние «эликсира несчастья» прекратилось.

Я оставил дядю в самом радостном настроении.

Уже рассвело, когда я вернулся домой. Торопясь подняться по лестнице, я споткнулся, упал и сломал себе ногу, именно ту ногу, на которую брызнули несколько капель изумрудной жидкости. Это было последним проявлением ее роковой власти.

.

Теперь я хромаю. Конечно, это очень печально, но моя печаль умеряется тем, что мне не приходится трудиться из-за куска хлеба и дрожать за свое будущее. Дядины дела в блестящем положении. За свою сломанную ногу я получаю от дяди крупную пенсию и знаю, что в его завещании я значусь единственным наследником его огромного состояния.

Ни о маркизе де Ларош-Верни, ни о Бесси Кроссвенор, ни о Солимане мы больше ничего не слышали, но я глубоко убежден, что многие таинственные, нераскрытые преступления последнего времени совершены при благосклонном участии братьев «Ложы правой пирамиды».



Антоний Оссендовский

ЛОЖА СВЯЩЕННОГО АЛМАЗА

Илл. С. Плошинского



Татьяна Семеновна Горлина, пугливо озираясь, вошла в свою спальню и заперла дверь на ключ.

Она зажгла все лампы и начала осматривать комнату. Тяжелые шелковые драпировки на окнах и двери уже возбуждали в ней страх. В их широких складках, казалось, скрывался тот, кто вдруг начинал слегка шуршать шелком и едва заметно колыхал драпировку. Преодолевая страх, Татьяна Семеновна быстро распахнула занавески и остановилась, закрыв глаза и боясь увидеть что-нибудь ужасное. Но в темных нишах окон и дверей никого не было, и только юркие отблески уличных фонарей бегали по стеклу.

Под широкой, покрытой шкурой какого-то зверя кушеткой, за шифоньеркой и трехстворчатым зеркалом, под кроватью, выдвинутой почти на середину спальни, — Татьяна Семеновна не нашла ничего подозрительного.

Набросив на себя пеньюар, она позвонила и открыла дверь.

— Что делают Ниночка и Гриша? — спросила она у вошедшей горничной.

— Уже спят, — ответила девушка.

— Разве так поздно? — с недоумением в голосе протянула Горлина.

— Скоро час, барыня! — сказала горничная, с любопытством и насмешкой взглянув на Татьяну Семеновну.

— А я и не заметила... — злобно передернула она плечами.

— Хорошо! Ступайте спать, Аннушка!

Когда горничная ушла, Горлина прижала холодные руки к голове и, почти побежав к двери, с треском захлопнула ее и два раза повернула ключ.

Она на цыпочках подошла к столу и опустилась в глубокое, покойное кресло, все время наблюдая в зеркало за тем, что делалось в комнате, позади нее.

Она долго сидела неподвижно, с широко открытыми глазами, и знала, что ее так пугало и в то же время манило к себе.

Случилось это впервые полгода тому назад, тотчас же после смерти мужа Татьяны Семеновны.

Однажды она шла около трех часов дня по Морской улице и вдруг почувствовала, что кто-то сильно и грубо схватил ее за плечо.

Она с негодованием оглянулась и крикнула от страха и изумления.

Возле нее никого не было.

Ничего не понимая, она пошла вперед, и опять повторилось то же.

Она подошла к первому попавшемуся извозчику и уже намеревалась сесть в пролетку, когда взгляд ее упал на противоположную сторону улицы.

Не отдавая себе отчета в том, что она делает, Татьяна Семеновна быстро перешла улицу и очутилась рядом с господином, одетым в легкое серое пальто и мягкую фетровую шляпу.

Он стоял, опершись о толстую трость, и не спускал глаз с встревоженного и растерянного лица Татьяны Семеновны. Взгляд у него был особенный. Какие-то яркие, рассеивающиеся во все стороны лучи, как сияние алмаза, приковывали к себе взор и заглядывали в душу, словно копались в ней и искали скрытую в ней тайну.

Он низко поклонился Горлиной и мягким голосом, отчеканивая каждое слово, сказал:

— Не грустите... он счастлив там... Вы же должны вернуться в третью страну...

— Куда? — не удержалась от вопроса Татьяна Семеновна.

— В страну, где вихри слагаются из людских неопределенных желаний и ничтожных страстей; туда, где рождаются нездешние силы...

Не отвечая незнакомцу, Горлина быстро пошла в сторону Невского.

Странный господин сделал за нею всего несколько шагов и тихо произнес, почти шепнул:

— Если вспомните обо мне — я приду...

С той поры его не встречала Горлина, но зато начались непонятные и расстраивающие молодую женщину явления.

Горлина медленно разделась и, легши, закрылась с головой одеялом. Быстрым движением руки она сразу погасила все лампы.

Она не спала и чутко слушала. В спальне только будильник тикал едва слышно, да раздавались неясные ночные шелесты и шорохи.

Какая-то тяжесть налегла на нее, сосущая тоска наполнила сердце и холодной струйкой пробежала по всему телу.

Горлина вздрогнула, затрепетала, словно умирая, сразу открыла глаза и сдернула с головы одеяло.

Комната была ярко освещена. Свет этот рождался где-то в самом воздухе, в каждом предмете. Все излучало таинственно мерцающий свет, все было напоено, пропитано им. Все очертания сделались подвижными, казалось, что вещи дышат, то увеличиваясь, то уменьшаясь. Разноцветные лучи нигде не скрывались и не погасали. Они проникали повсюду, и в этом море разноцветных вспышек постепенно тонули все предметы, растворялись стены и рождался ужас перед беспредельностью. Лучи, сталкиваясь и сплетаясь в причудливую световую сеть, мчались все дальше, словно рой стрел, выпущенных из миллионов луков. Слившись,

где-то в бесконечности, в одно огромное облако, тихо мерцающее нежной, поблекшей радугой, свет сделался неподвижным.

Но это длилось одно мгновение, а вслед за этим все снова завихрилось и заметалось, вскинулись кверху столбы огней и тучи разноцветного дыма, помчались какие-то безобразные черные обрывки, огромные, как миры; они росли и надвигались, грозя все уничтожить, превратить в пыль; из-за столбов дыма и колеблющихся языков пламени взвивались кверху крылатые чудовища с длинными, судорожно изгибающимися хвостами и жадно раскрытыми пастьями, за ними мчались, словно погоняя их, черные, как ночь, гиганты с бичами в руках, отбиваясь от налетающих со всех сторон больших птиц с огнем вместо головы и от толстых блестящих змей, грохочущих жесткой чешуей.



В треске огня, в свисте бушующего пламени гремели голоса, слышались крики, стоны, грохот и звон.

Вся напряженная, покрытая холодным потом, с глазами до боли неподвижными, лежала Горлина и ожидала появления самого страшного, кто неминуемо должно было при-

ти и одним видом своим погасить всякую жизнь, уничтожить свет, движение и радость.

Однако, и на этот раз свет погас, и в комнате, по-прежнему, был мрак, и слышались лишь те необъяснимые шумы и шорохи, какие рождает ночь, еще не поглотившая дневной суеты.

Горлина села на постели, зажгла лампу и долго думала. Наконец, приняв какое-то решение, она сразу успокоилась и даже уснула.

Наутро, к изумлению Татьяны Семеновны, все радовало ее. Спальня показала ей веселой и красивой. Розовый шелк, мягкая, изысканная мебель, граненые тяжелые зеркала в золотых рамах, прекрасная кровать из белого блестящего, как стекло, дерева, с целым облаком батиста, шелка и кружев, картины в гладких белых рамах и филигранные тюльпаны ламп — все это давно уже так не радовало Горлину, охваченную непонятным и мучительным недугом. Теперь неожиданно вернулись к ней и здоровье и прежняя бодрость.

Она быстро оделась и, поздоровавшись с детьми, вошла в гостиную и сказала горничной:

— Сейчас должен прийти один господин. Проводите его сюда!

Одновременно с ее последним словом в передней раздался звонок.

2

— Вы вспомнили обо мне сегодня ночью, — сказал, входя в гостиную, высокий, полный господин в черном сюртуке и с мягкой шляпой в руке. — Вы приказали, — и я явился.

— Очень благодарна вам, — произнесла дрожащим от волнения голосом Горлина. — Я просто не понимаю, я с ума схожу!.. Как вы могли узнать мои мысли?

Незнакомец устремил на нее свои лучистые глаза и поднял голову:

— Вчера и каждый день вас тревожат космические бури. В пространстве без начала и конца сталкиваются силы земли и духа. Рождающиеся призраки терзают вас и влекут в борьбу вихрей и пламени. Удел редких избранных...

Сказав это, он низко поклонился ей и попросил:

— Дайте мне вашу левую руку, но сначала пристально взгляните на середину своей ладони.

Он взял ее руку и начал медленно поворачивать ее, разыскивая линию и изучая сеть тонких, как паутина, складок и морщинок.

И вдруг он резким движением откинул от себя ее руку и, отойдя к окну, угрюмо глядя на нее, произнес:

— Счастье и несчастье... У вас двое детей. Кармой предопределено им увидеть невиданное людьми и постигнуть — непостижимое. Великим волшебникам и пророкам будут подобны они, и счастлива мать их и горда она, передавшая им неземную силу! За это счастье ждет, однако, вас и несчастье, великое и тяжкое.

В этот день, поздно вечером ушел из дома Горлиной незнакомец, назвавший себя брамином Гатва.

Когда к нему привели детей, семилетнюю Ниночку и десятилетнего Гришу, всегда молчаливых и серьезных, они радостно улыбнулись ему и доверчиво взяли Гатву за руки.

3

С того дня прошло семь лет.

Они промчались как сон, как одно мгновение. Если бы Татьяне Семеновне пришлось рассказать по годам свою жизнь после знакомства с брамином, ей бы это не удалось.

И как это странно случилось...

Гатва однажды пришел к ней и сказал:

— Надо отдать ваших детей «великой силе»! Пусть они начнут свой путь в третью страну, пусть поведут в нее избранных...

Она попробовала тогда сопротивляться, но Гатва взял ее за руку и заглянул ей в глаза своим лучистым, всегда повелевающим взглядом и сказал:

— Отдайте своих детей! Всякий раз, когда вы захотите видеть их, они будут к вам приходить.

И она отдала Гатве Гришу и Ниночку, а те с радостью и беззаботным, веселым смехом взяли его за руку и бежали за ним.

Прощаясь с Горлиной, Гатва вынул из кармана узенькую золотую полоску с тремя непонятными черными знаками, вырезанными на ней.

Он приказал детям прикоснуться к ней по очереди руками и головой и передать матери.

— Возьмите эту пластинку и в минуты тоски о детях смотрите на нее — они придут...

Гатва не обманул ее. Всякий раз, когда Горлина начинала грустить, она доставала полоску, данную брамином, и смотрела на нее.

Золото темнело, становясь из желтого почти красным, три непонятных знака, напоминающих изогнувшихся змей, начинали шевелиться... Перед глазами повисал туман, за завесой которого Горлина видела своих детей.

Лица у них были спокойные и радостные, но призрачные и светлые, а глаза пылали горячим огнем. С каждым днем лица детей становились прекраснее, а глаза все ярче и ярче сверкали неземным, могучим блеском.

Что делала в эти семь лет Татьяна Семеновна? И ничего, и очень много.

Обладая большими средствами, она объездила все страны. Нигде долго не жила. Какое-то легкое беспокойство, будто ожидание чего-то важного и счастливого гнало ее все дальше и дальше.

В Петербурге ее считали сумасшедшей. Удивлялись, почему не вмешаются в ее судьбу родственники мужа, почему не потребуют они возвращения из-за границы учащихся там детей Горлиной.

Татьяна Семеновна понимала все, что делается вокруг нее, и все реже и лишь на самое непродолжительное время

возвращалась в свой дом.

Наконец она вернулась под самое Рождество и через несколько дней созвала к себе всех родственников и друзей.

Она рассказала о встрече с Гатвой и о том, как он дал ей возможность всегда вызывать к себе увезенных во Францию детей.

— Я в декабре жила в Афинах, — окончила она свой рассказ. — И здесь ко мне вернулась моя страшная болезнь. Всякую ночь надо мной бушевала космическая буря и, захватив меня в свою стихию, мчала куда-то. Я снова вспомнила о Гатве, я звала его, но он не явился. Не знаю, как случилось, но я потеряла золотую пластинку и вот уже давно не вижу своих детей. Что мне делать?

После долгих совещаний было решено, что Татьяна Семеновна и ее двоюродный брат — врач — поедут в Париж, искать Гатву и детей Горлиной.

4

На улице *Brettenière* в мрачном особняке, принадлежащем некогда фаворитке короля Филиппа, Сюзанне Мармелль, помещалась старейшая ложа оккультистов.

Это было как нельзя более подходящее помещение, так как в доме г-жи Мармелль некогда жил и колдовал оставшийся до настоящего реального времени таинственным — Калиостро.

У входа посетителя обычно спрашивали:

— Вам известно имя ложи?

И посвященный отвечал двумя короткими словами:

— Священный Алмаз...

В один пасмурный и холодный день на улице *Brettenière* можно было наблюдать большое стечение конных экипажей и автомобилей.

Нарядные дамы и важные мужчины в цилиндрах выходили из удобных колясок и блестящих моторов и, молчали-

вые и сосредоточенные, скрывались в темном подъезде помещения ложи.

Посетители входили в большой круглый зал, уставленный скамейками, как в католических храмах, освещенный высокими семисвечниками, стоящими тремя рядами, образующими треугольник.

На самой середине зала, в центре треугольника, высилась стройная колонна из зеленого нефрита; верхняя, расширяющаяся в капитель, часть колонны была закрыта легкой материей, отороченной широкой золотой бахромой. У колонны помещалось возвышение с двумя креслами на трех изогнутых ножках.

Стены зала были обтянуты черным сукном, с идущими по карнизу белыми письменами, напоминающими извивающихся и бьющихся змей.

Когда все скамьи были заняты, на возвышении появился необыкновенно высокий и худой человек с темным лицом и густыми черными волосами, падающими на лоб и глаза.

Он поднял руки вверх и глухим голосом произнес:

— Брат Грегуар и Тень его шлют собравшимся привет и слово покоя!

Тихий, сдержанный шепот пронесся по залу и стих, когда высокий человек опять поднял руки.

— Брат Грегуар и Тень его в поисках истины и древней науки нашли для братьев своих и сестер — новый путь правды, а имя ему — атанат. Из диких трав скалистых ущелий, из коры бамбука, обвитого змеею в новолуние, из снега, выпавшего на землю в час таинственных деяний, — вот атанат.

При этих словах в нескольких местах зала открылись потайные двери, и мальчики в белых одеждах начали разносить на черных деревянных блюдах маленькие, зеленоватые лепешки.

Собравшиеся ели их и, по мере того, как исчезал «атанат», медленнее становились движения людей и неподвижнее и тяжелее их взгляд.

Люди, бывшие до того возбужденными или носившие следы болезней и горя, делались похожими друг на друга:

одинаковые безмятежность и равнодушие были в глазах и в непроницаемости выражения их лиц. Казалось, что скоро все собравшиеся здесь впадут в оцепенение или тяжелый, бредовый сон. Но в воздухе чувствовалось такое напряжение, какое бывает перед бурей, когда каждый атом атмосферы, каждая капля испарившейся воды несут в себе могучий заряд электричества, рождающий молнии, разрушение и жизнь.

Напряжение это становилось все более и более ощутимым. Чувства обострялись до крайнего предела. Глазам становилось больно от тихого мерцания восковых свечей; резким и оглушительным казался шелест платья и легкий треск обгоревших свечей. Сквозь каменные стены старого дома и толстое сукно прорывались световые потоки с улицы, — и его ясно видели глаза, перерожденные «атанатом».

Тихий и благозвучный удар колокола задрожал под сводами зала, и, окруженные мальчиками и черными людьми с яркими глазами, на возвышение начали медленно всходить красивый, бледный юноша и девушка, почти ребенок, с волной русых волос, покрывающих ее плечи и грудь.

Они держались за руки и некоторое время стояли лицом к собравшимся, склонившим головы при их появлении. У обоих глаза были закрыты, а по лицам блуждала загадочная улыбка, внезапно исчезающая у строгих, молчаливых губ.

Не открывая глаз, юноша подошел к нефритовой колонне и поднял кверху свое прекрасное лицо, выражающее непреклонную волю и приказание.

В тот же миг легкая материя, покрывающая вершину колонны, шевельнулась, затрепетала, словно подхваченная сильным ветром поднялась и прижалась к украшениям капители. Под нею, по карнизу шел двойной ряд великолепно сверкающих алмазов, переливающихся всеми цветами радуги.

Одновременно открылась небольшая дверца, скрытая в камне колонны, и в зале пронесся крик:

— Священный Алмаз! Священный Алмаз!

Из зеленого камня смотрел огненный, кристальный глаз.

Он был больше руки взрослого человека и оправлен в черное серебро, с вырезанными на нем теми же письменами, какие шли по карнизу зала.

Алмаз этот не сверкал, но переливался разными огнями.

Он был так прозрачен, что, глядя на него, становилось страшно.

Человек, заглянув в эту бездну световой прозрачности, где ничто не говорило о пределе, о конце, чувствовал, что сходит с ума, что стремится туда, где нет ни явлений, ни времени, ни пространства.

При малейшем движении и даже без него, алмаз вдруг изменял свой цвет: он сразу наполнялся то зеленым, то красным, то синим огнем, холодным и ярким, не скрывающим таинственной бездны небытия, таящейся в алмазе.

Когда восклицания и шепот удивления начали затихать, юноша открыл глаза и медленно обвел ими присутствующих.

Люди под этим взглядом перестали дышать, и взоры их утонули в лучезарной пустоте их. Эти глаза поглощали, вытягивали в себя и ни на мгновение не загорались собственным блеском.

Только с самого дна их, с беспредельной глубины, смотрел кто-то могущественный и зоркий и приказывал.

Никто не мог оторваться от глаз юноши. Глаза его становились все глубже и больше. Казалось, что они сливаются в один огромный, неподвижный зрачок, заполняют собою все пространство и впитывают в себя людей с их мыслями и чувствами, тревогами и сомнениями.

Долго смотрел юноша на собравшихся, на каждого из них упал его взгляд и вынул что-то и впитал в себя; потом он коснулся сложенных на груди рук девушки своими руками и сказал тихим, но внятнм шепотом:

— Видел многое, скрытое веками и жизнью.. Слышал правду и нашел ее... в людях, в старых книгах мудрецов, в говоре лесов, воды, гор и ветра. В шуме вихря, в свисте пламени, в грохоте гроз прилетал он ко мне и вещал...

С каждым словом призрачнее и страшнее становились глаза брата Грегуара и все повелительнее обводил он взгля-

дом собравшихся.

Мальчики, бесшумно ступая по мягкому ковру, погасили свечи, и на одно мгновение глубокий мрак воцарился в зале.

Все затаили дыхание. Слышно было биение сердец и хрустение сжимаемых от волнения пальцев.

Мрак тихо рассеивался, хотя в зале не горело ни одной лампы, ни одной свечи. Голубоватые лучи неясного, трепетного света, зыбкие ореолы и тихие вспышки бесшумных зарниц, протянулись между собравшимися людьми и бездонными глазами юноши, поглощающими эти людские излучения.

В воздухе, словно перистые облака, в лучах неясного сияния мелькали легкие тени, неуловимые, без очертаний. Они становились яснее и определеннее, и когда юноша поднял кверху обе руки, под стрельчатыми сводами зала появились образы.

Белая, неуловимо быстрая, клубящаяся тень метнулась под самым сводом, на один миг мелькнуло злобное, безобразно искривленное лицо и исчезло в непрозрачном тумане. Вынырнули откуда-то длинные, костлявые руки и швырнули вниз горсть горящих углей. Не долетев до толпы пораженных людей, угли превратились в живых существ. Черные и красные птицы с змеиными головами, крылатые ящерицы с горящими глазами, мягкие, отвратительные гады с текущей из пасти гу-



стой слюной и огромные светящиеся спруты обхватывали своими лапами и щупальцами головы кричащих от ужаса и боли людей, припадали к их лицам жадными ртами, грызли и терзали.

Потом опять все исчезло в непроницаемом слепом мраке. Только высоко, под самой дальней готической аркой, чуть заметно светилась яркая точка. Она быстро двигалась и скоро превратилась в светлую полосу, быстро качающуюся от одного свода к другому. Так длилось несколько мгновений, пока из груди собравшихся не вырвался крик:

— Паук! Великий Паук!..

Откуда-то из пучин пространства, кидая паутину от звезды к звезде и плетя свою сеть, к земле полз паук. Своими гигантскими лапами он, как рычагами машины, опутывал миры бесконечной нитью. За серой сетью исчезало небо и меркло солнце, а на землю пришла ночь. Из мутных сумерек глядели огненные глаза паука, и когда он вполз в зал и, опершись толстым животом на колонну, обдал всех огнем безумных зрачков, коснулся острыми шипами ядовитых лап, несколько человек с громкими криками и стонами упали на пол и начали биться в судорогах.

— Пришел! — раздался крик юноши. — Пришел рожденный силами земли и духа...

У колонны вырос гигант. В этом месте мрак словно прорвался, и в прорыве явилась неясная фигура. Она делалась отчетливее и светлее. Огромное тело было мрачно, чернее темноты, а голова озарена внутренним светом. Гигант почти касался сводов зала. Глаз не было видно, так как он устремил их вверх. Могучие руки он скрестил на груди, по которой почти до пояса спускалась длинная, седая борода.

Он вдруг что-то произнес. Голос его был подобен удару грома.

Стены вздрогнули от этого голоса, заколыхались семи-свечники, и пали лицом на землю все присутствующие...

Погас свет, и исчез гигант.

У входа в зал раздался пронзительный крик и долго не смолкавший вопль:

— Мой сын... мой сын... мои дети!..

Вспыхнули лампы, и люди начали подниматься, испуганные и подавленные.

Какая-то дама, вся в черном, протискивалась сквозь толпу к возвышению у колонны.

Мальчики в белом и люди с черными курчавыми волосами и загорелыми лицами окружили юношу и девушку, и они, взявшись за руки, медленно и важно спускались по ступенькам.

— Гриша! Нина! — надрывным голосом крикнула, взглянув на них, ворвавшаяся в зал дама.

Ни юноша, ни девушка не взглянули на нее. У обоих были плотно закрыты глаза, а на лицах безмятежный покой.

— Вы не узнаете своей матери! — с отчаянием в голосе крикнула несчастная женщина. — Пожалейте меня! пожалейте...

Тяжелые, призывные рыдания матери услышал юноша и, безотчетно улыбаясь, открыл свои глаза.

Он потопил в их бездне тревожный взгляд несчастной женщины, заглянув ей в душу, понял и узнал все, хотел что-то сказать, даже губы его уже шевельнулись, но вдруг какая-то странная улыбка исказила его прекрасное лицо и, смеясь и приплясывая, он начал, заикаясь и сбиваясь, шептать:

— Ниночка с белой козочкой играла... у козочки рожки золотые, попугай еще был... а старый Гатва ушел уже... совсем... в страну сил... Белая козочка с золотыми рожками...

Он залился бессмысленным, блеющим смехом, жалобно передергивая узкими плечами и хлопая в ладоши...

— Ниночка! — бросилась к девушке дама. — Что с Гришей?

Девушка не шелохнулась и не издала ни звука.

Когда мать в ужасе обвела присутствующих взором, полным отчаяния и горя, один из мальчиков сказал:

— Девушка — глухонемая, и она никогда не открывает глаз!

В одном из отдаленных монастырей славится своей добротой и строгой жизнью нестарая еще инокиня Ксения.

При монастыре построен приют для калек, за которыми присматривает мать Ксения.

Особенной любовью ее пользуются высокий стройный юноша с красивым, но бледным и строгим лицом аскета и совсем молоденькая девушка с всегда закрытыми глазами и внимательным чутким лицом, таким обычным у глухонемых.



По целым дням ходит по старому саду инокиня Ксения и что-то говорит юноше и с тревожной пытливостью смотрит ему в глаза и ждет ответа...

И не спит она, и ни на минутку не оставляет их без попечения и присмотра.

Худеет инокиня с каждым днем, тяжелый кашель разрывает ей грудь, а слезы — частые гости на ее впалых, потухших глазах. Но неутомима она и сильна духом, не поддается тоске и недугу, хоть говорят, что в миру она богато и беззаботно жила...

Антоний Оссендовский

НОЧЬ В ХРАМЕ АМО-ДЖАН-НИН

Илл. Г. Моотсе



I

В уютном кабинете, изредка перебрасываясь короткими фразами, наслаждались отдыхом три человека.

Двое русских и один китаец.

—Вы напрасно, Лев Георгиевич, — тихим голосом говорил молодой китаец, — считаете нас равнодушными и лишенными высших признаков культурности.

Старший из собеседников добродушно и снисходительно улыбнулся.

— Я не говорю, что в вас нет признаков культурности. Я лишь утверждаю, что китайцы совершенно неспособны воспринимать неуловимые ощущения из области обостренных и неисследованных чувств, соединяющих нас с миром духов. Как вы на этот предмет смотрите?

Вопрос был обращен к третьему собеседнику.

Тот задумчиво наклонил голову и ответил вопросом.

— Вы, вероятно, подразумеваете явления спиритизма и материализаций духов?

— Хотя бы, милейший Борис Павлович, хотя бы! — утвердительно кивнув головой, сказал старший из собеседников.



Борис Павлович бросил быстрый взгляд на китайца, и тот его понял. Он слегка побледнел, но, спохватившись, затянулся дымом.

— Если капитан Ю-Мен-Лен разрешит мне рассказать один эпизод из наших скитаний по Небесной Империи, я уверен, что сумею опровергнуть ваше ошибочное о китайцах мнение, Лев Георгиевич.

Китаец молчал. Он глубоко задумался и не слышал слов Бориса Павловича.

— Разрешите, дорогой капитан! — попросил Лев Георгиевич.

— Это очень тяжелый момент моей жизни! — задумчиво произнес капитан.—После этого эпизода я считаю себя умершим для жизни. Бодрствует мое тело, но душа витает в иных областях. Это странно, но я ощущаю это совершенно ясно... Однако, пусть Борис Павлович расскажет.

II

— Прежде всего, — начал Борис Павлович, — я должен напомнить, что в 1903 году я, не имея никакой определенной дипломатической миссии, был послан в Пекин и очень тосковал без дела.

Тогда начинались приведшие к войне трения, помешать которым посольство, связанное по рукам и ногам политикой Порт-Артура, не могло. Все время я проводил в экскурсиях по окрестностям Пекина или в прохладных залах библиотеки Тсу-Танги, где прочитывал старинные китайские книги, снабженные, как известно, очень подробными переводами и комментариями английских и французских миссионеров. Здесь я познакомился с капитаном Ю-Мен-Леном.

Китаец взглянул на умолкнувшего Бориса Павловича и, сверкая узкими черными глазами, проговорил:

— Да! Да! В Тсу-Танги мы познакомились с вами. Я тогда изучал там древнюю книгу, где описывался буддийский монастырь около Сяо-Гиляна. Меня поразило в этой книге частое упоминание моего родового имени Ю-Мен. Я знал, что мой род очень древний: при императоре второй дина-

сти, Ляо-Шен-Гунси, один из Ю-Мен-Ленов сражался с японским князем Хо-Ниото и разбил его.

Китаец умолк и взглядом попросил Бориса Павловича продолжать рассказ.

— Мы как-то сразу сошлись с капитаном, — начал тот, — и, встретившись с ним однажды в здании посольства, решили провести вместе несколько скучных летних месяцев. Капитан предложил мне посетить заинтересовавший его монастырь, и я согласился.

Жить в Пекине или его окрестностях мало меня привлекало, и мы уехали в Сяо-Гилян, откуда на шаландах по Желтой реке добрались до отрогов хребта Джунар.

С одним проводником, с большим трудом раздобыв в этой пустынной части империи мулов, мы углубились в лесистые горы.

Рассказчик залпом выпил бокал вина и, помолчав немного, обратился непосредственно к Льву Георгиевичу.

— А теперь вообразите густые, девственные заросли дубняка, высокую, сухую траву между толстыми стволами и целую сеть лиан и дикого винограда, перекидывающегося с дерева на дерево. В лесу постоянный полумрак. Солнечные лучи не могут проникнуть сквозь зеленый купол леса. И вдруг мы были ослеплены! Прямо навстречу нам лился поток отраженного света. Что-то необыкновенно яркое находилось перед нами, и оттуда лился ослепительный белый свет.

Даже наши мулы тревожно шарахнулись, а проводник, угрюмый тибетец, проворчал на своем глухом, гортанном наречии:

— Вот и развалины старого храма...

Мы двинулись вперед. Лишь только мы выехали из леса, сказочный вид открылся перед нами.

Огромная поляна, заросшая высокой травой, кустами цветущего багульника и полевыми желтыми лилиями, постепенно суживалась, и в конце ее, на фоне темного дубового леса, ползущего вверх по Джунару, сверкали белые стены развалин.

Местами виднелись в толстых глыбах мрамора широкие трещины, а в них росли верески и пестрели красные венчики асторей. Передний фасад представлял ряд колонн, увенчанных замысловатыми изваяниями слонов и людей. Широкая терраса с ведущими к ней тремя гигантскими, но уже полуразрушенными ступенями, находилась в тени, отбрасываемой массивными арками, перекинутыми с колонны на колонну.

Здесь росли кусты дикого рододендрона и тщедушные тамариски, Бог весть откуда занесенные сюда, в эту горную область. Мы долго стояли, пораженные и молчаливые, в целом море лучей, отраженных белыми стенами развалин.

В этих солнечных гонцах, посылаемых нам навстречу, был непонятный, страстный привет.

Казалось, этот забытый храм, создание давно истлевших людей, улыбался нам, живым, и радовался великой, теплой радостью старцев.

На мраморном полуобвалившемся фронте четко выделялась короткая надпись:

«Привет пришедшему...»

III

Борис Павлович замолчал и взглянул на капитана.

Тот сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла, но во всей его фигуре было заметно напряженное внимание.

— Продолжайте! Продолжайте, — шепнул он, не открывая глаз.

Но Борис Павлович закурил папиросу и долго молчал, пуская кольца дыма.

— Мы тронулись к храму, — вновь начал он прерванный рассказ. — Из травы выскочила пара диких коз и, стуча твердыми копытцами, взбежала по белым ступеням на террасу и здесь скрылась за одной из колонн.

Мы оставили мулов и подошли к развалинам.

В передней стене, тотчас за колоннами, виднелась широкая дверная ниша.



Она вела в огромный внутренний придел, лишенный потолка и сводов и сплошь заросший кустами дуба, с трудом выбивающегося из широких щелей между плитами.

В одном углу чернелось обычное изваяние Будды из серого раковистого камня Адахгры.

Безголовое и безрукое изображение серой, темной грудой пятнало белую, залитую солнечным светом стену, и было в нем столько немой, древней мощи и скорбного величия, что я невольно обнажил голову.

Мне почудилось, что я вижу тысячи, миллионы следов от тех взоров, которые с надеждой и мольбой смотрели на серую фигуру безмолвного бога, родившегося на Ганге.

Чьи глаза взирали на этого разрушенного человеком или временем Будду?

Тюркские завоеватели, индийские кочевники, суровые тибетские воины, мирные равнодушные жители Китая, нежные женщины из страны Хо-Дзян-Пао, — все они приходили сюда, в этот храм Амо-Джан-Нин, и смотрели на молчаливое, полное силы и спокойствия изваяние.

Где же теперь эти люди? Выслушал ли их моления Будда из серого камня индийской земли? Почему их нет теперь здесь? Почему белый Амо-Джан-Нин рассыпается в прах? Мне тотчас вспомнились жестокие времена, когда кровавый и дикий Яма-та с огнем и мечом прошел через эту страну и, подобно седому морскому прибою, разбился о каменные стены самой природой защищенной Лхасы.

Яма-та шел через Джунар. После него исчезли с лица земли богатые и шумные города Бо-Та-Су, Шин-Ли-Эй и Фа-Та-Капен.

От них не осталось камня на камне и, подобно Атлантиде, поглощенной волнами океана, погрузились навеки эти человеческие муравейники в бездонную пучину времени.

Исчезли города... что же говорить о людях?..

От их жизни ничего не осталось, и память о них живет лишь в тех следах, какие видел я на сером изуродованном туловище некогда всемогущего Будды.

Мне сделалось грустно, и я вышел из этой светлой могилы, где упорно, но бесплодно борясь с тлением камня, постепенно сливался с временем и природой индийский бог.

На террасе я увидел капитана Ю-Мен-Лена. Он стоял в тени, и, низко опустив голову на грудь, смотрел на плиту в углу за колоннами.

Здесь на белой плите виднелось небольшое пятно. Что-то давно истлевшее глубоко въелось в мрамор и навсегда осталось с ним, подобно тем неизвестным письменам, которые высечены на древних скалах Самгоса.

Тут же истлевал почерневший от дождя и наносной цветени остаток черепа...

Разрушение, следы всемогущей смерти были разбросаны повсюду в этом старом храме.

Разыгрывалось воображение, тихий вздох невольно подымал грудь, в сладкой истоме неизведанного замирало сердце, а губы молитвенно шептали:

— Амо-Джан-Нин!.. Древний, белый Амо-Джан-Нин...

IV

Настала ночь. Таинственная ночь глухих, гористых стран, где все засыпает и спит, не шелохнувшись. Не шумели насекомые, даже не стрекотали цикады и не вскрикивали, просясь, птицы.

Тихо мерцали звезды, и луна заливала своим серебристым светом Амо-Джан-Нин. В мертвенно-бледных лучах ее призрачно белели стены старого храма.

Казалось, что при тусклом мерцании погребальных свечей смерть справляет безмолвную таинственную тризну, а время гложет камень колонн и арок, неслышно впиваясь в них.

Засыпая, я мельком взглянул на капитана. Он лежал на спине рядом со мной и ровно, спокойно дышал...

V

Проснулся я внезапно и сразу открыл глаза. Что разбудило меня? Что так мгновенно и властно отозвало сон? Почему я был так взволнован? Я хотел разбудить капитана, но его уже не было возле меня... Я быстро сел и начал искать его глазами. Он стоял в нише входа во внутренний придел храма и отчетливо выделялся на фоне дальней, ярко освещенной луной стены.

Дрожь пробежала по моему телу и волосы зашевелились на голове, когда я взглянул на капитана.

Высокий и стройный, он, казалось, замер и окаменел, но лицо его было ужасно. Оно было совершенно бледно. Крепко сжатые челюсти были сведены судорогой. Нечеловечное напряжение мысли виднелось в каждой черте лица.

У меня не было сомнения, что этот человек видит и ощущает невидимое и неосязаемое, видит с ужасом и ощущает с невероятным страданием.

Глаза капитана были неестественно расширены и в них затаилось и замерло то же напряжение, которое было на лице.

Его глаза говорили мне, что душа его витает в ином мире, далеко от этих белых мраморных развалин храма и черных, сонных стен леса.

Я начал следить за взглядом капитана и скоро заметил необъятную, но странную подробность.

В том углу, где днем я видел пятно и обломок черепа на полу, теперь что-то медленно и равномерно колыхалось.

Это был красный цветок абореи. В голубых лучах месяца он казался совсем черным. Цветок медленно колебался из стороны в сторону, и к нему были прикованы взоры Ю-Мен-Лена.

Что приводило в движение красный венчик нежного цветка? Ветра не было. Тихо дремала трава и не шевелились высокие стебли тонких лилий.

Я начал пристально вглядываться в колебания цветка и... вдруг понял все.

В углу стояла юная китайка. Царственные одеяния широкими складками скрывали ее хрупкое, едва сложившееся тело женщины.

На светло-голубой шелк курмы были брошены рельефы белых ибисов с серебряными коронами на головах.

В черных волосах девушки ярко рдели два красных, кроваво-красных цветка, приколотых к причудливой прическе двумя длинными шпильками с тихо звенящими золотыми бубенчиками.

Девушка как бы плавала в лунном тумане и медленно покачивала маленькой изящной головкой.



За китайкой открывалась длинная анфилада комнат. Белые с бамбуковыми колоннами переплетом потолка залы, где вся мебель была из полированного багряно-красного дерева; черные и белые комнаты, «покой солнца» — желтый, круглый зал, изукрашенный старой слоновой костью, перламутровой инкрустацией и золотом — шли эти комнаты одна за другой, теряясь за далекой завесой тумана.

Девушка то уплывала вглубь, то вновь приближалась, и тогда я мог видеть ее чудное лицо.

Матово-белое, с нежным румянцем и яркими, свежими губами, — оно было прекрасно. Темно-синие глаза под длинными ресницами и тонкими дугами бровей сверкали, как звезды, но в них были слезы.

Эти глаза и теперь живут в моей памяти! Тогда же я чувствовал себя во власти этих чарующих глаз и знал, что, если бы они взглянули на меня, я все бы бросил и пошел за ними через всю бесконечную анфиладу загадочных комнат, если бы даже знал, что там, за каждой колонной, за колыхающейся занавеской, за тяжелой ширмой из бронзы и резного черного дерева подстерегает меня смерть.

Но глаза юной китайки смотрели на капитана Ю-Мен-Лена.

А он стоял зачарованный, оторванный от земли, живой, но не живущий здесь.

Тихо зашевелила маленькими, хрупкими ручками призрачная красавица и бесшумно зашептали ее губы.

Капитан еще более побледнел, а глаза еще упорнее и напряженнее впились в видение.

Я почувствовал, как во мне куда-то отхлынула кровь, и ледяный холод окутал меня. Я с нечеловеческим упорством вслушивался в звуки ночи, старался уловить шепот девушки, тень которой трепетно колебалась у черного цветка астры.

Ни один звук не долетал до меня, но я с ужасом сознавал, что слышу грустный голос девушки-видения. Я был уверен, что схожу с ума. Тело не повиновалось мне, и мои органы чувств спали. Но действовали и бодрствовали иные, неизвестные мне, чувства, и я все видел, слышал и понимал.

VI

Девушка шептала:

— Привет тебе, Лен, последний в роде кровавого Ю-Мена!

— Привет дочери Сам-Ур-Вея, Дзи-Шо-Каюн!

— Я родилась в тот час, когда злой дракон Люун закрыл своим извивающимся хвостом золотое лицо огненного Жи-То*.

И предсказали мне мудрые бонзы жизнь славную.

«Ты — говорили они моему отцу, Сам-Ур-Вею, — будешь велик и славен через свою дочь. Она будет женой богдыхана, потомка Люуна».



И только один бонза, пришедший из древнего Кой-Пин-Унга, горько задумался и сказал:

«Сам-Ур-Вей! Дочь твоя будет несчастна. Тяжела будет кончина в тот час, когда злой Люун будет пожирать небесный шар».

* Солнца (Здесь и далее прим. авт.).

С той поры прошло четырнадцать весен, и я стала первой красавицей от лесов Ан-Гема до высокой стены, оберегающей Пэ-Синь* от диких людей студеного севера.

В честь мою слагались песни, и их слышал сам богдыхан, молодой повелитель Пэ-Синя, захотел увидеть меня и взять в жены. Через верных гонцов великий потомок Лююна известил о прибытии своем в Со-То-Шен.

Богатый город Со-То-Шен! Двадцать дорог вели к нему через леса, горы и долины; окружен он был высокими стенами из мрамора с вершины Джунара Мо-Линь.

В середине города стоял белый дом моего отца, богатого Сам-Ур-Вея. Теперь город исчез, и только камни от стен его домов я нахожу под покровом трав и диких мхов, когда в шестое полнолуние блуждаю по земле.

Заросли папоротниками дороги. Остались только стены дома моего отца.

Здесь принимал он Юань-Шин-Ба-Фая, последнего богдыхана из великого гнезда Хун-Бао...

VII

С закатом солнца ждали мы прибытия повелителя Пэ-Синя... На стенах стояли с длинными юнгами сто младших бонз и ждали появления первых гонцов богдыхана.

И вдруг задрожал воздух от заунывных звуков труб, и сбежался народ к воротам белых стен.

По дороге шел юноша, шел одинокий, но гордый.

Подойдя ко мне, он заглянул мне в глаза и сказал:

«Я узнал тебя, Дзи-Шео-Каюн! В моей стране, далекой Кау-ли-та-бат, я много слышал о твоей красоте, которая, как истинная мудрость, редка на земле.

Сегодня я пришел взглянуть на тебя и уйти. Я шел тысячу дней, чтобы только увидеть тебя и сказать, что давно люблю тебя в мечтах моих!»

* Китай.

Мне было сладко слышать ласковые, любовные речи прекрасного юноши, но в этот миг затрубили опять медные гонги, и скоро двенадцать пар снежно-белых мулов внесли в город золоченый паланкин богдыхана.

Но в этот день мы не видели лица могучего Юань-Шин-Ба-Фая.

Он не вышел из внутренних покоев нашего дома и не звал к себе моего отца.

Стража печально стояла у дверей дома, и тревожно шептались о чем-то слуги и приближенные повелителя. Храбрые начальники войск богдыхана куда-то скакали на быстрых конях и возвращались усталые и нерадостные, а с коней струилась на землю белая горячая пена.

В тревоге, чуя беду, разошелся народ по домам и стали гаснуть благовонные светильники в нашем доме.

Я сняла с себя дорогие уборы и, перебирая яхонтовые шарики, думала о прекрасном юноше.

— Где он теперь? Кто он? Откуда пришел и куда ушел?..

Тихо скрипнула дверь из резного бамбука... Видно, ветер дунул, примчавшись с Джунара, и тронул легкую дверь...

Но я вдруг услышала голос... тихий, еле внятный шепот. Я узнала голос того юноши, который подошел ко мне у ворот города и сказал простые и сильные слова любви.

«Дзи-Шо-Каюн! Нежный цветок девственного Джунара и солнца Хо-Дзян-Пао, душа души моей! — шептал он. — Ты знаешь ли, девушка, что значит счастье, что значит жизнь?»

— Это любовь... одна любовь... Без любви нет жизни... И я люблю тебя, но ты... ты любишь ли меня?»

Я молчала в страхе и стыде.

«Но я беден, — продолжал юноша, — беден, как птица! Зато я, как птица, умею петь».

И он запел тихую песню о стране, где вся земля залита кровью. Где богатый обижает бедного, сильный убивает слабого, умный обманывает глупого.

«Каждая обида, — пел юноша, — капля крови. Каждая слеза — алая кровь.

Много обид, много слез... — так много, что кровью напилась земля.

Люди тонут в кровавой земле, как в бездонной трясине мрачной страны Ргунджа. Тонут и гибнут, проклиная жизнь, созданную ими.

Но придет богатырь и полюбит он Дзи-Шо-Каюн. И полюбит Дзи-Шо-Каюн богатыря! Сильна и горяча, как солнце, будет их любовь! И подобно тому, как исчезает вода от жарких солнечных лучей, сбиваясь в гряды серебристых облаков, так от их любви исчезнет вся кровь на земле».

Окончил певец и подошел ко мне. В мои глаза погрузил он острия своих взоров и смотрел долго и глубоко.

«Люблю тебя, прекрасный юноша! — сказала я, не боясь и не стыдясь своей любви. — Пусть ты беден, как птица — я пойду за тобой. Зной и стужа, счастье и горе будут на радость мне! Не беден ты, если тебя беззаветно может полюбить девушка. Ты — богатырь!..»

И пока золотое солнце не блеснуло из-за островерхого Джунара, мы тихо шептали друг другу о счастье и любви,

«Завтра ночью я опять приду к тебе, песня песней моих!» — сказал мне юноша и исчез, как видение.

В полдень сам Юань-Шин-Ба-Фай, последний богдыхан из великого и славного гнезда Хун-Бао, призвал меня к себе.

Я пала ниц перед повелителем и, не дыша, лежала и внимала тому, что говорил он мне громким голосом:

«Дочь Сам-Ур-Вея! Ты будешь моей женой. Первой звездой среди всех жен Пэ-Синя будешь ты! Шелк Туян-Лоу, золото Хин-Гана, самоцветные камни Мо-Га-Линя, слоновая кость далекого Джинда и перлы То-Ра-Суаня будут у ног твоих, красавица Джунара! Рабов и рабынь бесчисленных я дам тебе! Жизнь всякого человека Пэ-Синя будет в твоей власти! Ты будешь женой моей. Это говорю тебе я — Юань-Шин-Ба-Фай, сын божественного луча На-Юань-Хун-Бао, потомок всемогущего Люуна».

Кончил свою речь повелитель, а я молчала.

«Ю-Мен! — позвал повелитель твоего давно умершего предка. — Спроси девушку о ее согласии».

Тяжелыми шагами подошел ко мне, бряцая оружием, Ю-Мен, и грозно спросил: «Дзи-Шо-Каюн! Согласна ли ты быть женой повелителя всего Пэ-Синя?»

И тихо прошептала я, как дуновение ветерка, одно лишь слово:

«Нет!»

«Повелитель! — вскричал Ю-Мен. — Прикажи и я убью ее!»

«Оставь девушку! Она свободна в своих желаниях», — ответил повелитель и подошел ко мне.

«Дзи-Шо-Каюн, — спросил он, — ты любишь другого?»

«Да!» — ответила я, как далекое горное эхо в ущелье Лью-Ма-Рабука.

«Он — богат и знатен?»

«О нет, великий сын Люуна! Он беден и благороден!» — ответила я.

«И ты не хочешь забыть его для меня, всемогущего Юань-Ба-Фая?» — спросил он мрачным голосом, в котором дрожал гнев.

«Великий! — воскликнула я. — Нет! Никогда...»

Ушел повелитель, а за ним ушла его свита и скрылись в покоях дома моего отца... Я же вся дрожала, как тростник священного озера Саю-Хан, и ждала ночи.

Лишь только осветила луна дубовый лес и густые заросли пахучих тамарисков, юноша пришел ко мне.

«Приветствую тебя, вздох счастья, мечта добрых духов, яркий луч жизни! — начал он. — Я люблю тебя! Ты сегодня в полдень отказалась от богатств моих, богатств богдыхана. Отказалась от меня, великого и могущественного, для меня — бедного и безродного!

Я, Юань-Шин-Фай, повелитель Пэ-Синя, узнаю тебя, девушка, как простой смертный, и, как простой смертный, я молю тебя войти в мой дворец на Ку-Оли-Ачане, как жена и царица!...»

Лишь белый месяц и густые тамариски заглядывали в окна и видели, как они крепко взялись за руки и смотрели друг другу в глаза.

Но заскрипел песок под окном и, выглянув, я увидела воина в бронзовых латах и в шлеме с золотым драконом.

Он быстро шел и держал в руке обнаженный меч.

«Уйди, повелитель! злой человек спешит сюда. Иди — укройся!» — сказала я. Он улыбнулся и ответил:

«Я уйду. Не надо, чтобы до времени знали люди о нашем счастье. Хочу быть счастливым вдали от чужих глаз».

Он крепко прижал меня к себе и исчез, как исчезает утренняя мгла в Фо-То-Бойе при южном ветре с Ко-По-Ту.

Едва успел замереть за ушедшим юношей-богдыханом золотистый шелк занавесок, — вошел грозный воин.

«Слушай, ты, дочь Сан-Ур-Вея! Тебе скажет слово военачальник повелителя, Ю-Мен, прозваньем Су-Га-тун,—горный орел.

Ты околдовала великого Юан-Шин-Ба-Фая. Он не знал тебя, в своем дворце на Ку-Оли-Ачане, сквозь сон, нараспев, он говорил о тебе, хвалил твою красоту, сердце доброе и ум. Две ночи подряд он исчезает из своих покоев так же бесследно, как исчез он из своего паланкина, лишь только вдали мы увидели белые стены Со-То-Шэна.

Ты околдовала повелителя, и вот, взгляни — ползет по небу злой Люун и уже начинает пожирать бледный шар мертвой, холодной луны. Это предвещает опасность потомку Люуна, богдыхану Пэ-Синя, и твою смерть, Дзи-Шо-Каюн!»

Грозный Ю-Мен вонзил в мою грудь широкий меч, и пала я, как подрезанный колос созревшей пшеницы.

На другой день юный повелитель объявил меня своей женой и повелел сжечь мое тело. Мой прах в золотом сосуде он опустил в выдолбленный мрамор восточной стены и скрыл его от взоров людей Буддой из серого камня Аждагры.

Кровавого Ю-Мена казнил мой супруг и повелитель и его кровью он обагрил подножие Будды и залил ею стену, где покоился мой прах.

Юан-Шин-Ба-Фай купил дом Сам-Ур-Вея и сказал:

«Отныне этот дом — храм! Имя его — Амо-Джан-Нин, это значит: великое горе человека!»

И велел богдыхан переселиться всем жителям Со-То-Шена в соседние города и сжег он Со-То-Шен, сохранив лишь новый храм.

А через год примчался в Амо-Джан-Нин юный, прекрасный повелитель Пэ-Синя и трепетной тенью у цветка асторей предстала перед ним Дзи-Шо-Каюн, вызванная силой его любви и страстью его зова.

Длинные ночи коротали мы с ним, молчаливые, то страстно, безумно пылкие, то грустно-нежные, но на десятый день услышали мы звуки гонгов и боевых рожков. То мчались воины на поиски богдыхана.

«Прими меня в стране “ста духов”, — воскликнул тогда Юань-Шин-Ба-Фай, — прими меня, моя возлюбленная жена, Дзи-Шо-Каюн!»

И, разбежавшись вот от той колонны с звероподобными людьми на вершине, он ударился головой о твердый мрамор стены Амо-Джан-Нина...

Брызнула царственная кровь последнего из рода Хун-Бао, и пал он мертвый... Его душа с тихой песнью слилась со мной в прекрасной стране «ста духов».

Мимо промчались воины богдыхана, и долго жила тревога и смута в Пэ-Сине...

Прошли века. Истлел Юань-Шин-Ба-Фай. Его тело вьелось в белый мрамор Мо-Линя, и только череп богдыхана пережил длинный ряд бесконечных тьен-баю...*

Кровавый Ю-Мен свершил грозное дело. Он лишил Пэ-Синь благороднейшего из владык и нежную Дзи-Шо-Каюн возлюбленного мужа...

VIII

...Наступило глубокое молчание. Казалось, что в уютном кабинете нет живых людей.

* Столетие.

Борис Павлович оборвал свой рассказ на последнем слове и не двинулся.

На лице Льва Георгиевича застыло выражение ожидания.

Долго длилось молчание. Его нарушил бледный, взволнованный капитан Ю-Мен-Лен.

— Борис Павлович! — попросил он. — Вы должны закончить рассказ!

— Мне очень тяжело это сделать, — сказал тот, — но я исполню ваше желание, капитан.

Он помолчал немного, а потом начал:

— Когда китаянка замолкла, я собрал все свои силы и старался сбросить с себя ужасный кошмар, но, к моему ужасу, я не мог отделаться от страшной власти видения. Что-то могущественное охватило меня, и я был убежден, что все наблюдаемое мною — действительность, необъяснимая действительность. Я чувствовал, что схожу с ума, что еще миг, и в моем мозгу исчезнет граница, разделяющая известное от неизвестного, и что тогда я перестану существовать. Взглянув на капитана, я убедился, что он находится весь во власти непонятного видения...

В то же время кажущийся при лунном свете черным, пряно пахнущий цветок асторей, мерно колебался из стороны в сторону, а около него, то расплываясь в полумраке, то вновь появляясь, молчала таинственная маленькая китаянка с яркими, неземными глазами.

Что-то толкнуло меня... Я бросился вперед и с диким криком схватил стебель асторей и рванул его. Мне ответили два звука. Неистовый крик капитана и тихий, еле уловимый слухом стон. В эту минуту я почувствовал острую, жгучую боль и упал на белые плиты старого храма Амоджан-Нин...

Когда я очнулся, надо мной склонилось лицо капитана Ю-Мен-Лена.

Я долго был болен, и врачи Пекинского лазарета с трудом вырвали меня из цепких объятий смерти. Рана была глубокая. Нож лишь на два сантиметра прошел правее арты.

— Рана? — спросил Лев Георгиевич.—Откуда рана?

Капитан быстро поднялся со своего кресла и, блестя глазами и нервным движением сжимая тонкие пальцы, быстро проговорил:

— Когда он сорвал цветок— исчезла тень Дзи-Шо-Каюн, и я в порыве непонятого, но безграничного отчаяния выхватил нож и ударил... Мой нож поранил моего друга...



Борис Павлович подошел к китайцу и молча пожал ему руку.

— С той поры, — продолжал капитан, — я не ощущаю интереса к жизни. Все, что я делаю, это делает мое тело, но дух мой, все дремлющие в человеке и неизвестные ему чувства очень обострены и живут собственной жизнью. Я часто слышу недоступные для других звуки, подобные голосу

давно убитой моим предком дочери Сам-Ур-Вея. Мы ведь и тогда не слышали ее голоса ушами, он проникал к какому-то другому слуху, но был еще более ясен и понятен нам. Этот слух не знает языков и наречий. Он воспринимает язык мыслей и воли подобно тому, как слух принимает язык звуков. Нередко я вижу колебания чего-то безграничного и прозрачного, повисшего в воздухе, и в этом прозрачном море плывут и движутся ясно различимые мной лица и события... Но кто мне скажет: кто они? где они были? Откуда приходят и куда исчезают? И когда они совершались и жили на земле?

Все молчали. В голосе капитана звучало глухое отчаяние, страстная мольба дать ему выход из того мира загадочного и страшного, куда загнала его прихотливая, полная неожиданности, неизведанная жизнь человека.

— Да! — уже спокойным голосом произнес капитан. — Летом я возвращаюсь в Китай, а в июле, когда вы оба будете отдыхать в Трувиле, я буду приближаться к Джунару, к развалинам Со-То-Шена. Древний Амо-Джан-Нин увидит еще одну смерть. Там, на белом мраморе, пережившем ряд веков, пала мертвой Дзи-Шо-Каюн, там отдал свою кровь мой предок, жестокий Ю-Мен, и разбил о камень свою царственную голову последний Хун-Бао, благородный Юань-Шин-Ба-Фай... Там же окончит свои дни умерший уже давно для жизни Ю-Мен-Лен, последний потомок убийцы...

.
.

...Все молчали. В дальних комнатах начали бить часы...

Алексей Будищев

БРЕД ЗЕРКАЛ

Илл. В. Сварога



Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом,
Я при свечах навела...

Фет

Тонкая молодая женщина с большими, темными и прямо-таки страшными своей отчужденностью от всего земного глазами, нездешними глазами нестеровских ангелов, сидела на вокзале захолустной станции в ожидании поезда и беседовала с нами, ее случайными спутниками. Она говорила, а мы внимательно слушали, не отводя глаз от ее прекрасного нервного лица, грустно освещенного мистическим светом ее глаз.

— На свете много непознанного, — говорила она нам грустно, нервно двигая бровями, — и много тайн окружает нас. Что мы знаем о том мире, среди которого мы живем? Жалкие отрывки по всем отраслям знания — вот научный багаж современного образованного человека. Разве он в состоянии объяснить, почему крылья вот у этой бабочки цветисты, как перламутр, а вон той черны, как уголь? Разве химический состав яичек, из которых они вылупились, не однороден? Как зародилась первая клеточка первичной водоросли? Где? При каких обстоятельствах? Куда девается духовная сущность человека после смерти его? Во что перерабатывает ее земля? Кто сможет отвечать на все эти вопросы и какими доказательствами подкрепит он свои соображения? Все это — тайны и тайны, которые не в силах осветить никакой ум. Не правда ли, как ограничен предел человеческого зрения, и разве вы поверите мне, если я скажу вам, что однажды я видела событие, происходившее от меня на расстоянии десятка тысяч верст? Да, да. Я жила

в уездном городке Саратовской губернии и видела своими глазами смерть моего мужа на Дальнем Востоке у бухты Посьета. Вы мне верите? Хотите, я расскажу вам, как произошло все это?

— О, пожалуйста! — раздались голоса.

Она спросила:

— Зачем? Ведь все равно вы не поверите ни единому моему слову?

— Пожалуйста, — просительно проговорил кто-то, — ради Бога!

Опять она повторила капризно и нервно:

— Зачем? Вы прослушаете мою правдивую историю, изломавшую мою жизнь, как святочный рассказ, а я... что я пережила в ту ночь... — Она схватилась за голову с жестом отчаяния и, как черные бриллианты, страшно замерцали ее нездешние глаза.

— Пожалуйста, расскажите, пожалуйста, — почти выкрикнула пожилая дама с целым балдахином из страусовых перьев на рыжей голове и стала целовать руки молодой женщины.

— Извольте, — согласилась та покорно. — Я жила, как я уже вам сообщила, в маленьком уездном городке Саратовской губернии, а мой муж, пехотный армейский поручик, находился около Владивостока в отряде, охранявшем бухту Посьета от японских десантов. Я всего два года была замужем и любила моего мужа безумно. Когда муж уехал на войну, я даже хотела было ехать вместе с ним, но муж убедил меня не делать этого.

Как я могла рисковать жизнью моего первенца, которому лишь исполнилось одиннадцать месяцев? Волей-неволей, я осталась с матерью и сыном. А муж уехал один, перекрестив меня и ребенка. Я понимала, конечно, — воин не может сидеть дома, когда отечество в опасности, но я часто плакала по ночам. Думала без сна: «Какие-то ужасы сторожат моего бедного воина? Что, если они изловили уже его сегодня? Вчера? Позавчера? Эти страшные призраки войны, с налившимися кровью глазами, что, если они встали поперек его тяжелой дороги?»

Муж писал мне довольно-таки часто из своего страшного далека. И в своих письмах почти всегда он просил меня не беспокоиться об его участи. Японцы делали слабые попытки к высадке на том побережье, и наши полевые батареи метким огнем всегда заставляли их шлюпки показывать корму. Больших сражений там не происходило, и офицеры совсем скучали бы без дела, если бы не частые стычки с беспорядочными бандами хунхузов. Муж так и писал мне в письмах:

«Милая женка моя. Обо мне не беспокойся. Опасностей никаких, и отличиться негде; на маневрах страшнее. Самое большое — привезу клюкву на саблю. А большее получить не за что. Бьем мы только хунхузов, разбойничью дрянь, трусливую, но блудливую. С ними ведается одна артиллерия, но на берег их не пускает. Бог даст, и не пустит».

Я радовалась, конечно, за мужа, но вдруг он замолчал. Прошла неделя, две, три — и ни одного письма. Я заметалась, послала несколько телеграмм, но ответа не получила. Никакого! Просто хоть сойти с ума! Что мне было делать? Стыла кровь в сердце, а по ночам к постели теснились черные ужасы. Старая кухарка Агафья, жившая у моей матери бессменно двадцать лет, сказала мне:

— А если бы вам погадать, барыня?

— У кого погадать?

— Как у кого? А у Рабданки?

В моей голове мелькнуло: «В самом деле, как я могла забыть о нем?» Весь наш городок говорил об этом страшном человеке как о кудеснике. Рабданка — только он мог рассказать о моем муже. Только он, только он. К вечеру этого дня я была глубоко уверена в этом. Или Рабданка, или никто. Рабданка — родом сибирский бурят — жил в нашем городе лет пятнадцать и занимался огородничеством и шитьем сибирских меховых туфель. Проживал он в собственном маленьком домишке, на окраине, весьма уединенно. И изредка, за большие деньги, он соглашался погадать всем, особо чаявшим его гадания. Говорили, что он гадает по кофейной гуще, по отражению свечи в чашке с водой, по какой-то толстой книге, переплетенной в оленью кожу. Сло-

вом, гадает чуть ли не сорока способами. Не выдержав искушения, я поехала к Рабданке в тот же вечер. С тревогой я постучалась к нему в дверь, когда извозчик подвез меня к незнакомому домику в три окошка. Бурят встретил меня со свечой в руке, заглядывая в мое лицо своими косо прорезанными, но острыми глазками. Его желтое лицо, безбородое и сморщенное лицо ворчливой старухи, было озабоченно. Он был одет в какую-то длинную и широкую кофту, достигавшую до самых пят, как юбка.

Он выпустил меня в дом, в маленькую комнату, окна которой были заставлены темными четырехугольными ширмами с изображениями белых длинноносых птиц. Посредине комнаты, на возвышении, стояло квадратное, в аршин, зеркало в черной раме, украшенной изображениями тех же белых птиц с длинными клювами.

— Балисня погадать хосит, — сказал он мне, картавя, как ребенок, после того, как я сообщила ему о цели своего путешествия к нему, — а я балисне гадать не хосю.

Я сказала ему, что я — не барышня, а барыня, и опять просила его погадать, но он упрямо отнекивался:

— Не хосю. Не хосю и не хосю.

И даже отмахивался руками. Я сулила ему за гаданье десять, пятнадцать, двадцать рублей, но я не могла сломить его упрямство. Но тут я сказала, что мой муж на войне, что три недели я не имею о нем сведений, что я беспокоюсь, уже не убит ли он. И я расплакалась. А сердце бурята, видимо, растрогалось.

— Ну, ну, ну, — стал успокаивать он меня, — ну, ну, немносько станемь гадать, немносько очень, но холосё-холосехонько!

И он помог мне раздеться, нежно прикасаясь к моим рукам. Потом он исчез за бурой занавеской, которой комната как бы разгораживалась на две части, и вынес две зажженные свечи в черных подсвечниках и небольшое квадратное зеркало. Свечи он поставил по бокам большого зеркала и поменьше — вручил мне.

— Сядь сюда холосенько, — руководил он мною, — зеркала делай так и глади и сё увидись... осень сё...

— Все? — спросила я, начиная робеть.

— Сё! — повторил он решительно — и музя, и сё! Осень холосенько увидись...

Он как-то чуть наклонил бывшее в моих руках зеркало, сделал три-четыре жеста над моей головой, и передо мной вдруг развернулась бесконечная сияющая даль. Его взгляд прикоснулся к моему темени, как острое шило. Я содрогнулась. Он еще более приблизил свое лицо к моему. Его лицо стало зеленоватым, а из его глаз словно текла светящаяся колеблющаяся струя, входя в мой мозг и делая мою голову тяжелой, но словно пустой.

Он ушел, и я почувствовала его взгляд на своем затылке, как теплую струю.

— Вот так, — бормотал он ласково, — смотли и смотли холосенько. Холосенько, холосенько и еще осень холосенько!

Мое сознание словно на мгновение задернулось туманами. А потом вновь расторглось, развертывая передо мной те же дали. Рабданка исчез с поля моего зрения в зеркале. Я передохнула всей грудью, напрягая зрение.

— Сейсясь увидись музя, — услышала я лепет Рабданки. И я увидела вновь в зеркале его лицо. Оно было совершенно зеленое, все оттянутое книзу странной усталостью.

— Нисего, нисего, — пробормотал он мне успокоительно, — еще немноско и немноско!

Сверкала даль передо мною, и я не чувствовала течения времени. Будто одеревенели мои виски, а грудь распиралась широкими, жуткими, острыми и мучительными ощущениями.

— Нисего, нисего, — едва достигало меня откуда-то одобрительное бормотание, — нисего!

А даль, расстилавшуюся передо мною, вдруг стало тягивать трепетной синью, я увидела белые облака и низкие кустики, мелькнуло бурое поле.

Я простонала и услышала ласковое, одобрительное, но полное утомления:

— Нисего! Нисего!

Там вдали передо мной мелькнули один за другим вооруженные всадники в низких шапках. Я замерла. Передо

мною словно разворачивалась лента какого-то волшебного кинематографа. Мелькали всадники, и опять тянулись низкие кусты. И вдруг я чуть не вскрикнула «Костя!». Я увидела мужа. Он стоял на пеньке среди кустиков и, быстро работая карандашом, видимо, зачерчивал на листке своей записной книжки расстилавшуюся перед ним местность. В нескольких саженях позади него среди кустов лежали два казака и играли прутиками. А еще дальше, стреноженные, паслись три лошади. Я чуть не заплакала, увидев после долгой разлуки моего мужа, а он проворно работал своим карандашом, пытливо рассматривая прямо перед собою расстилавшуюся местность. Как я хотела броситься к нему, обнять его, целовать и целовать, но я все-таки сознавала, что это не он, а лишь его отражение, что это — бесплотный мирраж, страшный бред обезумевших зеркал, оживленных чьей-то невероятной силой.

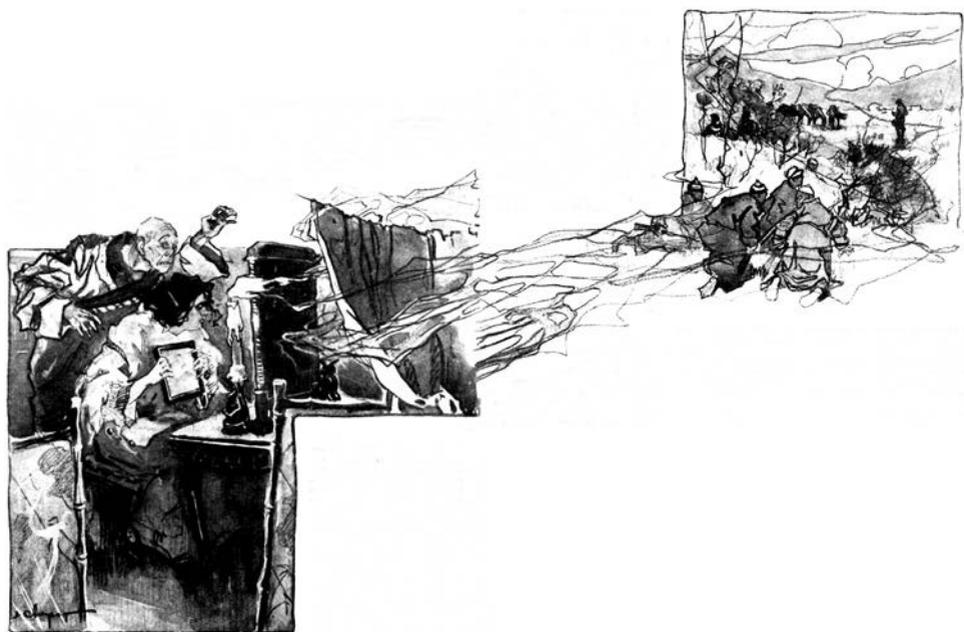
— А-а, — простонала я мучительно.

— Нисего, нисего, — проползло ко мне еле слышно.

Опять затрепетала даль, и вновь я увидела. Там, за холмом, сбоку, совсем припадая к земле, ползком тянулись друг за другом человек пятнадцать странно одетых людей, вооруженных винтовками.

— Хунхузы! — чуть не закричала я, догадавшись, и тут же сообразила, что они выследили разведочный отряд моего мужа, отряд, состоящий всего из трех человек, и что они желают напасть на него врасплох, прячась в траве, как отвратительные гады.

Подлые, разбойничьи души! Они все ползли и ползли. А я немела перед зеркалом с напрягавшимся до последней степени сознанием, со свинцовой тяжестью у висков. А те ползли. И муж все так же проворно зачерчивал что-то в свою записную книгу, и все так же беззаботно играли прутиками бородатые казаки. И вот я увидела: те страшные гады подползли близко-близко и, выставив длинные стволы, стали целить медленно-медленно. Как рысьи глаза, сверкали косо прорезанные щели и хищно слабились синеватые рты. Пятнадцать ружей уставились в трех человек, не подозревавших о дьявольской ловушке. Я изнемогла.



Как полярной стужей, опахнуло мои колени, и я еле сидела на моем стуле. Может быть, те промахнутся. Пятнадцать ружей в трех человек? Может быть, сейчас перед моими глазами совершится чудо из чудес? Святая Заступница, Непорочная Дева! Ради моего первенца, сжался! А те все целились и целились. Потом легкой синью вспыхнул прозрачный дымок, уносясь и разрываясь под ветром. Я хорошо видела: упал, как подкошенный, муж. Поникли казаки беззаботными головами.

Все померкло на мгновение перед моими глазами, бросив в зеркало черной тьмою. А потом вновь все прояснилось в безмятежной лазури. И я, смертельно изнемогая, увидела: четверо разбойников держали за ноги и за руки моего Костю. Он был тяжело ранен, и никло бледное лицо его. А пятый негодяй кривою саблей вырезывал на его лбу, на лбу моего милого мужа, какие-то страшные знаки. Издевался, мучая раненого... А потом все пятеро замахнулись на него саблями.

Страшные зеркала хотели заставить меня быть свидетельницей предсмертных пыток моего мужа. Я выкрикнула что-то непонятное, вскочила на ноги, с силой ударила зеркалом в зеркало, с яростью истребляя моих мучителей. Целый дождь острых и злых искр осыпал меня, как будто проникая в мой мозг. Я упала на пол. Через полчаса меня взяли от Рабданки мой дядя и моя мама. Прежде чем увести меня от него, они выспрашивали бурята, что такое увидела барыня в зеркале, отчего она так смертельно напугалась. Но тот отнекивался полным незнанием, разводил руками и невнятно шепелявил:

— Я же нисего не зняю! Я же сам себе денезки не плясил, ни зельтенькие ни беленькие, как же я увизю? Почему так? Лязьве же мозно далём?

А я пролежала целый год в лечебнице для нервно-больных...

Тонкая молодая женщина с нездешними глазами тяжело расплакалась, припадая к столу.

Мы безмолвствовали, поникнув, не поднимая на нее глаз. Потом кто-то робко спросил, боясь прикоснуться к

изболевшей душе:

— А как объяснили вам официально смерть вашего мужа?

Она чуть приподняла голову.

— Официально? Был послан с двумя казаками на разведку и без вести пропал вместе с ними. Так сообщил мне штаб.

И женщина вновь припала к столу. Через четверть часа мы навсегда расстались.

Алексей Будищев

ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ

Когда молодые наследники некогда весьма богатого имения при селе Даниловка распродавали всю обстановку доставшегося им старого дома, я закупил на этом аукционе несколько нужных мне книг. Среди страниц одной из этих тяжеловесных книг я нашел рукопись в один лист синей и толстой бумаги, сложенной в четвертушку. Тетрадошка эта заключала в себе, как оказалось, целый рукописный рассказ на французском языке.

Вот перевод этой рукописи:

Я положительно сходил с ума от горя, когда умерла она, эта милая белокурая девушка, моя кроткая невеста. Мы были уже помолвлены и обручены с нею; мы так любили друг друга, и по вечерам, когда лиловые пятна зари сверкали на ветках сада, как сказочные птицы, мы часто гуляли с нею, мечтая о совместной жизни. И весь сад точно улыбался нашим мечтам.

Кто же взял ее от меня? Зачем? За что?

О, мне никогда не забыть этой милой девушки, мне не забыть скорбной улыбки ее целомудренных губ, ее детски чистых глаз, всей ее фигуры, тонкой и мечтательно-нежной.

За что же ее обезобразили так перед смертью?

Она была вся самоотвержение. И она умерла от оспы, заразившись ею в какой-то бедной хате их деревушки.

Она ухаживала там за больными ребятишками. Туда, к этим ребятам, ее толкнули самоотверженность и любовь, та любовь, которая написана золотыми буквами Евангелия; так кто же осмелился осудить ее за этот подвиг на смерть? Кто же дерзнул так ужасно надругаться над нею, обезобразив перед смертью ее милое личико до неузнаваемости? Ведь ее когда-то ясное личико казалось одной сплошной болячкой с язвами вместо глаз в ту минуту, когда она лежала уже в гробу.

Кто же сделал это? Как он смел? Где высшая справедливость?

Подлость, ничтожество, трусость, все эти пресмыкающиеся гадины блаженствуют в счастье и довольстве, а само-

отверженность, любовь к ближним, целомудрие осуждаются на смерть, на позорную казнь, как преступники! Кем? Стоит ли жить среди таких законов, среди такого мира?

Эти вопросы жгли меня на медленном огне, и я хотел разбить себе череп в первый же момент после ее ужасной казни, но что-то властно остановило меня в моих намерениях, как дыхание мороза останавливает разбег ручья. И я остался жить. Для чего? Порой я даже как будто знал, для чего именно. Я словно искал случая отомстить кому-то жестокой и дикой мстостью, и я весь содрогался заранее в блаженных судорогах, предвкушая все восторги моей мести. Кому же я хотел мстить?

Я со слезами вымолил ее обезображенное тело у ее родных, и они после долгих колебаний уступили его мне, ибо я имел на него право, как обрученный с покойной на жизнь и смерть. И я предал ее прах земле в моем саду, устроив ей могилу между двух вековых вязов, которые должны были отныне оберегать ее покой, как два угрюмых стража.

Спи же, моя невеста, с миром; я бодрствую за тебя!

И они остались одни у ее могилы — эти два угрюмых и молчаливых сторожа, одряхлевших в борьбе с непогодой. А я уехал немедленно. Чтоб осуществить мою идею, я не мог мешкать.

Я отправился на поиски талантливого скульптора, который сумел бы понять и прочувствовать эти ужасные муки, терзавшие мое сердце день и ночь.

В конце концов я нашел-таки его.

И вот в моем унылом саду между двух вязов внезапно вырос мрачный памятник, дикий и оригинальный.

В самом деле, памятник этот был весьма своеобразен. Весь высеченный из черного мрамора, он представлял собой черную скалу с черной же фигурой коленопреклоненного ангела на ее вершине. Ангел этот, весь словно согбенный под непосильной ношей, придерживал одной рукой высоко вздымавшийся и слегка наклоненный назад черный крест, будто показывая небу выпуклую надпись из крупных золотых букв.

Когда я наконец увидел этого мстительного ангела, полного тоски и печали, и когда я наконец прочитал эту мною же сочиненную дикую надпись, я задрожал от восторга.

Вот что изображала эта надпись:

Она умерла в муках,
Обезображенная, о Господи, смертью
За то, что спасала других!

г. 1831. Сент. 12.

И мрачный ангел остался в моем саду, как желанный, давно поджидаемый гость. А я ежеминутно читал его дерзкую надпись и изучил все ее 78 букв и цифр, как свои пять пальцев. Я разговаривал с этими знаками, как с моими лучшими друзьями, по целым часам, я любовался ими, молился на них, потому что они одни остались в моем опустошенном сердце.

И только они одни насыщали мою жажду.

Так проходили дни за днями. Ангел упрямо показывал небу свою надпись, точно желая раздражить небо. И как будто это удавалось ему изредка.

По крайней мере, в часы непогоды небо низвергало на мой памятник целые водопады дождя, точно желая смыть дерзкую надпись всю без остатка, а в бурю старые вязы колотили по кресту своими тяжелыми ветвями, как дубинами, — пытаясь превратить весь памятник в порошок. И весь сад точно вставал на дыбы в бешенстве. Но мой ангел оставался несокрушимым, могучий своими мученьями. Он выходил победителем из этих ужасных битв. И я торжествовал, наблюдая за ходом этих сражений из окна моего кабинета, и хохотал, как в истерике, катаясь по дивану. Я был счастлив.

Однако, все мои соседи восстали на меня, найдя мой памятник богохульным. Однажды ко мне заехал даже капитан-исправник, вежливо приглашая меня убрать мой памятник и заменить его новым.

Я оставался непреклонен, и капитан-исправник вышел из моей комнаты, пятясь к дверям спиной, точно он выходил из клетки дикого зверя. Благодаря моим связям и деньгам, я отстоял моего Черного Ангела.

И он остался стоять в моем саду, между двух вязов, чернея мрачным пятном на фоне серого неба. Его дикие схватки с небом продолжались по-прежнему. И по-прежнему он выходил из них победителем. Битвы эти всегда отличались жестокостью, но в ночь под первое после смерти моей невесты Рождество бешенство обеих враждовавших сторон достигло крайнего напряжения. Весь обындивевший сад встал на дыбы, как взмыленная лошадь, напоры ветра свирепо свистели в воздухе, и вязы в диком ожесточении били по моему памятнику своими тяжелыми дубинами. Звуки этих резких ударов походили на выстрелы. Так продолжалось несколько часов, но к полночи все внезапно успокоилось. Ветер стих, сад словно замер в оцепенении, и небо со светлой улыбкой распростерлось над успокоенной землей,

Опасения за целостность моего памятника внезапно всколыхнулись в моем сердце.

Опрометью я бросился в сад. Мои предчувствия, однако, не оправдались. Черный ангел стоял, как и всегда, мрачно чернея среди тихо сияющей ночи все в той же позе, все такой же согбенный, словно он нес на своей спине все мучения земли. И он чернел между двух вязов, как нелепая укоризна.

А вокруг было так хорошо. Ночь светилась в сказочной красоте, сад стоял оцепенелый и по всей его белой поверхности мигали радостные огни. Я стоял и думал о той опочившей девушке. За что ж вы умертвили ее? Ужели самоотверженность и любовь всегда обрекаются на смерть в этом мире?

И в то же время я продолжал внимательно оглядывать памятник. Я взглянул на крест. Внезапно мое сердце захолонуло. Здесь я нашел повреждения и повреждения довольно значительные. Из всех 78-ми букв и цифр моей дикой подписи уцелели только 16; остальные же были уничто-

жены без остатка, без всякого намека на их существование. Очевидно, тяжелые дубины освирепевших вязов сделали-таки свое дело. И я оплакивал гибель этих букв и цифр, как смерть моих любимейших братьев. А оставшиеся сверкали в лунном свете, как огненные. Вот в каком порядке уцелели эти 16:

е в а
н г о т
л у

г. 13 С т 12.

Я долго стоял и смотрел на эту сверкающую на черном мраморе креста надпись, стараясь постичь ее тайный смысл. Дикие мысли кружили мою голову. Может быть, в этих строках заключается ответ на мои муки?

Я стоял в свете месяца среди притихшей и словно насторожившейся ночи и, читая все эти уцелевшие буквы одною строкой, я повторял, как в полусне:

— Еванготлу г. 13 ст. 12.

Что же это может означать?

Я старательно напрягал все мое воображение. Я чуть не вскрикнул. Внезапно я прочитал:

«Еванг. от. Лу г. 13, ст. 12». То есть: «Евангелие от Луки, глава 13, стих 12».

Мне ответили! Я со всех ног, как сумасшедший, бросился в кабинет. Со спертым дыханием я сорвал с моей этажерки Евангелие и стал перелистывать его давно нечитанные мною страницы прыгающими от волнения пальцами.

Наконец я нашел то, что мне было нужно. Евангелие от Луки, гл. 13, ст. 12. Вот этот стих:

Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина, ты освобождаешься от недуга твоего!

Я понял все. Он увидел ее и подозвал! Что же это такое? Земная жизнь — недуг? Тело — недуг? Да?

Буквы Евангелия затмились в моих глазах. Я повалился у стола в беспамятстве...

Алексей Будищев

БОЛОТО

Мы сидели на высоком холме после охоты на куропаток. Мой приятель Сорокин лежал на животе и курил папиросу. Я сидел, прислонившись спиной к пеньку, а наша собака, серый с кофейными пятнами легаш «Суар», спал возле на боку. Порой он лениво приподнимал голову, выворачивал свою серую, на красной подкладке губу и косился на нас, показывая красные белки. Я смотрел на окрестность.

Прямо под нами, в зеленых лугах, вся залитая лучами заходящего солнца, сверкала серебряная лента узкой речонки. Речонка точно баловалась и наделала в лугах такие выкрутасы и загогулилки, каких не встретишь даже на воротнике малороссийской рубахи. Порой она, как бы спасаясь от погони, бросалась внезапно в сторону, описывала крутую дугу и вся зарывалась в кудрявые поросли лозняка. Затем она делала хитрую петлю, осторожно кралась, незримая, под отвесным глинистым берегом и вдруг снова выбегала в луга, прямая, как солнечный луч, вся сверкающая, смеющаяся и лукавая. Белые чайки летали над речкой и порой падали вниз на добычу, как белые хлопья снега. Налево луга замыкались холмом, над которым сверкал золотой крест сельской церкви. Направо — весь северо-западный угол был заслонен лесом темным, угрюмым и полным тайны.

— Это — Лосёв куст, — сказал мой приятель, заметив, что я внимательно рассматриваю темную стену леса, — это болото, занимающее не менее шестидесяти десятин, заросшее громадной ольхой, непроходимая топь, населенная комарами, способными выпить в одну ночь всю кровь человека. Это непролазные дебри с мшистыми кочками, с тяжелым запахом гниющих деревьев, с жирными пятнами на воде, с камышами выше человеческого роста, которые режут ваши руки, как бритва. У нас это единственное место, где еще выводятся дикие гуси. Но, Боже мой, как трудно до них добираться! Ты знаешь мою страсть к охоте, однако я редко посещаю это болото. Я боюсь его, оно кажется мне чудовищем неопрятным и прожорливым, которое пожирает все, что попадает в его пасть. Жрать — это, кажется, единственная функция, на которую оно способно. По край-

ней мере, его камыши удивительно упитаны, головастики, плавающие в его жирной воде, лоснятся от сала, а цветы, лежащие на поверхности, мясисты и великолепно выкормлены. Кажется, они кушают ночных бабочек, потому что я часто находил между их желтыми лепестками обмусоленные трупы этих беззащитных созданий. Вообще, это болото не придерживается вегетарианских взглядов. Семь лет тому назад оно скушало илпатьевского бычка, прелестного голландца, которого Илпатьев купил на выставке за триста рублей. Бычок заплутался и болото заманило его в свои топи, засосало и скушало. Может быть, к животной пище его приучили крестьяне деревни Комаровки. Комаровка лежит по той стороне Лосёва куста, на юго-запад от него. Это — маленькая деревушка в тридцать дворов. Ее жители занимаются земледелием и конокрадством, а некогда, при крепостном праве, они занимались самым настоящим разбоем. Они грабили и душили проезжих краснорядцев и топили их трупы в Лосёвом кусту. В этом болоте, как говорят, погребено немало душ. Немудрено, что крестьяне боятся его. Они знают его прошлое; кроме того, они видят оригинальные формы его растительности, видят его своеобразную жизнь и, вероятно считают это болото способным создать свою высшую форму, своего человека, — русалку, царицу болотных вод, этот прожорливый цветок, питающийся человеческой кровью. И, знаешь ли, я сам едва не поверил этому однажды. Право, я даже не сомневался в этом в течение нескольких часов. Сейчас я расскажу тебе, как это произошло. Эта ночь будет самой памятной в моей жизни.

Пять лет тому назад, как-то в июньскую ночь, я отправился в Лосёв куст с комаровским парнем Никитой, охотником до мозга костей. Он сообщил мне, что нашел барсучьи следы. Эти неуклюжие животные ежедневно на заре сходят с горы, из березового леса, к Лосёву кусту и пьют болотную воду. Может быть, их привлекают также корни болотных растений, мясистые, сочные и вкусные. Никита, по крайней мере, был убежден в этом; и вот мы отправились, чтобы просидеть ночь в опушке Лосёва куста на кочке вплоть до зари, когда барсук придет пить болотную воду и лако-

миться кореньями. Мы обошли Лосёв куст засветло; нам хотелось подойти к нему с севера, от горы, с которой сходит барсук, и переночевать на ближайшей к опушке кочке. На дороге нам попались двое из илпатьевских объездчиков; они ехали на взмыленных лошадях и оживленно о чем-то беседовали.

— Звери, а не люди, — заметил Никита, когда объездчики исчезли за поворотом, — не позволяют в лесу собирать ягоды, загоняли наших девок просто беда как! Не дают заработать на ягодах и двугривенного!

Никита с негодованием посмотрел вслед объездчикам и замолчал. Больше мы не встречали на своем пути ни души. Мы обошли Лосёв куст, прошли болотом несколько сажен и сели на кочке. Было совершенно темно. Луна еще не встала. Мы сидели на кочке не больше сажени в поперечнике, прислонившись спиной к стволам ольх, держали на коленях наши ружья и курили папиросы, спасаясь дымом от комаров. От болота веяло сыростью. Оно лежало, как объевшееся чудовище, и как будто тяжело дышало и сопело. Порой нам казалось даже, что оно что-то жует впросонках; по крайней мере, мы ясно слышали звуки, как бы происходившие от чавканья. Камыш шевелился и дрожал. Жирные пятна плавали на воде, блестящей «окнами» тут и там между мшистыми кочками и камышами. Порою мы слышали какое-то сытое, торжествующее похрюкивание и бурчание воды, как бы в желудке опившейся лошади. Комары лезли нам в глаза, и Никита, понюхав воздух и узнав, что ветер тянет с горы, решил зажечь костер, хотя бы самый маленький, чтобы дымом прогнать комаров. Барсук не услышит дыма за ветром и придет в урочный час пить воду. Никита высек огонь, приятный запах горящего трута защекотал мне ноздри и вскоре маленький костер запылал на нашей кочке, прогоняя комаров, которых относил дымом, как ветром. Огонь мигал на воде, освещая черные трупы гниющих деревьев, зеленую стену ближнего камыша и загорелое лицо Никиты. Я смотрел на него. Это был парень лет 25-ти, белокурый и худощавый. Поверх его посконной рубахи, на нем был надет рваный полушубок с короткой та-

лией, сшитый из черных и белых, но пожелтевших от времени овчин. На его ногах были обуты поршни из мягкой кожи, стянутые, как кисет, немного повыше щиколоток. Его холщовые штаны были продраны и огонь костра освещал обнаженные колени, морщинистые, заглубившиеся и лупившиеся. Никита смотрел на огонь и сидел, прислонившись к стволу ольхи, обхватив руками ноги пониже колен. Свет костра освещал его губы и кончик носа, между тем как верхняя часть его лица была в тени. Он был так оборван и грязен, что мне его стало жаль от души. Я разговорился с ним. Почему он не занимается земледелием, а бродяжничают по лесам и болотам, в то время как охотничий промысел мало дает заработка в нашей стороне? Лучше бы ему наняться в работники. У него двое детей и жена и, вероятно, все они ужасно бедствуют. Недаром на него смотрят в деревне, как на шатуна и лодыря. Семьянину стыдно ничего не делать. Охотой он мог бы заниматься по праздникам для развлечения. Никита долго отмалчивался, но, наконец, сказал мне, что ему никак нельзя не бродить по лесу. Это для него совершенно невозможно. Он запьет с тоски, если будет сидеть дома. Потихоньку-полегоньку он передал мне всю свою историю. Он женат пять лет, но у него не лежит к жене сердце. Больше того, он ею брезгует, хотя ему порой бывает жалко ее. Каждый раз он приневоливает себя насильно приласкать эту женщину. Что делать... Сердце любить не заставишь! У него была невеста Василиса, которую он любил, да та пропала без вести, вероятно, утонула, и родители заставили его жениться на немилой. Как же он может жить с нею по-людски? Он очень любил Василису. Осенью должна была состояться их свадьба и оба они, и жених и невеста, зарабатывали деньги. Он ездил ямщиком, а она в будни ходила работать поденно к Илпатьеву, а в праздник собирала ягоды и продавала их. И вот, когда на мшистых кочках болота поспела ежевика, она пошла в Лосёв куст и не возвращалась оттуда более. Вероятно, она утонула. Как же он может любить теперешнюю жену? Я слушал рассказ Никиты, смотрел на болото и думал: «Это чудовище кушает даже молодых девушек!»

Я продолжал смотреть на «окна» воды, блестящие между мшистыми кочками.

Болото всегда производит на меня впечатление какой-то лаборатории, изготавливающей живых существ. Ни луга, ни поля, ни лес не дают такого впечатления, потому что мы видим там формы более усовершенствованные и вполне законченные. А здесь эти первобытные водоросли, эти слизи, мириады плавающих в воде личинок и дышащие жабрами головастики — говорят о постоянной работе, о неустанной энергии, производящей виды, постепенно прогрессирующие в их формах. Вот почему, как мне кажется, крестьяне населяют всевозможной нечистью преимущественно болото.

Я задумчиво смотрел на поверхность стоячих вод.

Костер на нашей кочке потух, но мы не хотели более поддерживать огня. От болота веяло сыростью. Оно по-прежнему сопело и чавкало. С его поверхности поднимался пар, как с боков вспотевшего животного. Вокруг что-то булькало, бурчало, переливалось, лопалось, ломалось и хлопало, как в какой-то сложной машине. Казалось, болото работало как алхимик, колдовало, ворожило, шептало заклинания и перегоняло по ретортам таинственные жидкости. Порой до нас долетали какие-то стоны, тихие и жалобные. И тогда Никита робел и спрашивал меня, что это такое? Но что я мог ему ответить?.. Разве я знаю больше его? Может быть, это кричали уродливые птицы, рожденные творческой силой болота.

Месяц встал на востоке и медленно поднимался над Лосёвым кустом. Казалось, он хотел заглянуть в самую глубину стоячих вод, чтобы подсмотреть их тайну.

Я забывался, прислонясь спиной к стволу ольхи и чувствуя легкий озноб от сырости. Я думал о Никите и об этой девушке, погибшей из-за того, чтоб заработать двугривенный. Затем мне грезились какие-то птицы и какие-то животные, странные и чудовищные, населяющие таинственные дебри болота.

Я внезапно проснулся и открыл глаза.

Никита стоял надо мной, бледный и перепуганный. Он толкал меня в плечо и пристально глядел в даль. Я стал рядом с ним на колени, хватая рукой двустволку.

— Идет, — прошептал он, — ишь как водой бултыхает!

Он кивнул подбородком перед собой. Его губы вздрагивали. Он стоял спиной к горе, но я понял, что он говорит не о барсуке.

— Кто идет? — спросил я, чувствуя приступ неприятного озноба и придвигаясь на коленях к ногам Никиты.

Он по-прежнему смотрел вдаль. Я заметил, что ружье в его руках слегка вздрагивало.

— Кто идет? — переспросил я шепотом.

— Нечисть, с нами крестная сила! Нечисть болотная. Кто же пойдет по болоту в полночь? Ишь, как водой бултыхает!

Я прислушался. По болоту действительно кто-то шел, бултыхая водой. Плеск воды приближался; очевидно, идущий направлялся на нас.

Месяц высоко стоял над болотом, но густые заросли и туман не позволяли нам хорошо различать предметы; на расстоянии двадцати саженей мы уже ничего не видели. Мы только слышали бултыханье воды и ничего больше.

— Не лось ли? — спросил я Никиту.

— Нет, — покачал тот головой и вздохнул, как бы в изнеможении, — не лось; слышишь, две ноги. Лось ноздрями на воду дует, фырчит, воздух нюхает. Это не лось.

— Разве медведь? — прошептал я.

Никита долго молчал, пронизывая взором серебряную ткань тумана. Я видел, как вздрагивали его обнаженные колени, загрубевшие в скитаньях по болотам. Месяц спрятался в тучку, бултыханье на минуту смолкло, а Никита все еще глядел и слушал, вздрагивая всем телом.

— Нет, не медведь, — наконец прошептал он, — слышь, на кочку лезет, рукой за ветку хватается.

Я прислушался, и, действительно, услышал, как где-то недалеко хрустнула сломанная ветка. По моей спине прошло что-то холодное и скользкое, неприятное до отвращения. И в эту минуту мы услышали стон, жалобный челове-

ческий стон. После этого все на минуту смолкло. Только слышно было, как бурчала вода в желудке гигантского чудовища. Болото продолжало колдовать и производить жизни. С его поверхности поднимался пар, точно оно изнемогало от усилий произвести что-то для него невыразимо трудное и почти невозможное. Мне казалось, что упитанный камыш и жирная вода болота слегка вздрагивали от усилий. По всей поверхности стоячих вод как будто бежал трепет мучений и желания. Даже кочка, на которой мы сидели, слегка шевелилась под нами. Казалось, болото напрягало все свои творческие способности, чтоб создать свою высшую форму, душу всего в нем существующего. Мы продолжали слушать. Стон повторился.

— Это Василиса! — прошептал Никита, трясаясь от ужаса. — Пропали мы с тобой...

Он хотел еще что-то сказать и не мог. Я взглянул на него; его лицо было искажено до неузнаваемости. Его ноги дрожали, точно он пытался привстать на цыпочки. Я хотел говорить и тоже не мог. Так прошло несколько минут.

Между тем, месяц выглянул из-за тучи и мы увидели саженьях в пятнадцати от нас женщину. Она лежала животом на мшистой кочке и хваталась руками за колючие ветки ежевики. Казалось, она пыталась вылезть на кочку из воды, хотя это стоило ей громадных усилий. Я видел ее бледное, как снег, лицо, темные брови и тонкие пальцы, судорожно хватавшиеся за колючие ветки. Она тяжело дышала и изредка испускала стоны. До пояса она была погружена в воду.

— Русалка... — еле выговорил Никита.

Мне казалось, что волосы приподнялись на его голове, а ружье ходило ходуном в его руках.

Между тем, женщина барахталась в воде, пытаясь вылезти на кочку. Я смотрел на ее усилия. Мой парализованный ужасом мозг плохо работал. Кажется, я думал или, вернее, не думал, а грезил странными образами. Образы эти иллюстрировали приблизительно следующее:

«Что, если болото, в минуты наибольшего напряжения всех своих творческих сил, способно создать нечто высшее,

свой венец творения? Может быть, у него недостаточно сил, чтобы облечь свое излюбленное создание в долговечные формы, и оно появляется только на мгновение, как призрак, в минуты наивысшего напряжения его энергии, вспыхивая, как блуждающий огонек и тотчас же угасая».

Я инстинктивно пригнулся к земле, так как над моей головой грохнул выстрел. Это спустил курок обезумевший от ужаса Никита, и болото ответило на выстрел целым залпом.

Вслед за тем мы слышали дикий, исступленный крик. Что-то шлепнулось в воду с кочки, забултыхало по болоту и зашуршало камышом, поспешно уходя от нас.

Затем все смолкло.

Мы остались на кочке одни, в облаке порохового дыма, потерявшие от страха волю и разум. Мы сидели, плотно прижавшись друг к другу, поджав под себя ноги и подпрыгивая на коленях, как две отвратительные жабы.

Да, я никогда не забуду этой ужасной ночи.

Таким образом мы дожидались рассвета, коченея от страха, с судорогами в ногах, ожидая нападения неизвестных нам чудовищ.

С рассветом разум вернулся к нам и, прежде чем уйти из болота, мы осмотрели все соседние кочки. На одной из них мы нашли следы человеческих пальцев, втиснутые в рыхлую почву кочки, и несколько сломанных веток ежевики.

Что еще я могу сказать тебе? Я допрашивал всех и каждого, стараясь объяснить себе случившееся с нами приключение. Между прочим, от илпатьевских объездчиков я узнал, что как-то в июне месяце, вечером, они разогнали в лесу, на горе, около Лосёва куста, целую толпу крестьянских девушек, кажется, из разных селений. Они собирали клубнику, а когда объездчики кинулись на них, пугая лошаадьми и нагайками, девушки разбежались кто куда. Одна из них, как говорят, забежала со страха в Лосёв куст, свихнула там себе ногу и всю ночь до рассвета провела в этом болоте на кочке, донельзя перепуганная, промокшая до мозга костей и измученная болью ноги, холодом и страхом.

Стрелял ли кто-нибудь в эту девушку, а также в ночь на какое число произошло все это, объездчики не знали.

Алексей Будищев

В РАЗГАР СВЯТОК

Святочное происшествие

В разгар святок, на пятый день Рождества, лесной сторож Тарас Суглобый, вместе с гостившим у него кумом и свояком Пантелеем Люлечкиным, решили сходить в гости к сидельцу винной лавки Ерохину. А их жены намеревались прогостить эту ночь на «Валдайских отрубях», у дяди Прохора. Мужья и жены расстались самым миролюбивым образом и сговорились вернуться домой на другой день к обеду. Выйдя из лесной хаты, жены повернули вправо на дорогу к отрубам, а мужья влево, к селу «Крутые Яры». Женны отправились в свой путь с хохотом, бойко поскрипывая новыми валенками по рассыпчатому снегу неуезженной дорожки. А мужья, мерно вышагивая, степенно переговаривались о своих мужичьих делах, причем они выпускали из себя такой густой аромат перегорелого спирта и махорки, что тонкие елочки-подростки, торчавшие у самой дороги, начинали каждый раз беспокойно обмахиваться ветками.

Было не холодно, и легко дышалось в бодром ядреном воздухе.

Над просекой гасла малиновая заря, и снег на крыше лесной хаты казался розовым. А от деревьев на дорогу падали сиреневые тени, которые делались все длиннее и длиннее. Когда мужья вышли из лесу, на серых небесах застенчиво проглянули первые звезды. И на снежных буграх загорелись приветливые искорки. Мужики все так же степенно переговаривались и мерно вышагивали, торопливо делая свой путь. До «Крутых Яров» им предстояло пройти всего-навсего пять верст, а их бабам до отрубов надо было сделать верст шесть.

Но на четвертой версте бабы встретили целую компанию ряженных, в звериных масках на лицах, одетых в вывернутые полушубки. Молодежь оказалась родственниками Суглобых или со стороны мужа, или со стороны жены, и шла вся эта компания именно к ним в гости. И женщинам пришлось, с хохотом и гомоном, повернуть вместе со всей компанией обратно к себе, в лесную избу. Хорошенькая жена Пантелея Люлечкина надела даже на себя маску — заячью голову с длинейшими ушами, которая оказалась лишней, и всю обратную дорогу до лесной хаты она без пере-

дышки проплясала под заливчатский перебор гармоньи. А мужья в это время сидели у Ерохина и пили водку, закусывая ее красными медовыми пряничками с изюмом и мочеными яблоками. А потом вдруг Тарас вспомнил, что он не догадался захватить с собой из сундука деньги, шестьдесят восемь рублей с мелочью. Их необходимо было переложить в свой карман, для надежности. Очень уж теперь время опасливое, и беда, если какой-нибудь воришка заглянет в лесную хату и полюбопытствует узнать, что-то заключается в сундуке лесного сторожа. Эти мысли повергли Тараса в такое волнение, что он немедленно решился идти домой.

— Иначе пропадут мои денежки, — мрачно твердил он. — Сами знаете, какое нынче время! Вор на воре, изворовалась вся Рассеюшка, инда нет моченьки как!

Пантелей всячески советовал ему остаться ночевать у Ерохина вместе с ним и стращал его нечистой силой. Чего он будет делать один, ночью, в лесной хате? Баб нет, бабы ночуют за шесть верст от лесной хаты, на «Валдайских отрубках», а теперь время святочное, неприятное, страшное.

Целыми ватагами мыкается теперь нечистая сила по лесам, полям и деревням, как волки в сучье время, и Боже упаси попасться на пути этой ватаги! Теперь только и можно сидеть за бутылкой винца в хорошей компании, а одному, да еще в лесной хате, — брр...

Долго отговаривал Пантелей кума, но тот был непреклонен. Он потуже подтянул на себе кушак, взял ружье, оглядел курки, нашарил в кармане два запасных патрона и вышел из гостеприимной избы Ерохина, от тепла и уюта, от винца и сладких пряников.

Тараса обдало щекочущим морозцем. Низкое, зимнее небо глянуло на него таинственно и хмуро.

Точно сказало:

— К чему ты выскочил сюда? Кто тебя просил об этом, дурень?

Но Тарас не растерялся и сначала довольно-таки бодро двинулся дорогой.

— Каждому свои денежки дороги, — словно бы оправдывался он перед зимней ночью, но все же с достаточной

бодростью в сердце.

Но когда «Крутые Яры» исчезли за его спиной, неслышно загороженные таинственными снежными суvoями, такими тихими, но и такими загадочно-неопределенными, Тарасу стало как-то не по себе. Дело в том, что он сразу же глубоко уверовал в страшную загадочность ночи. Разве все, что сейчас его окружает, не есть страшная и глубокая загадка?

Что такое снег? Что такое тучи?.. Что такое звезды?

Ощущение страха, покуда еще тонкое, но уже томительное и жуткое, подползло к его сердцу, как насекомое. Оно ощупало сердце лесного сторожа со всех сторон, выбрало местечко поуязвимее и запустило туда свой острый хобот.

По спине Тараса прошли мокрые букашки.

Он поправил за своей спиной двустволку, гукнул губами и осторожно оглянулся на свою серую, мутную тень.

Что такое тень?.. Что такое шорохи за снежными суvoями в мутную зимнюю ночь? Что такое те фиолетовые шарики, которые прыгают в самых глазах, когда их чуть-чуть сощуришь?..

Ух, как много кругом таинственных неизвестностей, тревожных загадок!.. Разве ими не полны земля, вода и небо? лес и поля?..

Вода, лед, снег, пар — все это как будто бы одно и то же, но все-таки, как это глубоко различно между собой?.. Почему? И если пар может превратиться в лед, то почему и человек не способен превратиться хотя бы в волка или свинью?.. Или нечистая сила в красивую бабу?.. Про старого лесного сторожа из Аряшинского угорья, деда Афанасия, все село рассказывало, что он живет, как с женой, с мхнатой болотной шишигой, которая умеет оборачиваться шестнадцатилетней девушкой, когда ее левой рукой перебросишь через восковую свечу. А кто не слышал о двенадцати сестрах-трясовицах, живущих на болотных кочках? Сестры эти умеют перекидываться в комара, и в таком виде они кусают человека. А укушенный заболевает огневицей. А пучеглазые окаянные, живущие под колесами на старых

мельницах? А дылда-птица, шныряющая ночью по кладбищам?..

Тарас даже вздрогнул, припомнив все эти страшные рассказы о нездешних существах, живущих о бок с крещеным миром, и пошел тише. Холодком пахнуло в его сердце.

Небо все так же таинственно и загадочно смотрело на него, и снег все так же многозначительно поскрипывал под его ногами. Точно его предупреждал:

— По-до-жди! жди! жди!..

И ему казалось, что и всему полю также жутко и томительно, что и оно тоже все полно самых невероятных предчувствий. Он вновь заглянул на небо, присматриваясь, чувствуя холодок между плеч. Месяц неподвижно стыл в небе и безмолвно глядел в мутное поле, на лесного сторожа и на его короткую тень на снегу. И вдруг Тарасу показалось, что в ухабе эта тень как-то переломилась, точно приподымаясь вверх от головы до талии, точно тень делала самые невероятные усилия, чтоб стать на ноги и идти рядом с ним:

«Неужели, неужели?..» — подумал Тарас, цепenea, и прибавил шагу.

Лес как-то внезапно обступил его со всех сторон, когда он совсем его не ждал, и вид его был какой-то такой, что он не сразу признал так хорошо знакомые ему места. Какие-то словно бы облачные деревья выросли в просеках, и Тарас понял, конечно, что это не деревья, а лишь призраки деревьев, что весь лес, словом, стал чужд и враждебен ему, отравленный чьими-то всемогущими волхованиями, которые настолько же сладки лесу, насколько ему бывает порой приятна власть алкоголя.

Полный самого жуткого трепета, Тарас двинулся дальше. Все было безмолвно и странно. Неясные шорохи перешептывались между снежными суvoями, за деревьями и в запырошенных кустах. А лес будто бы просветлел, хотя Тарас и понял, что это не благоприятная веселость со стороны леса, а самое лукавое злорадство. И уже по одному этому Тарас догадался, что сейчас он увидит нечто сверхъестественное и страшное, чего он не видал раньше никогда в жизни, но о существовании чего всегда подозревал, в особенности

ночью в бессонные часы. Тарас понял, что сейчас он увидит нечистую силу, ту нездешнюю, враждебную человеку силу, которая населяет воду, и лес, и всю землю. Она или нападает на человека открыто, извне, или же пробирается внутрь его с куском пищи, с глотком воды, проникает в кровь с укусом комара. Так или иначе, а эта встреча должна произойти непременно и сейчас...

Для Тараса было это совершенно ясно. Наступил именно роковой момент этой встречи. Сейчас. Сию минуту.

Тарас тяжело передохнул и пошел к своей хате с тем же самым чувством, с которым вооруженный рогатиной охотник идет к медведю, поднявшемуся на дыбки. Хата была от него уже в нескольких саженьях. Но его глаза предательски застлало лиловым туманом, так что он перестал видеть и лес, и поляну, и хату. А где-то, в самом темном углу его мозга, кто-то злобно рассмеялся, остуживая голову.

Однако, он старательно протер глаза и сделал еще несколько шагов. И остановился вновь. Сомнений для него уже не было.

Он не ошибся. Минута роковой встречи для него наступила. В окне его хаты теплился огонек. Огонек в пустой хате! Кто его мог зажечь?.. Бесчисленные враги человека?.. Нездешние существа и ужасы?..

Тарас снял шапку, набожно перекрестился и взял на руки двустволку. Затем он осторожно двинулся к окошку. Ступал не дыша и мысленно все крестился. Заглянул в окошко и отскочил на сажень тотчас же. Мозг обледенел в его голове от ужаса, и заломило сердце. Дым шел коромыслом в его хате, до того разозоровалась нечистая сила. И какие рыла он увидел там и какие дикие образины!.. Нечисть, очевидно, устроила пирушку в его хате, и весь стол его был заставлен пивными бутылками и какими-то праздничными яствами. Но что хуже всего, одна из ведьм приняла пригожее обличье его собственной жены, которая ночевала сейчас у дяди Прохора на отрубях, и с румянцем на щеках эта милостивая ведьма сидела на лавке и гнусно обнималась с какой-то заячьей мордой с длинейшими, чуть не в аршин ушами. А мимо них в избе толклись в залихватской пляске

медвежье рыло, посаженное на человечье туловище, рогатая козья башка с бородой, сова с круглыми очками на глазах, непонятное чудовище с кроваво-красной пастью и лобастая волчья морда. Сова размахивала платочком, как баба, и жеманно выгибалась, точно плывя, а волчья морда изо всех сил выстукивала ногами.

Тарас злобно подумал:

«До чего разохалилась, нечистая тварь, до чего человеку может подражать паскудная сила!.. Даже свяченых обрядов не пужается!.. Даже хладнокровно к крещенской воде!.. До чего имеет нахальство!..»

Его мозг вторично будто опухло ледяной бурей, и он перекрестился, прочел первые строки молитвы «Да воскреснет Бог» и приложил ружье к плечу. Сперва он выстрелил через окно в ту, что приняла облик его жены, потом в чудовище с заячьей головой. В избе все точно взбесилось, перепуталось и завизжало. Но Тарас успел переснарядить ружье и выстрелил в избу и еще два раза.

А потом, весь одеревенелый, пошел в «Крутые Яры», к Ерохину.

Утром, когда он вместе с Пантелеем и Ерохиным на лошади вернулся к лесной хате, выяснилось следующее. Насмерть убитыми оказались жена Тараса и жена Пантелея. Смертельно ранен был шестнадцатилетний Феденька, племянник Сутлобого. А у крестницы его, Аксюши, было раздроблено плечо. Трех пришлось похоронить, а у четвертого вышелушить Правую руку.

Присяжные Сутлобого оправдали.

Скиталец
В СКЛЕПЕ

— Николай Иванович! расскажите нам что-нибудь страшное!

— Ах, барышни! И зачем это вам нужно — слушать страшное?

— Ах, какой вы! да ведь испытать чувство страха очень приятно!

— И ведь теперь ночь под Новый год! В эту ночь принято рассказывать что-нибудь страшное или сверхъестественное! Вот и вы нам расскажите! ведь вы так много видели и испытали! Неужели с вами не случилось ничего такого?

— Какого?

— Ну, вот чтобы человек испытал ужас какой-нибудь! чтобы с ним случилось что-нибудь необыкновенное!

— Так о чем же вам, собственно, рассказывать? О гробах, что ли?

— Прелестно! Расскажите о гробах!

— Только чтоб страшно было!

— Ужасное что-нибудь!

— Хорошо! Мне случилось однажды в молодости испытать чувство ужаса, и притом среди гробов, а именно: в склепе! Но я не знаю, достаточно ли страшен будет мой рассказ...

— Рассказывайте, рассказывайте!

— Это, видите ли, было еще тогда, когда я учился в бурсе... Народ мы были грубый, отчаянный! Молодечество у нас на первом плане почиталось. Ну-с, так вот было у меня два самых близких товарища: один прозывался Графом, а другого звали Фитой. Оба были здоровенные великовозрастные бурсаки, обладали страшными басами, пили водку, любили кулачные бои, а особенное имели пристрастие к игре в карты, потому что за нее всего строже наказывало начальство. У них, как и у вас, было большое стремление испытывать разные страхи и всякие сильные ощущения: один любит переходить Волгу во время ледохода (дело-то было в приволжском городе), и, конечно, без всякой в этом надобности, а другой до смерти любил пожары: в какой бы поздний час ночи ни случился пожар — он чуть ли не в од-

ной рубашке выскакивал в окно из бурсацкого общежития и бежал на пожар чуть не через весь город. На пожаре он орудовал, командовал, лез в самый огонь, залезал туда, куда лезть никто не решался, иногда спасал погибающих, но чаще падал с горящей крыши, вывихивая себе руку или ногу, и был очень счастлив от этого.

Все это он делал не из сострадания к людям, а из любви к пожарам. Эти флегматики с деревянными нервами любили доставлять себе некоторое волнение, но впечатления так туго проникали в их мозг, что только поступки дикие и ни с чем не сообразные доставляли им желаемое ощущение.

Таким образом, карточная игра, как самая опасная, запретная, строго наказуемая и сама по себе волнующая вещь, была у нас обычным и любимым занятием.

Но чтобы надзиратель, прозванный за ехидство Иудой, не мог мешать нам, мы нашли для игры такое место, куда никто никогда не ходил и где уже никто не мог предположить присутствия картежников. Это был — склеп при монастыре, где стояли гробы нескольких богатых покойников. Там были низкие своды, вроде катакомб, сделанные из диких неотесанных камней и представлявшие из себя как бы несколько соединенных между собою комнат, в каждой из которых стоял гроб.

Сначала нам было жутко в такой обстановке, но потом мы привыкли к мертвецам, крепко завинченным в тяжелых гробах, и уже не обращали на них никакого внимания. Мы притащили туда обрубок дерева, пустой ящик и камень, заменявшие нам мебель, и играли в карты то на одном гробе, то на другом.

Мы делали это, не сознавая оскорбления, наносимого нами праху умерших, потому что привыкли к этим забытым всеми гробам как к вещам обыкновенным, казавшимся нам счастливым убежищем для безопасной картежной игры.

Я не знаю, поверите ли вы, если я скажу, что, в сущности, мы были религиозны, верили в Бога и загробную жизнь и даже не были свободны от суеверий. Но мы были юны, легкомысленны, веселы, жаждали сильных ощущений, а

жизнь наша до того была лишена впечатлений, что походила на жизнь заключенных в тюрьме.

И вот, знаете ли, однажды отправились мы туда. По обыкновению, захватили огарок свечки, полбутылки водки, закуску и карты. Ночь была совершенно темная и бурная, ветер гудел и рвал... Мы спокойно шли через монастырское кладбище, заросшее старыми акациями и березами. Деревья так и стонали от бешеных порывов ветра... Что нам была за охота в такую погоду залезать в могильный склеп — и теперь не понимаю: должно быть, в молодости очень скучно бывает жить однообразной жизнью бурсака, сидеть взаперти и не иметь развлечений, кроме зубрежки ненавистных учебников.

Мы вошли в склеп хорошо знакомой дорогой, затворили за собой дверь и зажгли свечку. Пройдя в следующее отделение, небольшое подземелье, где стояли гроб и наша «мелбел», Граф — верзила, бас, весельчак, кутила и ругатель — вынул из кармана пустую бутылку и, водрузив в горлышко свечку, устроил освещение. Фита выгрузил из карманов остальные запасы, и мы все трое уселись за гробом, как за столом.

Свечка слабо мерцала и освещала только наши лица и нашу трапезу; все остальное тонуло в могильном мраке.

Была воистину гробовая тишина.

Вероятно, наша компания, спокойно сидящая за гробовой крышкой в могиле, выпивающая и освещенная таинственным мерцанием свечи, представляла из себя нечто фантастическое и странное.

Шум бури глухо доносился до нас, и нам было особенно приятно чувствовать себя в безопасности от всего и ощущать, как водка теплой струей разливалась по жилам.

Выпив рюмки по три и закусив, мы принялись за игру. Сидели мы у широкого конца гроба, где предполагалась голова покойника.

Граф сидел с конца, на обрубке, а мы с Фитой по бокам гроба. Свечка в бутылке освещала наши лица и руки с картами. Мы чувствовали себя как дома, смеялись, отпускали шуточки и поговорки. Мы тем более были спокойны, что

разыгрывалась буря, изредка прокатывался отдаленный гром и, кажется, шумел дождь: кто в такую погоду пойдет в могильный склеп?



Графу в эту ночь не везло: он проигрывал игру за игрой. Сначала он относился к этому весело, но потом стал раздражаться. Впрочем, вся его речь всегда состояла из брани — неприличные ругательства пересыпали ее через два слова в третье. Мы с Фитой посмеивались над ним, и он еще больше сердился. Наконец он стал обвинять в своих неудачах покойника, на гробе которого происходила игра. Он говорил:

— И зачем мы сели за этот гроб? Мне всегда не везет на нем! Вон на том покойнике я постоянно выигрываю, а этот дурак приносит мне несчастье! Ну вот, опять у меня плохие карты! Ах ты, дрянь эдакая, осел, падаль проклятая! Я тебя!..

— Не бранись, Граф! — останавливали мы его. — Покойники обидчивы: вот как он встанет, да схватит тебя, да как начнет тебя грызть!

В ответ Граф выпустил такую оригинальную, изысканную тираду неприличной ругани, что мы дружно и громко расхохотались. Между тем, он все проигрывал и ругался и уже начал стучать кулаком по гробовой крышке:

— Это все ты виноват, такой-сякой, с... сын, из-за тебя я все проигрываю! Ах ты — едят тебя черви!..

Тут Граф, подвыпивший и раздраженный, стал изрыгать такие кошунства, что даже нам стало нехорошо.

И вот, знаете ли, в эту самую минуту произошло что-то странное: в склепе повеяло холодом, пламя свечи заколебалось, и вдруг послышался глухой и страшный человеческий стон...

Николай Иваныч остановился, отпил глоток чаю, обвел глазами слушательниц и, не торопясь, продолжал:

— Свечка погасла, как будто кто-то дунул на нее, и мы очутились в полнейшем мраке. Это обстоятельство повлияло на нас всех ужасно: мы вдруг почувствовали всю гнусность нашего поведения и словно онемели. Стоны продолжались... Это были такие зловещие могильные звуки, что они долго потом чудились мне... Вот тут-то я и ощутил ужас: мороз пробежал по спине и остановился в затылке, члены словно оледенели, кровь застыла в жилах, и я, как это бывает во сне, желая бежать, не мог сдвинуться с места. Это, конечно, был один момент, но он казался длинным, как вечность; наконец мы молча бросились бежать, и вслед нам загремел дикий, чужой, незнакомый, леденящий душу голос:

— Братцы, что же вы меня одного покидаете? Подождите! Я с вами! Я с вами! Я с вами!

Полное беспмятство овладело нами. Я не помню, как мы выскочили из склепа и как очутились дома. Мы очутились только у себя на койках, дрожа под одеялами, закутавшись с головой и стуча зубами. Утром обнаружилось, что одного из нас не было: а именно — Графа. Вспомнились нам замиравшие в склепе ужасные крики: «Помогите! спасите!» Ведь это был голос Графа, изменившийся от страха.

Новый ужас напал на нас.

Целый день мы ждали Графа, но он не явился. На другой день его тоже не было. Прошло несколько дней — Графа не было. Начались расспросы, розыски — все было тщетно.

Мы с Фитой были в таком страхе, что даже друг с другом не говорили о страшном происшествии. Ни за какие блага мы не решились бы заикнуться кому-нибудь о том, что мы делали в могильном склепе.

Прошло еще несколько дней, и распространился слух, что из монастырского склепа слышится сильный смрад. Когда заглянули в этот забытый всеми склеп, в который давно уже никто не заглядывал, там нашли почти уже разложившийся труп Графа. Он лежал, скрючившись, в темном углу склепа, как раз в противоположной стороне от выходной двери, которая, говорят, оказалась запертой изнутри. Его вздувшееся, посиневшее лицо еще хранило выражение безграничного ужаса, руки были избиты и изодраны в кровь.

Николай Иваныч замолчал и налил себе стаканчик красного вина. В комнате было темно, и только в камине тлели догорающие угли.

— Отчего же он умер?

— Вероятно, от разрыва сердца. Бедняга от страха, должно быть, не отыскал выхода из склепа.

— А кто стонал?

— Ну, это, конечно, был ветер. Знаете, в этих склепах бывают иногда от ветра такие странные звуки, что удивительно напоминают человеческий голос.

Николай Иваныч, освещенный красным отблеском потухающих угольев камина, загадочно усмехнулся и начал тянуть вино, рубиново-красное, как кровь.

Николай Ежов

ГОЛОСА ИЗ МОГИЛЫ

Рассказ г. N***

Это случилось ровно год тому назад в ночь под Рождество. Приятель мой, Евгений Васильевич Можайский, с которым я не видался почти лет десять, прислал мне довольно странное и даже загадочное письмо:

«Любезный N***, — писал он. — Я понял, что жизнь — копейка. Счастье людское — беззащитно. Ты строишь — нелепый случай толкнет и разрушит твоё здание. Припомни, как я был когда-то положительен, практичен, реален и т. д. Теперь все перевернулось вверх дном. “Теперь, брат, я не тот”. Я говорю себе: какую подмогу оказали мне мои пошлые житейские таланты? Уберег ли я ими своё благо? Увы, всё разрушилось, всё улетело безвозвратно... Что же осталось? Эхо... воспоминания... имя... “Что имя — звук пустой!” А вот, наконец, я обмолвился хорошим словом: звук... О, это нечто дивное, непередаваемое... Впрочем, пока довольно говорить о том, что сводит меня с ума. — Сэр, кто вы суть? Я вас, добрейший мой, знал очаровательным идеалистом и печальником о меньшем брате; правда, жизнь такой ловкий фокусник, что из любого печальника-идеалиста делает к сорока годам лакея в душе и карьериста *par excellence*, но... Впрочем, ты, голубчик, не сердись, это я так, брюзжу и, вероятно, на тебя клеветую. Вот что, скучно мне в моем городке стало, хочу навестить тебя и встретиться с тобой праздник Рождества... Поеду накануне, вот тогда и поговорим обо всем подробно. До свидания. Остаюсь, милостивый государь мой, ваш наипреданнейший слуга Евгений Можайский, коллежский секретарь».

Я был очень удивлен. Во-первых, я не понимал тона письма; Можайский отличался всегда вежливостью и сам скорее всякого мог напомнить «сушь петербургскую», так что его странный юмор, резкости и фамильярность совсем к нему не шли. Во-вторых, меня поразило безумие письма. Одно из двух: или Можайский был психически болен, или писал мне... в пьяном виде. Наконец, третье обстоятельство заставило меня не поверить в серьезность письма: Можайский толковал о приезде ко мне как о визите из Царского Села в Петербург, но дело в том, что он служил учителем в одном из городов Уфимской губернии — легко ска-

зять: приеду, брат, к тебе! А как это сделать — другой вопрос.

Я знал, что Можайский имел семью, жил оседло, крепко, хорошо, о чем изредка и писал мне — в самом сдержанном тоне, однако ж.

«Можно заранее сказать, что он не приедет! — думал я, пожимая плечами. — Зачем ему бежать из дому? Ба! какая мысль: не разошелся ли он с женой? Она его могла бросить, а он загрустил, запил, вот и все...»

Дня через три Можайский приехал. Он изменился до неузнаваемости, стал худой, желтый; в то же время он показался мне слегка надутым и обеспокоенным.

— Я тебя не стеснил своим приездом? — было первым его вопросом.

— Нисколько, — отвечал я. — Ты знаешь, я человек холостой и рад встретить праздник в компании.

— Как ты постарел, N***! Что так тебя могло согнуть? — сказал он, осматривая меня со всех сторон.

— Разве я кажусь тебе и согнутым, и изувеченным? — спросил я, оглядывая его собственную фигуру и находя ее именно согнутой и словно изувеченной.

— Да, друг... ты сильно изменился! И глаза у тебя новые: равнодушные. Твоя улыбка нехороша: она презрительна и брезглива. Боже мой, как скоро исчезает в людях все юное и ценное!

Я усмехнулся и сказал:

— Знаешь, Евгений Васильевич, ведь и ты не помолодел... право, нет.

— Я? О, я стал хуже тебя в сто раз... я умер... я не живу, я — труп...

Его лицо выразило такое страдание, что я был слегка испуган. Надо заметить, что перед приездом Можайского я по ночам читал рождественские рассказы Ч. Диккенса и очерки Эдгара По. Внезапный приезд моего приятеля, его болезненный вид, бледное лицо и странные слова: «Я умер, я не живу», — навели меня на, так сказать, «святочную мысль»: «А что, если мой приятель действительно умер, а ко мне с визитом явился призрак? Брр! какой ужас! Во всяком слу-

чае, дадим призраку отдельную комнату, потому что призраку не худо умыться и переодеться с дороги».

Можайский приехал как-то чересчур налегке: маленький чемоданчик в руках — больше ничего. Этот чемоданчик он не дал моему лакею, а отнес в комнату сам. Затем он умылся, но не переоделся, а только почистился и вышел ко мне еще бледнее. Я пригласил его пообедать.

— А, поесть действительно не худо! — заметил Евгений Васильевич. — Да уж и пора, поди, часа четыре на дворе.

Я не утерпел и сказал, после некоторой паузы:

— Представь, Можайский, я твоего приезда все-таки понять не могу. Я очень рад тебя видеть, но твое появление крайне странно...

— Почему именно?

— Кто ж едет от праздника Рождества из дому? Твое семейство, я полагаю, станет скучать без тебя...

— У меня, брат, — медленно произнес Евгений Васильевич, — нет семейства. Жена и... дети... нет их. Были... А теперь нет.

— Как?! Неужели...

— Умерли. Сразу все умерли, от тифозной горячки, а вот я уцелел, да... Вот тебе и решение ребуса.

Мне все сделалось понятно, и я почувствовал к моему бедному приятелю глубокое участие. Потерять сразу и жену, и детей — тут поневоле сойдешь с ума, если не навсегда, то временно! А Можайский, судя по его теперешнему состоянию, любил горячо тех, которых внезапно лишился. Не успел я сказать в ответ слова, как следующая фраза Евгения Васильевича опять поставила меня в тупик:

— Таким образом, N***, я не уехал под праздник от моего семейства. Я, впрочем, захватил мое семейство с собой, — проговорил он, разрезая цыпленка.

Подобные речи слушать довольно жутко, потому что их говорят только явно сумасшедшие люди. Я поглядел на Можайского. Его бледное лицо казалось маской, глаза провалились в орбиты, а на ресницах повисли набежавшие слезы.

— Оно у меня в чемодане! — продолжал он, всхлипывая.

Я был окончательно перепуган.

«Встретить праздник Рождества глаз на глаз с сумасшедшим, — думал я, — нечего сказать — оригинальный сюрприз».

Но Евгений Васильевич быстро справился с волнением и начал есть котлету.

— Вкусно! — произнес он. — Вася и Павлуша также любили котлеты... Ты, N***, знал, что у меня было два сына?

— Д-да, ты, помнится, писал, что женился... и...

— А о детях разве не писал?

— Писал и о детях...

— То-то, что писал, я помню. Были, брат, восьми и шести лет два мальчика... и жена Александра Яковлевна... и вот...

Он поник головой... Я боялся его утешать. В таком горе утешить нельзя даже более спокойного человека, а Можайский был возбужден. Его речи о «семействе в чемодане» казались мне явным бредом. Я думал: так и быть, поддержку моего гостя дня три, а потом придется отвезти в больницу... но какое у него лицо! Это остов скелета, а не лицо! Бедный, несчастный!

— Скажи, N***, — заговорил Евгений Васильевич. — Я тебе кажусь сумасшедшим?

— Помилуй, как это тебе в голову...

— Нет, брат, не хитри! Я заметил твои подозрительные взгляды! О, эти равнодушные глаза равнодушного петербургского чиновника... Не бойся, однако, я если и сумасшедший, то немножко, и помешательство мое из вида тихих...

Я не знал, что говорить в ответ.

После обеда, имея привычку спать, я извинился перед Можайским. Тот сказал: «Я тоже отдохну с дороги», — и мы разошлись по особым комнатам. Я, разумеется, заснул и во сне увидел моего приятеля в виде мертвеца, который шел ко мне с объятиями и улыбался вечной улыбкой скелета... Но вдруг я был пробужден посторонним шумом: что-то стукнуло, отдалось у меня в ухе, и я открыл глаза.

В ту же минуту раздалось какие-то жужжащие, тонкие звуки, несшиеся ко мне неведомо откуда и как бы состав-

для продолжение сна; я их то узнавал, то не узнавал; как будто звенел рояль, как будто пищали чьи-то голоса, и все опять покрывалось шипеньем и постукиванием. Странные эти звуки были так тихи, что выходили словно из-под земли. Однако я сообразил, что они рождаются в комнате, отведенной моему приятелю, а оттуда, мягкие, как пыль, долетают до моих ушей.

«Что бы это могло быть?» — думал я.

Трепетанье и подобие музыки вдруг оборвались. Кто-то глубоко вздохнул... Послышался сухой треск, и потом опять те же тонкие, ноющие звуки — и ряд новых вздохов, глубоких, скорбных, с задавленным плачем, прервал тишину квартиры.

Я потихоньку встал с дивана и на цыпочках вышел из кабинета; я остановился возле двери комнаты Можайского — звуки и вздохи, вне всякого сомнения, раздавались оттуда.

— Ох, ох! Господи! — слышалось рыдание (я узнал голос Евгения Васильевича), — это выше сил моих! Бесценные мои! Любимцы мои, как вы меня терзаете!

Зазвенел рояль, застонали тонкие звуки...

— Деточки, ненаглядные, родные... — приговаривал и в то же время рыдал Можайский. — Саша, голубушка...

Я трясся от лихорадки испуга. Я никак не мог понять, что происходит в комнате моего ненормального друга. Но его плач был так ужасен, что я преодолел свой испуг — и распахнул двери...

За столом сидел Можайский и что-то держал возле лица. Он услышал шум, поднял голову, заметил меня и вскочил.

— Н***, друг мой! — воскликнул он. — Я не бредил, когда говорил тебе, что привез свое семейство с собой... смотри, вот оно!

— Что это?! — спросил я.

— Это? Великое и страшное изобретение гения! Это — фонограф, игрушка конца века, знакомая теперь всякому, быть может, не вполне усовершенствованная, но... для меня в ней, в этой маленькой машинке, в этой игрушке, зак-

лючен целый мир прошлого, мир моих былых наслаждений, мир настоящих непереносимых страданий! Слушай, вот тебе другая трубка... Слушай, N***, хорошенько, это поют мои Вася и Павлуша, а жена им аккомпанирует.

Он пустил фонограф, и я, приложив трубку к ушам, разобрал очень отчетливо звуки рояля; затем два нетвердых детских голоска слабо, но ясно запели:

Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда.

Один голосок передавал слова картаво: «Птичка Божия не знает» и т. д. Можайский сказал глухим голосом:

— Это картавит Павлуша... мой маленький Павлуша. В это время фонограф передал:

— Теперь, дети, танцуйте!

— Это голос жены... он так же звонок и нежен, как и был... Господи, как я страдаю! Господи, пошли мне смерть! N***, голубчик, я умираю!

Он опять стал плакать, поглядел на меня детски жалобно и начал бить себя в грудь руками...

— Евгений Васильевич, опомнись, ради Бога! — заговорил я. — Ведь ты себя доведешь Бог знает до чего, если не будешь более тверд.

— А до чего я себя доведу? До сумасшедшего дома? Я рад сойти с ума... До могилы? Я ищу смерти, я, может быть, накануне самоубийства... Все погибло для меня со смертью жены и детей! Говорю тебе, что я труп... Я сегодня зарежу себя!

Он был растерзан и страшен... Он страдал сильно, но наблюдать чужие страдания — тоже попытка немалая. Я в этом убедился тогда же. Напрасно я приводил резоны успокоения — Можайский не слушал никаких резонов. Вероятно, им уж овладел тот экстаз, который привел эту печальную историю к такому же печальному концу.

— Евгений Васильевич, позволь мне унести твой фонограф и запереть в бюро, — молил я. — Пожалуйста!

Лицо Можайского потемнело.

— Ни за что! — возопил он. — Или ты, безжалостный человек, хочешь у умирающего отнять последнюю отраду? Это мой яд, но яд сладкий!

— Мой милый, это источник твоего отчаяния. Твой фонограф надо разбить, он тебе вреден...

— Ага! Ты, значит, понял, какое это ужасное дитя гения? — оживился мой приятель. — Вникни, N***, вникни: великий изобретатель отнял голоса у могилы! Ты знаешь, что фотография любимого умершего человека навевает грусть, но эта грусть имеет долю тихого успокоения. Почему? Потому что фотография нема. Но это, это... тут голос слышен! Умирал человек — умирал и голос... Теперь уж не то! А в двадцатом веке, может быть, и смерть будет побеждена... что ты так на меня глядишь? Я говорю далеко не абсурд... Наука — Бог! И я несчастен не тем, что у меня умерли мои незабвенные, а тем, что живу в конце девятнадцатого, а не двадцатого века!

Напрасно я толковал, что подобные предположения невозможны, напрасно уверял, что Можайский все преувеличивает. Он поглядел на меня насмешливо и спросил:

— Может быть, ты скоро начнешь уверять, что голоса моих детей и жены — не настоящие, не похожи на живые? Перестань. Дай мне нарыдаться, послушаться моих милых, позволь наговориться о них...

И он плакал неудержимо, он рассказывал о том, какие добрые, послушные, милые мальчики были его Вася и Павлуша: черные, как жучки, смышленные, талантливые, розовенькие — сущий портрет их матери. Он говорил и о последней: она была красавица и лицом, и душой; ангел-хранитель был в ней самой; но злая сила — болезнь — победила все... Где ангел с чистой душой, где два младенца, похожие на херувимов?

Выговорив последние слова, Можайский вскочил и, задыхаясь, воскликнул:

— Они тут... в этой машинке. Игрушке! Ужасный гений держит их в диафрагме, на хрупком валике из парафина! Что это, N***, что? Насмешка над Божьей волей или... Да что ты меня, братец, руками держишь? Я на стену лезть не собираюсь! Пусти меня!

Он бросился к фонографу, завел его и молча, жестом, пригласил меня взять трубки: В фонографе голосок бойко читал:

Ночью в колыбель младенца
Месяц луч свой заронил...

— Вася, Васенька... здравствуй, Вася! — в такт кивая головой, говорил Можайский. — Здравствуй, моя жизнь!!

И опять текли его слезы, снова он бил себя в грудь кулаками, звал смерть, проклинал ее...

— Бом! — вдруг зазвенел колокол под самыми нашими окнами.

Начиналась заутреня, праздник Рождества Христова наступил... колокольный звон услышал и мой приятель. Лицо его исказилось.

— Праздник... веселье... елка... — промолвил он. — Все это у меня было! Где же теперь? Кто взял их? Отдайте мне мой праздник, мою детскую елку, мою семью!

Долго я мучился с бедным другом. К утру он серьезно захворал. Приехал доктор, поздравил меня с праздником и «славным морозцем», оглядел больного и сказал:

— Ну, этому вестфальской ветчинки на святках не поесть! Везите его в больницу, у него воспаление мозга.

Через неделю Можайский умер. Его фонограф до сих пор хранится у меня. Представьте, я ни разу не слушал голосов его жены и детей: у меня не хватает духу слышать «голоса из могилы».

КОММЕНТАРИИ

Все включенные в антологию произведения, за исключением отдельно отмеченных случаев, публикуются по первоизданиям. Безоговорочно исправлялись очевидные опечатки; орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам.

Все иллюстрации взяты из оригинальных изданий. В случаях недоступности качественных копий те или иные произведения публиковались без иллюстраций либо же иллюстрации воспроизводились частично.

В оформлении обложки, фронтисписа и на с. 6 использованы работы С. П. Лодыгина.

А. Зарин. Термоген

Впервые: *Мир приключений*. 1915. № 10.

А. Е. Зарин (1862-1929) — плодовитый литератор, журналист, сценарист, представитель «массовой» литературы конца XIX — нач. XX вв. В 1880-х и 1900-х гг. дважды находился под арестом за революционную деятельность, в 1900-х гг. был редактором журн. *Живописное обозрение*, *Воскресенье*, *Природа и люди*, а также газ. *Обновленная Россия* и *Современная жизнь*. Публиковался в более чем 60 столичных и провинциальных изданиях, опубликовал свыше 100 книг. Среди написанного им встречаются как детективные, так и фантастические романы, повести и рассказы.

Оригинальная публ. была снабжена следующим редакционным примечанием: «Считаем долгом отметить, что этот рассказ был приобретен от автора и находился в портфеле редакции задолго до применения германцами удушливых газов».

С. 11. ...*пикриновой кислоте* — Пикриновая кислота (также мелинит, лиддит) — нитропроизводное фенола; пикриновая кислота и ее соли используются как взрывчатые вещества.

С. 18. ...чемоданы — крупнокалиберные снаряды (разг.).

Н. Карпов. Корабль-призрак

Впервые: *Война*. 1916. № 93, июнь.

Н. А. Карпов (1887-1945) — поэт, беллетрист, мемуарист. Уроженец Пензенской губернии. С 1907 г. жил в Петербурге, публиковал стихи и рассказы в периодических изд. В советское время работал народным следователем, начальником милиции, инспектором Рабоче-крестьянской инспекции, публиковал в осн. юмористические и сатирические рассказы. Автор НФ-романа *Лучи смерти* (1924) и воспоминаний *В литературном болоте*.

Н. Карпов. Таинственный аэроплан

Впервые: *Война*. 1914. № 11: Война в воздухе, под псевд. «Наль».

Н. Карпов. «Белый генерал»

Впервые: *Война*. 1914. № 17: Таинственное и необъяснимое на войне.

С. 36. «*Белый генерал*» — прозвище ген. М. Д. Скобелева (1843-1882). Легенда о появлении его призрака на поле боя широко использовалась в патриотической пропаганде времен Первой мировой войны.

В. Дембовецкий. Жаворонок Скифии

Впервые: *Огонек*. 1917. № 29, 30 июля (12 августа).

В. Э. Дембовецкий (1888-1942) — морской инженер, литератор. Выпускник петербургского Политехнического института. Ра-

ботал на строительстве портов, в судостроении. Автор многочисленных научных трудов, в молодости публиковал рассказы и литературные очерки. В 1940 г. был арестован, осужден по 58-й статье на восемь лет лагерей. Умер в заключении на Дальнем Востоке.

С. 40. ...*Данкля и Ауффенберга* — Виктор Данкль, граф фон Красник (1854-1941) и барон Мориц Ауффенберг фон Комаров (1852-1928) — австрийские военачальники времен Первой мировой войны.

С. 43. ...*chaise-longue* — шезлонг (*фр.*).

С. 43. *Не знаю, где приют своей гордыне...* — Из стих. А. Блока «О доблестях, о подвигах, о славе...» (1908).

Г. Северцев-Полилов. Вещее...

Впервые: *Всемирная панорама*. 1918. № 282/37.

Г. Т. Полилов (1839-1915) — беллетрист, драматург, переводчик, очеркист, мемуарист. Выступал под псевд. Северцев, Ю. Чаев. Неудачливый предприниматель и антрепренер, подвизался как оперный певец на сценах небольших театров Италии и Венесуэлы, пробовал себя и как танцор. С конца 1880-х гг. занялся литературным творчеством, широко публиковался в периодике (в т. ч. как газетный корреспондент), выпустил до 100 книг в различных жанрах. В некоторых произведениях Северцева-Полилова встречаются мистические и фантастические мотивы.

В. Светлов. Ангел Смерти

Впервые: *Нива*. 1918. № 33.

В. Я. Светлов (наст. фам. Ивченко, 1860-1934) — писатель, историк и критик балета, театральный критик, либреттист. К литературе обратился после службы в кавалерии, опубликовал множество бытовых и исторических романов, сб. рассказов, попу-

лярных очерков и т. д., в 1904-1917 гг. редактировал журн. *Нива*. Во время Первой мировой войны служил добровольцем в Дикой дивизии. В 1916 г. женился на балерине В. Трефиловой, вместе с кот. в 1917 г. эмигрировал и обосновался в Париже, где Трефилова открыла балетную школу, а Светлов продолжал писать книги о русском балете, выходявшие на франц. и англ. языках.

А. Будищев. Сон после боя

Публикуется по авторскому сб. *Лунный свет: Рассказы* (М., [1915]).

А. Н. Будищев (1867-1967) — популярный в 1890-х-1910-х гг., но быстро забытый поэт и прозаик, автор более 30 книг, в том числе романов и многочисленных сборников рассказов. В различные периоды сочетал в своем творчестве разнообразные влияния от романтиков до Ф. Достоевского и Ф. Ницше, обращался и к фантастике, зачастую окрашенной религиозным мистицизмом.

В. Никольская. Видение

Впервые: *Нива*. 1918. № 2.

С. 77. ...à *discretion* — здесь: по твоему выбору (*фр.*).

Г. Иванов. Губительные покойники

Впервые: *Аргус*. 1914. № 18, июнь.

Г. В. Иванов (1894-1958) был не только одним из крупнейших поэтов русской эмиграции, критиком, переводчиком, публицистом и автором «художественных мемуаров», где правда смешивалась с литературным вымыслом — но и прозаиком, создателем блестящего *Распада атома* (1938), романа *Третий Рим* (1929-1931) и ряда рассказов, частью опубликованных еще до революции. Некоторые из них приводятся ниже.

С. 90. *Граф Яглонский тоже глядел...* — В тексте ошибочно: «Граф Заблоцкий».

Г. Иванов. Пассажир в широкополой шляпе

Впервые: *Синий журнал*. 1915. № 51.

С. 93. ...*Вилли* — Под этим псевдонимом выступал как популярный французский беллетрист Анри Готье-Вийяр (1859-1931), так и работавшие на него литературные негры, в т. ч. и его жена Колеетт.

Г. Иванов. Квартира № 6

Впервые: *Огонек*. 1917. № 5, 29 января (11 февраля).

В оригинальной публикации очевидная опечатка — заглавие рассказа дано как *Квартира № 7*, тогда как в тексте везде говорится о № 6.

Г. Иванов. Ализэр

Впервые: *Голос жизни*. 1914. № 8, 30 ноября.

Г. Иванов. Приключение по дороге в Бомбей

Впервые: *Аргус*. 1914. № 16, апрель.

Г. Иванов. Трость Бирона

Впервые: *Огонек*. 1916. № 34, 21 августа (3 сентября).

С. 133. ...*пальто клошем* — т. е. расширяющееся книзу.

С. 135. ...«*окна сторожит глухая старина*» — автоцитата их стих. *Тучкова набережная*.

С. 136. ...*Домье* — О. Домье (1808-1879) — французский живописец, график, скульптор, выдающийся карикатурист.

С. 143. ...*27-го октября* — Так в тексте, хотя выше сказано, что роковая годовщина должна была наступить в ночь с 27 на 28 сентября.

А. Бухов. Тайна смерти

Впервые: *Синий журнал*. 1912. № 40, 28 сентября, с подз. «Сообщение Арк. Бухова, со снимком для “Синего журнала”».

А. С. Бухов (1889-1937) — беллетрист, юморист, сатирик, фельетонист, до революции сотрудник и известнейший автор журн. *Сатирикон* и *Новый сатирикон*. С 1920 г. в эмиграции, издавал и редактировал в Литве газ. *Эхо* (1920-1927). После возвращения в СССР в 1927 г. публиковался в советских сатирических изданиях; по собственным заявлениям на допросах, был осведомителем ОГПУ-НКВД. В 1937 г. был арестован и расстрелян «за шпионскую деятельность». Реабилитирован в 1956 г.

Фантастические истории, замаскированные под очерки и корреспонденции о деятельности разного рода тайных обществ и подпольных или полуподпольных кружков, занятых медиумическими, сексуальными, наркотическими и т. п. экспериментами часто встречались на страницах популярной прессы. Здесь и ниже мы приводим несколько таких текстов.

О. Леонидов. Московские масоны

Впервые: *Синий журнал*. 1916. № 16.

О. Л. Леонидов (Шиманский, 1893-1951) — писатель, поэт, драматург, киносценарист. Учился в Московском университете, начал печататься с 1911 г., с 1926 г. работал в кино.

С. 154. ...*вильсоновой трагедии* — Имеется в виду драматическая поэма шотландского адвоката, литератора и критика Д. Вильсона (1785-1854) *Чумный город* (1816). Далее цитируется вольный перевод одной из сцен, выполненный А. С. Пушкиным и известный русскому читателю как *Пир во время чумы* (1830).

Б. Мирский. Заседание египетской ложи

Впервые: *Синий журнал*. 1913. № 4, 25 января, с подз. «Отчет Бор. Мирского со специальным снимком для “Синего журнала”».

Б. Мирский — псевд. Б. С. Миркина-Гецевича (1892-1955), писателя, журналиста, юриста и историка права, с 1920 г. жившего в эмиграции.

Ф. Зарин-Несвицкий. Ложа Хирама

Впервые: *Нива: Ежемесячные литературные и научно-популярные приложения*. 1916. № 2, февраль, за подписью «Ф. Зарин» и с подзаг. «Исторический рассказ».

Ф. Зарин-Несвицкий (наст. фам. Зарин, 1870 – 1941?) — поэт, прозаик, драматург, переводчик, младший брат писателя А. Зарина. После гимназии служил в армии, затем чиновник Министерства путей сообщения, с 1913 г. надворный советник. Проходил военную службу во время русско-японской и Первой мировой войн, в 1919-1920 гг. в Красной армии. В 1933 г. был арестован по обвинению в антисоветской деятельности, дело прекращено в 1934 г. за недоказанностью обвинения. Автор сб. стихотворений, исторических романов и повестей, очерков, пьес.

С. 173. *Oh! Mon astrologue!... trompez* — Ах! Мой астролог! Это слишком! Понимаете, вы выглядите, как шарлатан! Черт поberi!... — Монсеньор, вы ошибаетесь (*фр.*).

С. 173. *...nec plus ultra* — высшая, предельная точка, букв. «дальше некуда» (*лат.*).

С. 187. *Выслушай же его историю!* — Излагаемая далее «история» контаминирует собственно масонское предание о Хираме с фантазиями Ж. де Нерваля (1808-1855) и т. п. авторов.

С. 203. *Какой мерой...* — Лк. 6:38, Мф. 7:2: «Какою мерою мерите, такую же отмерится и вам».

В. Мазуркевич. Ложа правой пирамиды

Впервые: *Мир приключений*. 1914. № 2.

В. А. Мазуркевич (1871-1942) — поэт, прозаик, драматург, переводчик. Выпускник юридического факультета Петербургского университета, был присяжным поверенным и стряпчим. Печатался с 1885 г. автор сб. стихов, водевилей и монологов, нескольких фантастических рассказов. В 1904-1906 гг. играл на сцене, в 1910-х увлекся оккультизмом, читал на эти темы лекции. После революции печатался в журн. *Бегемот*, выпустил несколько книг для детей. Умер в Ленинграде во время блокады.

А. Оссендовский. Ложа Священного Алмаза

Впервые: *Аргус*. 1913. № 7, июль.

А. (Антоний Фердинанд) Оссендовский (1876-1945) — польско-русский писатель, ученый, журналист, путешественник и авантюрист, человек с запутанной биографией, автор ряда фантастических и приключенческих произведений на русском и десятков книг на польском языке. Получил всемирную известность благодаря беллетристическо-документальной книге *И звери, и*

люди, и боги (1922) о гражданской войне в Сибири и Монголии и бароне Унгерне.

А. Оссендовский. Ночь в храме Амо-Джан-Нин

Впервые: *Весь мир*. 1911. № 18.

С. 266. ...*необъятную... подробность* — Так в тексте. Вероятно, должно стоять «непонятную» или «необъяснимую».

С. 274. ...*Аждагры* — так в тексте. Выше — «Адахгры».

А. Будищев. Бред зеркал

Впервые: *Огонек*. 1913 № 51, 22 дек. (4 янв. 1914).

С. 280. *Зеркало в зеркало...* — Эпиграф взят из стих. А. Фета *Зеркало в зеркало...* (1842).

С. 282. ...*клюкву на саблю* — имеется в виду наградной знак ордена св. Анны четвертой степени (красный крест на золотом поле в красном кругу), крепившийся на эфесе холодного оружия.

А. Будищев. Черный ангел

Публикуется по авт. сб. *Распря: Двадцать рассказов* (СПб., 1901).

А. Будищев. Болото

Публикуется по авт. сб. *Разные понятия: Двадцать рассказов* (СПб., 1901).

А. Будищев. В разгар святок

Публикуется по авт. сб. *Крик во тьме: (Рассказы)* (М., 1916).

Скиталец. В склепе

Впервые: *Синий журнал*. 1913. № 2.

Скиталец — литературный псевдоним писателя и поэта С. Г. Петрова (1869-1941). Выходец из семьи столяра. Учился в Самарской учительской семинарии (исключен за неблагонадежность). До 1908 г. занимался революционной деятельностью, четырежды побывал под арестом. До революции опубликовал 8-томное собрание сочинений. Участвовал как санитар в Первой мировой войне, в 1922-1934 гг. жил в эмиграции в Харбине, позднее вернулся в Москву.

Н. Ежов. Голоса из могилы

Впервые: *Новое время*. 1898. № 8201, 25 декабря.

Н. М. Ежов (1862/64-1941/42) — писатель, юморист, фельетонист, автор нескольких сб. рассказов. Выпускник Строгановского училища, несколько лет преподавал рисование и чистописание в Дубно и Брацлаве. После переезда в Москву в 1888 г. активно печатался в периодике, в 1896-1917 гг. постоянный московский фельетонист *Нового времени*. После 1918 г. отошел от литературной деятельности.

С. 321. «Теперь, брат, я не тот» — Цит. из *Горя от ума* А. Грибоедова.

С. 321. «Что имя — звук пустой!» — Цит. из стих. М. Лермонтова *Ребенку* (1840).

С. 321. ...*par excellence* — преимущественно (фр.).

Оглавление

А. Зарин. Термоген	8
Н. Карпов. Корабль-призрак	27
Н. Карпов. Таинственный аэроплан	32
Н. Карпов. «Белый генерал»	36
В. Дембовецкий. Жаворонок Скифии	39
Г. Северцев-Полилов. Вещее...	50
В. Светлов. Ангел Смерти	55
А. Будищев. Сон после боя	66
В. Никольская. Видение (Из мира таинственного)	72
Г. Иванов. Губительные покойники	84
Г. Иванов. Пассажир в широкополой шляпе	92
Г. Иванов. Квартира № 6	96
Г. Иванов. Ализэр	105
Г. Иванов. Приключение по дороге в Бомбей	110
Г. Иванов. Трость Бирона	132
А. Бухов. Тайна смерти	145
О. Леонидов. Московские масоны	151
Б. Мирский. Заседание египетской ложи	157

Ф. Зарин-Несвицкий. Ложа Хирама	162
В. Мазуркевич. Ложа правой пирамиды	204
А. Оссендовский. Ложа Священного Алмаза	241
А. Оссендовский. Ночь в храме Амо-Джан-Нин	257
А. Будищев. Бред зеркал	279
А. Будищев. Черный ангел	289
А. Будищев. Болото	296
А. Будищев. В разгар святок	306
Скиталец. В склепе	313
Н. Ежов. Голоса из могилы	320
Комментарии	329

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.